

- **ОТ КРЕМЛЯ — ДО КОРДОВЫ** —
повести Д. Шляпентоха и Э. Ле Поррье
- **МОСАД, АМАН И ВСЕ ТАКОЕ** —
документальная повесть об израильской разведке
- **СИОНИЗМ, КУДА?** —
размышления Ювала Неемана и Зеэва Шифа
о будущем Иудеи и Самарии
- **МЕЧТА О СПРАВЕДЛИВОМ ВОЗМЕЗДИИ** —
эссе Александра Воронеля
- **КАФКА И ДОН-КИХОТ** —
две статьи Милана Кундеры

45

22

№ 45

МИОСЖКВА - ИЕРУСАЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле.
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год.

Год издания VIII

№ 45

ноябрь-декабрь 1985

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ЛЕВ ЛОСЕВ. Стихи	3
ДМИТРИЙ ШЛЯПЕНТОХ. Записки кремлевода	9
О. КУСТАРЕВ. Три сновидения	40
КАРИ УНКОВА. Стихи	49
МИРЬЯМ ЯНИКОВА. Стихи	52
ЭРБЕР ЛЕ ПОРРЬЕ. Врач из Кордовы	55

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

РАФАИЛ БЛЕХМАН. Мосад, Аман и все такое...	94
--	----

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЮВАЛ НЕЕМАН. Сионизм, куда?	109
ЗЕЕВ ШИФ. Призрак бродит по Израилю	122

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Мечта о справедливом возмездии	134
--	-----

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

МИХАИЛ ВАРТБУРГ. Луи Фараккан: демагог и толпа	141
--	-----

КУЛЬТУРА

МИЛАН КУНДЕРА. Два эссе: 1. Где-то там, в глубине 2. А если роман действительно исчезнет?	150
САЙМОН КАРЛИНСКИЙ. Дорогой Володя, дорогой Банни, или близость и расхождение	173

ИСКУССТВО

Творчество Ефима Пищанского 193

НАУКА

В. БАРАШЕНКОВ. Мир без конца и без края 196
Ученые шутят, или — еще о законе Мэрфи 205

ЛЮДИ И КНИГИ

О. КУСТАРЕВ. Социально-философский фольклор советской
интеллигенции: очерк второй 206
Ч. ХОФФМАН. Расширяющийся разрыв 216
Г. ВАЛЬДБЕРГ. Эпитафия 218
М. ДОМАН. С незапамятных времен 220

НЕКРОЛОГ

ИОСИФ БОГОРАЗ 223

На последней странице обложки — из работ М. Пищанского

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Моклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман

И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор
технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иеру-
салим" под покровительством Израильского коми-
тета ученых при общественном совете солидарности
с евреями СССР

С Т И Х И

Левлосев

Левлосев не поэт, не кифаред.
Он маринист, он велимировед,
бродкист в очках и с реденькой бородкой,
он осиполог с сиплой глоткой,
он пахнет водкой,
он порет бред.

Левлосевлосевлосевлосевон —
ононононононононо иуда,
он предал Русь, он предаёт Сион,
он пьёт лосьон,
не отличает добра от худа,
он никогда не знает, что откуда,
хоть слышал звон.

Он аннофил, он александроман,
федоролуб, переходя на прозу,
его не станет написать роман,
а там статью по важному вопросу —
держи карман!

Он слышит звон,
как будто кто казнен
там, где солома якобы едома,
но то не колокол, то телефон,
он не подходит, его нет дома.

Сонет

Сомнительный штабс-ротмистр Фет
следит за ласточкой стремительной,
за бабочкой, и мир растительный
его вниманием согрет.

Все это — матерьял строительный,
и можно выстроить сонет,
и из редакции пакет
придет с купюрой убедительной,

и можно выстроить амбар,
а то ведь старый подгнивает.
Читатель, вздувши самовар,

в раздумье чай свой допивает:
"Где этот жид раздобывает
столь восхитительный товар?"

Сто лет

Над секретным донесением бежавшего в Нью-Йорк
иеродиакона Агапия "Об употреблении евреями
христианской крови"

он то задумывался, то приходил в восторг,
то потел и, все чаще в последнее время,
засматривался в окно.

Через дорогу, в больничном саду,
практичный двудомик — часовня и морг.
В часовне распятый человек — Бог.
В морге раздетый человек — бр-р-р.

Ровно в 4 горничная по звонку
впускала в прихожую шубу на енотах.
Шуба раскрывалась — со скрипучим "Нуте-съ"
в кабинет входил профессор Гиммельфарб.

- Любезнейший Кай Еныч,
мне решительно не нравится ваша моча.
- Мне ваша тоже.
- Пытаете судьбу-с.
- А что, доктор, неужто без крови уж маца не маца?
- А уж это *de gustibus...*
- А не угодно ли *disputandum* за чайком?

Так и скоротали сто лет.
Бога забелили. Разделили жилплощадь.
Бывший чаек (ныне закат) подкрасил лазурь,
в которую превратился б. профессор.
Морг расширился за счет часовни.
Пра-пра-
внук Агапия – старший партнер
средней руки адвокатской конторы,
Бродвей угол 32-ой улицы:
Voznesensky & Rosenkreuz.

П. в. о.*

Как ныне собирается вещий Олег
спалить наши села и нивы.
Авось не сберется – уж скоро ночлег,
а русичи знатно ленивы.
Он едет с дружиной, в царьградской броне.
“Эй, Броня, подай мою бороду мне!”

А меч под подушкою будет целей,
меча мне сегодня не надо.
Я выйду из леса, седой лицедей,
скажу командиру отряда:
“Ты опытный воин, великий стратег,
но все ли ты ведаешь, вещий Олег?”

* “Песнь Вещему Олегу”, посвященная также тысячелетию крещения Руси, Артуру Кестлеру, Л.Н. Гумилеву, А.С. Пушкину, коню и змее.

Допустим я лжив, я безумен и стар,
и ты меня плетью огладишь,
но купишь ты, князь, мой лежалый товар
и мне не деньгами заплатишь.
Собой и потомством заплатишь ты мне,
как я заплатил этой бедной стране,

стране подорожника, пыльных канав,
лесов и степей карусели.
Нам гор и морей не видать, скандинав,
мы оба с тобой обрусели.
Так я предрекаю, обрезанный тюрк’’.
И тут же из черепа черное — юрк.

“Не дрыгай ногою, пророка кляня,
не бойся, не будет укуса.
Пусть видит змеинное око коня,
что Русы не празднуют труса.
Пусть смотрит истории жалящий взгляд,
как Русы с Хазарами рядом сидят”.

У них перемирие, пир, перегар.
Забыты на время раздоры.
Крещеные викинги поят булгар,
обрезанных всадников Торы.
Но полон славянскими лешими лес.
А в небе Стожары. А в поле Велес.

Еще некрещеному небу Стожар
от брани и похоти жарко.
То гойку на койку завалит хазар,
то взвоят под гоем хазарка:
“Ой, батюшки светы, ой, гой ты еси!”
И так заплетаются судьбы Руси.

Тел переплетенье на десять веков
записано дезоксирибо-
нуклеиновой вязью в скрижали белков,
и почерк мой бьется, как рыба:
то вниз да по Волге, то противу прет,
то слева направо, то наоборот.

Я пена по Волге, я рябь на волне,
ивритогибрид-рыбоптица,
А. Пушкин прекрасный кривится во мне,
его отраженье дробится.
Я русский-другой-никакой человек.
Но едет и едет могучий Олег.

Незримый хранитель могучему дан.
Олег усмехается вещи.
Он едет и едет, в руке чемодан,
в нем череп и прочие вещи.
Идет вдохновенный кудесник за ним.
Незримый хранитель над ними незрим.

3 рубля *(случай в Москве)*

В котельной
багров кагор близ колбасы отдельной.

И вдруг на трех рублях, где будто б знак,
он распознал масонский знак,
а в самой цифре 3
узрел звезду Давида.
Похолодело все внутри,
но он не подал вида.

Гремело радио, бодря,
всех призывая на заря-
дку. Встала над Москвой заря
тридцать второго мартабря.

Он принял в сквере двести грамм
и наблюдал, дремля,
свеченье красных пентаграмм
над башнями Кремля.
Он спал, но то был вещий сон,
в нем было 5 идей:

- 1/ имеют башни облик свеч;
- 2/ их ясно кто сумел возжечь;
- 3/ Фиораванти — иудей;
- 4/ Наполеон — масон;
- 5/

Оплавлял потихоньку красный воск,
и левый мозг за правый мозг
поехал кое-как.

К себе домой через Крымский мост
шагает кочегар.

Из чувств он ощущал — тоску.

Он понимал, что проиграл

тому, кто хозяйничал в мозгу

и бодро ручки потирал,

и инструменты выбирал.

“Идем к тебе”. “Идем ко мне”.

Жена на службе. Суп на окне.

Ребенком воздух весь пропах.

Дьявол был во всех углах.

Проснулся он от тишины.

Все еще не было жены.

Он чувствовал конец игры.

Он знал, что было тишиной,

но брел проверить — не мокры

пеленки дочери грудной?

О да, мокры они, мокры.

Роскошная окладистая борода основательно со всех сторон обложила лицо, солнечные лучи играют каждым волосиком, освечивают веселыми искорками. Такие же веселые хитрые искорки в глазах, слегка прищуренных то ли от какого-то вольтеровского скепсиса, то ли от яркого солнца, горящего холодным пламенем в пушистом, никем еще не убранном снеге, в золотых шлемах куполов, в голубом прозрачном небе.

“Вы спрашиваете, кто я такой, молодой человек? Я священник, а до этого работал шофером почти всю жизнь. А вот вышел на пенсию и стал священником”.

Я никогда до этого еще не водил священников. Всех водил: солдат, студентов, капиталистов, гебистов, учителей и ветеранов первой мировой войны, а вот священников не довелось. Мне скучно, и у меня есть запас не растроченной еще энергии; бывает такое в самом начале морозного бодрого утра, когда ноги сами тебя несут по аллее Александровского сада, а голос сам собой, без какого-либо форсирования разносится по всей Соборной площади: “Граждане, обратите внимание на эти купола, столь похожие на шлемы богатырей, они — символ поднимающегося русского государства”. Мне скучно и как-то странно, что

Дмитрий Шляпентох

ЗАПИСКИ КРЕМЛЕВОДА

есть еще человек, который по-настоящему верит в Бога. И странно это мне вовсе не потому, что я не видел вовсе людей в церквях или синагогах. Совсем напротив: у синагоги на улице Архипова я видел всякий раз, когда возвращался из Исторички, густые толпы евреев. Евреи эти плясали, знакомились, разбегались при появлении милиции и даже пили из горлышка водку, но не молились. Нет, здесь я опять неправ, вернее могу показаться неправым: они совершали действия, которые можно было принять за молитву — они произносили слова на малоизвестном, а то и вовсе не известном для них языке и совершали движения, которые должны теоретически совершать правоверные евреи, верящие в Бога. Но это не было молитвой, ибо если вдруг случилось бы чудо и постановление ЦК КПСС указало бы всем руководящим и неруководящим товарищам, что евреем быть почетно, если бы завтра, в соответствии с этим постановлением, их немедленно приняли бы туда, куда их сейчас не принимают, если бы, наконец, само посещение синагоги превратилось из полукрамольного акта в идеологически достойное предприятие, то (в этом я совершенно уверен) синагога бы опустела. В ней осталось бы от силы несколько человек, глубоких стариков — потных, толстых, с обвисшими, как у старух, грудями, такими же отвисшими животами и шаркающей походкой — очень малосимпатичных кусков износившегося, готового к разложению мяса.

Они остались бы. Даже если бы посещение синагоги приравнивалось бы к посещению партийного собрания, а молитвы — к цитатам из последней речи Генерального секретаря ЦК КПСС. Остались бы потому, что понимали бы не разумом, а сердцем, так часто уже дававшим перебои по ночам, что Богу, вернее тому чувству, которое некоторые из людей называют Богом, совсем нет дела до “процентных норм” и прочих “Пуришкевичевских” прелестей. Бога не интересовала эмиграция и проблема трудоустройства в Израиле или Америке. Наконец, Он был, видимо, абсолютно равнодушен к проблеме национального самосознания. Только лишь однажды в глубине тысячелетней пропасти Он сказал: “Я Бог Авраама”, а затем забыл, ибо и Бог, видимо, может забыть или хочет забыть, я уж не знаю, о сказанном, и только накладывал от поколения к поколению на человеческую грудь камень за камнем, так что трудно было дышать; и так до последнего дня. До дня, когда рот судорожно заглатывает последний земной вздох.

Бог не был ни советским, ни антисоветским, ни сионистом, ни антисионистом, ни участником демократического движения, ни сто-

ронником теократии. Он не был даже земным, и вся-то земля была лишь частным случаем Его вселенской космической шутки, может быть даже побочным продуктом Его утренней игры, какой-то забытой и неубранной мамой игрушкой. Бог был вечностью, чем-то неуловимым, без запаха и вкуса и в то же время незримо присутствующим. Бог был смертью. И от нее нельзя было эмигрировать, откупиться страховкой и связями в ЦК. И поэтому эти старики и молились, быстро, машинально произнося слова на малопонятном или вовсе не понятном им языке.

Но этих стариков было совсем немного, и я вскоре перестал обращать на них внимание, а через некоторое время забыл о них вообще. И я полагал, что люди посещают церковь лишь для того, для чего посещают синагогу энергичные московские евреи. Евреи эти своим посещением показывают, что они были, есть и останутся евреями, несмотря на все антисемитские происки. Русские парни рвутся в церковь в пику официальной идеологии. Цели литовцев, выстаивающих католическую мессу, сходны с целями русских парней, с некоторыми, правда, дополнениями: они желали бы избавиться не только от большевиков, но и от русских, независимо от их политической окраски. И никто из них не верил в Бога.

А этот священник верил.

Мне было скучно, и был запас нерастраченных поутру сил, и мне захотелось поиграться с этим бывшим шофером, у которого и образования, наверное, было каких-нибудь семь классов сельской школы.

На Соборной площади предполагалась небольшая инъекция антирелигиозной пропаганды в умы моих клиентов; так требовала методичка. Впрыскивание не должно было быть, однако, слишком большим — так, беглое упоминание о том, что Архангельский собор был крупным феодалом и в его застенках томились крестьяне, не платившие оброка, не выходившие на барщину или провинившиеся перед собором каким-либо иным образом. И решил я эту инъекцию увеличить и пуститься в пространные рассуждения о том, что собор был не только феодалом-эксплуататором, выжимавшим последние соки из трудового люда, но и Бога-то вообще нет. Надеюсь я, что эта моя прострочная лекция о несуществовании Бога вызовет соответствующую реакцию у моего священника. И не скажет он мне просто: дескать, есть Бог, и точка, а начнет обстоятельно доказывать Его существование с цитатами и аргументами, ну, наподобие того, как это доказывают американские проповедники:

солидно, с толком, с расстановкой, с указанием на то, что наука не может объяснить то-то и то-то и что человек должен заблаговременно позаботиться о своей загробной страховке. Именно так и обращали меня в истинную веру в Америке. Все шло с прокручиванием фильмов и раздачей тоненьких, но отпечатанных на прекрасной бумаге брошюр; такие вот назидательные брошюрки я часто получал и в университете от благообразно, под страховых агентов одетых молодых людей с прилизанными волосиками.

Я надеялся, что священник ввяжется в спор, а тут-то я с ним и поиграю, как кошка с мышкой, ибо игрок я неплохой и начал играть в эти игры, как и мои товарищи, с первых курсов Московского государственного университета. С пафосом доказывать то, что давно было доказано соответствующей цитатой из классика или партийного постановления, нас заставляли на семинарских занятиях, но эти семинарские игры были уж больно заскорузлоскучными и никакого удовольствия не доставляли. Настоящее жонглирование велось частным образом.

В один из вечеров мы собирались и приводили девочек. Первоначально разговор вертелся вокруг частных проблем трудоустройства и карьер однокашников. Затем начинались жадно передаваться накопленные за последние месяцы слухи о том, что происходит "наверху". Но скоро "верх" начинал нам надоедать, ибо всякая информация о том, что там происходило, при всей своей неопределенности все-таки была четко очерчена, закреплена в системе других фактов. Их нельзя было сдвинуть с места или перевернуть вверх ногами: нельзя, например, было утверждать, что КГБ возглавляют сионисты, а президент США давно завербован советской разведкой. Наконец, сам характер фактов, их ограниченность и неопределенность не позволяли соорудить из них игольчатое, увесистое сооружение эрудиции и интеллектуальной виртуозности. И поэтому-то, когда факты из современного политического бытия начинали мелькать перед нашими глазами телеграфными столбами в окнах курьерского, когда десятки недокурренных бычков были уже раздавлены в желтом потрескавшемся блюде, когда открывались окна, чтобы как-то освежить комнату от удушливых серых шелковых вуалей табачного дыма, мы переходили к метафизике.

Помните, как там сказано? Вот тут, в этом вонючем трсктире, сходятся эти "русские мальчики". Или еврейские мальчики. Потому что, может быть, только у трех народов; немцев, русских и евреев — есть этот метафизический инстинкт, который и тащит их в

“вонючие трактиры”, где и обсуждается, “есть ли Бог и есть ли бессмертие”. А которые в Бога не веруют, те на социализм переходят, ибо это есть “истинно русский вопрос”.

Здесь не было ничего закрепленного, четкого. Не было верха и низа, настоящего, прошедшего и будущего. Была лишь пластичная, податливая форма, кубики которой можно было складывать как угодно. И строительство начиналось. Где и как сооружалась эта задуманная конструкция, никого совершенно не интересовало. Имперский Рим с убудочными скотоподобными императорами, так напоминающими наших низколобых и по-бычьему упорных в своем тяжелом тараноподобном беге вождей, духовное полносочие мистического трепета высокой готики, спонтанные, фарфоровые трещины японского стиха — все годилось. И Мастер (он обычно вел беседу и руководил постройкой) создавал высокое затейливое сооружение с бесчисленными стрельчатыми окнами, кристалликами шпилей и слоноподобными колоннами, которые и помещались на самых-то кончиках этих игольчатых хрупких шпилей; а то, что колонна не падала, хотя она должна была упасть по всем законам физики, и было главным достижением гения архитектора.

А затем откуда-то сверху карнавальными конфетти сыпались цитаты из Платона, Сенеки, Сталина и Ленина вперемежку с матерными анекдотами. Все это падало на сооружение Мастера, его противников и, естественно, на сидящих вокруг него девиц, торопливо-нервно выкуривающих одну папироску за другой. Цитаты-конфетти кружились между колоннами, портиками, залетали в стрельчатые окна и, наконец, успокаивались в самых что ни на есть оригинальных позах. Здесь архитектор переводил дух, отступал на шаг от своего творения и, повернувшись к публике, как бы говорил: “Смотрите”. И они смотрели. Противники, вернее завистники Мастера, улыбались скептически-снисходительно. Девицы — восторженно. А Мастер говорил им глазами, молчаливо утирая пот со лба, следствие духоты и выпитой водки, смотрите — это Истина, ибо только эта комбинация ажурных плетений, кристаллов уродства и красоты, нынешнего смысла и внешней бессмыслицы и есть то, что именуется смыслом нашего бытия и смыслом истории. И высшим достижением Мастера был тот миг, когда хотя бы один из сидящих в комнате начинал верить, что это действительно Истина или хотя бы в то, что Мастер сам считает ее таковой.

И в этот самый момент Мастер подымал платок, встряхивал его, как заправский фокусник-профессионал, и говорил: “А вы знаете,

любезные дамы и господа, все это Ложь и опять-таки Ложь с большой буквы. Ах, вы не верите?" И Мастер взмахивал своим сопливым, измятым и давно никем не стиранным платком, и по мановению ока все начинало меняться, оказываться вовсе не тем, чем оно казалось раньше. Стрельчатые ажурные окна, плетения каменных кружев, над которыми поколениями трудились средневековые ремесленники, превращались в отвратительную грудку ржавого кирпича и свитой бетонной арматуры. Плотная кристаллическая мощь базальтовых колонн становилась столбами легковесного дыма, утренним туманом, медленно расплывавшимся по комнате. Наконец, весь собор, затейливое сооружение из цитат и силлогизмов, начинал таять, покрываться сосульками-слезами, оседал и превращался в небольшую мокрую лужицу; через несколько минут и лужица высыхала.

Но это не было концом, потому что Мастер говорил собравшимся: "А мы сейчас попробуем построить все заново". Новое сооружение создавалось на том самом месте, где размещалось старое, но строилось оно в другом измерении, в измерении прямо противоположном предыдущему. Трудолюбивые каменщики не карабкались теперь вслед за поднимающимся шпилем на небеса, соперничая в гордыне с Богом, не глядели вниз на белые барашки облаков, но вгрызались в земную толщу, соперничая в гордыне с дьяволом. Все было тем же и не тем же одновременно, и в этом тождестве нетождественного и было очередное подтверждение искусства Мастера.

Все было относительным. А наверху была власть. Но и у нее не было ничего постоянного, ибо, несмотря на египетский гранит ее форм, и она была рабом гибкой, как змеиный хвост, "государственной необходимости".

Все шаталось и нуждалось в опоре. А этот бывший шофер с какими-нибудь семью классами сельской школы стоял крепко и не шатался; и мне было завидно и захотелось толкнуть его посильнее.

Итак, задумываю я этого священника толкнуть на Соборной площади, да так, чтобы он упал и разбился вдребезги, но до Соборной площади еще далеко: нужно пройти Александровский сад и большую часть Кремля, заметьте также, что нужно будет сделать несколько остановок. Путь неблизкий, и времени у меня вполне достаточно, чтобы сообщить вам, дорогой читатель, об отношении нас, экскурсоводов, и нашего Бюро к церкви, вернее, к церквям

и соборам Московского Кремля. Информация эта для вас чрезвычайно важна, ибо, получив ее, вы будете знать, что вы увидите, а чего не увидите, купив билет на нашу экскурсию.

“И зачем мне все это?” — подумает читатель, наш брат-эмигрант. — Ведь не пустят меня, предателя-отщепенца, никуда, и посему не нужна мне решительно информация о ваших совдеповских экскурсиях, церквях и соборах”. Думаю, ошибается читатель. Пустят его, пустят, потому что забудут. Так что приедете, приедете обязательно на свою бывшую и все еще социалистическую родину. Вы — в клетчатых брюках и белой беретке, на брюхе — фотокамера. Супруга — в розовых панталонах. Поселитесь в “Интуристе” — это такое высокое современное здание на площади Пятидесятилетия Октября. Номер, конечно, будет с ванной. Зайдете туда, примете душ и посмотрите на себя в зеркало: животик — бочечкой, ручки — тоненькие, дрябленькие, в синих и фиолетовых прожилочках, головка — лысенькая. А вечером встретитесь с друзьями. “Васенька, сколько лет, сколько зим. А что с Колей? Ах, умер. Да, да, сколько времени прошло... А что с Машенькой? Рак? Какая жалость... Внуки на похороны не приедут... И даже дети... Да, такие дела...”

Пустят нас, товарищи дорогие, назад, определенно пустят. Так что смотрите на жизнь без этого, как там, декаданса. Оптимистично.

А поскольку вас пустят, то вы, наверное, захотите сходить на экскурсию, даже по Кремлю, и тут-то информация о том, что вы увидите, а главное, что не увидите, вам и понадобится. Так вот знайте, что в соборы вас, скорее всего, не поведут. Вы наверное будете возмущаться и писать жалобы, а это будет совсем несправедливо, ибо водить вас по соборам и церквям экскурсовод не обязан. Нас ведь отлучили от церкви, и вот, чтобы предотвратить возможную жалобу, я вам о том, как это произошло, и расскажу.

От соборов нас отлучило Министерство культуры, и могло это произойти потому, что Кремль не принадлежал одному хозяину, а был разделен на отдельные и независимые друг от друга сатрапии. Общая охрана Кремля была вверена коменданту. Мы были подчинены ВЦСПС, Алмазный фонд — Министерству финансов, Оружейная палата и соборы — Министерству культуры, квартира Ленина — идеологическому отделу ЦК. Ведомства эти между собой враждовали и бдительно следили за тем, чтобы их соседи по Кремлю не ущемили их священных прерогатив. И вот, по слухам, Фурцева, тогдашний министр культуры, поссорилась с Шелепиным, тогдаш-

ним председателем ВЦСПС, и решила, в пику своему могущественному сопернику ("железный Шурик" был членом Политбюро), не допускать шелепинских подданных в свои владения. Формальным же поводом для нашего отлучения было зафиксировано служителями соборов вопиющее невежество наших экскурсоводов; тут, якобы, не выдержала их профессиональная совесть и написали они челобитную в вышестоящие инстанции. Было это так или нет, я точно не знаю; все слухи. Но от соборов нас отлучили. Известие это вызвало у нас, экскурсоводов, некоторую протрацию. Причины к этому были разные.

Меньшинство, повторяю, только меньшинство, было опечалено неизбежным понижением профессионального уровня нашей экскурсии, ставшей гораздо менее привлекательной для потребителя. Действительно, в соборах можно было говорить посвежей, без казенных штампов, дать волю своим творческим возможностям. Но эти любители творчества были в меньшинстве. Чаще всего это были внештатники, появившиеся на кремлевской тропе раз-два в неделю, а потому еще видевшие в экскурсионной работе не только возможность приработка, но и какое-то самовыражение, какую-то творческую альтернативу восьмичасовому сидению в учреждениях.

Подавляющее же большинство штатных экскурсоводов это абсолютно не волновало. Даже те, кто отличался известной профессиональной добросовестностью, а они отнюдь не представляли большинства в массе работников нашего Бюро, были так заезжены производственной рутинной, так много раз на день повторяли одно и то же, так, наконец, были измучены бытом, что ни о каком творчестве серьезно и не помышляли. Их, как и откровенных халтурщиков, заботило совсем иное: все они опасались, что это отделение от церкви прямо скажется на нашем заработке. Опасения сии были не напрасны, и тревожные слухи стали доходить до нас.

Тем не менее приказ есть приказ, от церкви нас отлучили, и отныне мы теоретически не имели права заходить в соборы Кремля (я, правда, никогда не слыхал, чтобы у того, кто туда все-таки заходил, были какие-нибудь неприятности). А те экскурсоводы, которые вели специализированные экскурсии, предполагающие заход в соборы, должны были сдать экзамен соборной администрации и получить специальное разрешение.

Однако добродетели так и не удалось восторжествовать над пороком и по следующим причинам: чрезмерная урезка зарплаты должна была привести к массовому бегству сотрудников из на-

шего Бюро. Из него могли сбежать даже евреи, ибо и евреям, особенно семейным, тоже кушать надо. Начальство это, видимо, учло, и стоимость экскурсии осталась прежней. Мало того, нам даже достался приварок от всего случившегося: теперь на вполне легальном основании мы никуда не заходили и могли прохалтурить экскурсию быстрее прежнего. Сводчатые же своды соборов служили нам резервом главного командования: в случае проведения тотальной проверки мы, пренебрегая запрещением Министерства культуры, заходили в соборы и тянули там время.

Итак, дорогие бывшие советские граждане еврейской национальности, знайте, что когда вы приедете на свою бывшую родину и пойдете на экскурсию, то в соборы вас не поведут. И жалоб попусту не пишите.

Пока я вам рассказывал о наших отношениях с соборами и церквями Кремля, подошли мы к Боровицкому холму и стали взбираться на него. Вы, наверное, хотите узнать, как я собираюсь разделаться с моим священником? Я ж вам это обещал в самом начале нашей экскурсии. А думаю я это сделать очень легко. С помощью философа Канта. Его, наряду с другими представителями немецкой классической философии, я люблю читать, сидя на скамеечках Александровского сада в ожидании очередной заказной группы. Бывало, сидишь, почитываешь что-нибудь про "нравственный императив" и про то, что "ничего не поражает нас так, как вид звездного неба над нами и сознание нравственного закона внутри нас", и одновременно поглядываешь на ножки. Когда глаза устают, "предоставим господам Шопенгауэрам рассуждать о чем им угодно, а сами будем целовать эти прекрасные ручки". И все прочее тоже можно и даже необходимо.

Я уверен, дорогой читатель, что вы все тоже очень хорошо все знаете про философа Канта и перечитывали его всего, устав от передач очередного хоккейного матча. Но хлопотливая зарубежная жизнь могла привести к тому, что вы могли его философию и подзабыть, а поэтому я ее вам сейчас напомню и заодно сообщу, как я собираюсь разделаться со своим малограмотным священником, который не только Канта не читал, но и имени его не знает. Так вот, отношение Канта к Богу сводилось, вкратце, к следующему.

До Канта теологи полагали, что бытие Бога можно доказать логически. Кант к подобного рода спекуляциям относился весьма критически (отсюда-то и "Критика чистого разума"), а посему разделался со всеми спекулятивными доказательствами безжалост-

но. Приведем пример. Философы до Канта исходили из того, что коль у человека есть понятие "Бог", то, следовательно, существует и реальный прототип, с которого и сделан этот идеальный слепок. Кант справедливо указал, что между реальностью и образами нашего сознания никакой прямой связи нет, и тот факт, что в вашем сознании есть идея двухста талеров, вовсе не означает, что талеры эти у вас в кармане. Всякая теория требует эмпирических доказательств и основывается прямо или косвенно на наших чувствах, способных собрать для ума эти эмпирические факты. Но Бог, сопричастный вечности, нашими чувствами, оперирующими только конечными величинами, замечен быть никак не может. А отсюда делается вывод, что никакая наука существование Бога доказать не может. Но философу Канту было страшно жить без, как сказал бы Владимир Ильич, "боженьки". И поэтому-то Кант обосновал его существование живой практикой. Без Бога, полагал Кант, никакая нравственность не могла бы существовать, и люди неминуемо дошли бы до каких-нибудь неслыханных зверств и извращений. Так что все существование Бога держалось, так сказать, на практической нравственности человечества. А поскольку во времена Канта люди до ничего такого особенного не дошли, то Кант был спокоен за Бога.

И тут-то, говоря про нравственность человечества, я задумал улыбнуться моему священнику. Улыбнуться так, как улыбалась красавица Лукреция своему брату Чезаре, а брат Чезаре своему папе Александру. И в тот самый момент, как я это задумал, мне показалось, поверьте мне, дорогие читатели, совершенно явственно, что я вижу все семейство, прогуливающимся недалеко от Большого Кремлевского дворца, как какие-нибудь там депутаты Верховного Совета РСФСР или СССР. И прогуливаются они не как простые, ничем особенно не примечательные депутаты, а как весьма значительные и влиятельные, знающие себе цену. Ну, например, как члены Политбюро — они ведь тоже, как нам известно, являются делегатами Верховных Советов. На переднем плане была Лукреция. Ветер трепал ее густые и золотистые волосы, стянутые на макушке золотой тонкой диадемой с маленькими глазками алмазных искорок. На ней было длинное, строгое, девственно-белое платье из полупрозрачной материи и легкие туфельки, коими она чуть касалась асфальта. Время от времени она как-то лукаво и совсем не по-сестрински подмигивала брату Чезаре, а он ей мигал в ответ. В промежутках между миганиями он бе-

седовал со своим папой Александром, облаченным в тяжело-роскошные, шитые золотом, парчовые одеяния, достойные его высокого и уважаемого сана. На груди его красовался большой золотой крест, покрытый, как лишаями, нешлифованными драгоценными камнями. На кресте был также выгравирован распятый Христос — золото-дебелый и, судя по всему, преуспевающий. Папа Александр был полон, румянолиц и благодушен. Его сочно-красный парчовый костюм с золотыми блесками шитья хорошо выделялся на фоне строгого черного плаща его сына Чезаре. Папа Александр шел вместе с сыном Чезаре вдоль Большого Кремлевского дворца весьма степенно и что-то с ним при этом обсуждал, наверное, какие-нибудь важные государственные дела, и поглаживал при этом толстой, пухлой, гуманистической рукой дебело-пухленького золотого Христа. И в процессе разговора он тоже поворачивал голову, как и его сын Чезаре, чтобы посмотреть на свою обольстительную дочь Лукрецию. И тоже улыбался ей и опять-таки совсем не по-отцовски. Ноздри папы раздувались, плоский и гибкий ядовито-красный язык высовывался и жадно, как бы испытывая острую жажду, облизывал свои большие мясистые губы. Глаза папы были подернуты маслянистой истомой, и он периодически тяжело вздыхал, как бы пересиливая себя.

Вдруг мне показалось, что все семейство: золотоволосая красавица Лукреция, ее изящный, с красивым умным лицом брат Чезаре и благодушный папа Александр — заметили меня. Они хотели сказать мне что-то, приободрить в чем-то, но не могли — это очень трудно, практически невозможно, приободрить, обменяться словами с тем, кто будет жить почти через пятьсот-четырееста лет после твоей смерти. Но взгляд их я поймал и сберег для разговора с моим священником. И был я уверен, что взгляда этого он не выдержит, ибо не может какой-нибудь там экс-шофер выдержать коллективный взгляд семейства, свободно владеющего всеми древними языками и столь изощренно-начитанного. Он с неизбежностью капитулирует. Поникнет, беспомощно опустится бородатая голова. Потухнут глаза, а затем вновь вспыхнут мольбой. И блеснет где-то там высоко в прозрачном, безоблачном небе начищенным, остроотточенным лезвием солнце. “Помедлите, помедлите на мгновение, господин палач”. Нет, нет, что там ни говори, а это нехорошо бить слабейшего. И против кого это я задумываю направлять стрелы моих интеллектуальных изысков? Да против полуграмотного экс-шофера. И все мои доказательства:

вселенная пуста и ничего, кроме червей, на том свете нет — пропагандируют ежечасно союзные издательства с миллионными тиражами, лекторы общества “Знания”, тоже всесоюзного, и, конечно, мы — представители Московского городского экскурсионного бюро. А что он может всему этому противопоставить, он — полуграмотный экс-шофер, который не знает даже о существовании философа Канта. И помрет он скоро. И человечество помрет. И вообще оно ничего особенного не представляет собой, это человечество, если взглянуть на него с высоты миллиарда лет. И мне прикажете бить это слабенькое человечество? Опять же никаких лавров этот мордобой не принесет.

Нет, конечно, я его пожалею. Я обниму его за плечи, так по-братски, и куда-то пропадет вся разница в возрасте и образовании. Так, наверное, обнимутся два живых существа, потерпевших кораблекрушение в космическом пространстве и прибитых волнами к безымянному астероиду. (Камень с рваными краями медленно плывет в космической пустоте, подставляя то один, то другой бок холодному, мертвому блеску бесчисленных голубых солнц.) Я обниму его за плечи, и он совсем не обидится. Это будет все после экскурсии, когда мы останемся одни у Дворца Съездов. (Будут проходить люди, задумчиво прохаживаться парни с повязкой “распорядитель” и детишки непослушно мельтешить перед глазами.) Я скажу ему, что, конечно, никакого Бога нет, не было и не будет, но человек не может жить без надежды, уж это, так сказать, биологически предопределено. И если ему удобно, он может назвать эту надежду Богом. Это никому не возбраняется. А затем я ему скажу, что он может выйти из Кремля через Троицкие ворота. Недалеко от них расположен ларек, где можно купить кофе, булочку и бутерброд, даже с копченой колбасой. Рядом с киоском — туалет. Мужской и женский. А затем я пойду по своим делам, а он по своим. Вот и все.

Вот и Соборная площадь. Я расставляю ноги и начинаю свое вещание, а сам поглядываю на священника. Но вместо его реплик слышу надрывно-скандальный вскрик: “Я знаю, что вы знаете, кто мы такие, и думаете, что поэтому вы нам можете чушь пороть. Сплошная жвачка”. С этими словами девица угрожающе двигается на меня, воинственно выпятив два шара, обтянутых тканью скверненького дешевого пальтишка. “Мы вот, — она кивнула в сторону своих подружек, — воспитательницы детского сада,

но это ничего не значит. Мой муж борец, но он очень хорошо понимает и чувствует Мандельштама”.

Смелая, оказывается, подруга борца. Прямо в центре Кремля открытым текстом про “жвачку”. Не боится, знать, греха. Лишь однажды еще я подобного рода крамольницу водил: у памятника Ленина она стала говорить, при этом весьма явственно, так что вся группа слышала, что у Ленина калмыцкая и еврейская кровь.

Подруга борца подошла ко мне вплотную, ее мячи двумя рожками уперлись мне в грудь. Глаза мечут молнии. Я благоразумно перехожу на смиренно-заискивающий тон: “Товарищи. Экскурсии эти, как вы понимаете, я не сочиняю. Я в Кремле, поймите, на работе”. — “Какой вы уж, право, Полоний”, — презрительно-покровительственно говорит подруга борца, унижая меня своей эрудицией.

Какой я Полоний? Он по морозу не бегал, а во дворце сидел; да и зарплата была не наша, погуще. Но делать нечего, придется вести группу в собор для избежания жалобы. И свои антирелигиозные речи придется прекратить и опять же таки по тем же самым причинам — чтобы не раздражать клиентов. Выбираю Архангельский собор и нахожусь там, наверное, с полчаса, до полного умиротворения девиц. Завершая экскурсию, я пристально гляжу на моего священника в ожидании каких-нибудь комментариев или вопросов. Но он молчит и только чему-то улыбается. Экскурсия закончена, и я уже собираюсь двинуться к ларьку с булочками и кофе, как кто-то осторожно трогает меня за плечо. Я оборачиваюсь: это священник. Он стоит прямо передо мной, а в глазах все та же искорка-скепсис, даже что-то издевательское. Как будто не он, а я верующий. Священник мнетя с ноги на ногу и, наконец, говорит с усмешкой: “Вот вы тут, молодой человек, экскурсию водили; спасибо вам. А вот насчет Бога-то... знаете?” А что мне знать про Бога? Даже не философией, а всем своим нутром я чувствую, что его нет. Нет. Но это такой пошло-одномерный атеистический ответ, он так лишен необходимых мне в таких случаях архитектурных излишеств из цитат и интеллектуальных завитушек, что я делаю вид, что ничего не знаю ни о каком Боге. Не знаю даже такого фундаментального факта, что его нет. И я молчу. Как Христос перед Пилатом или Великим Инквизитором. “А вы знаете, — священник продолжает пристально с усмешкой глядеть на меня, — что было у древних? А стоял у них алтарь и приносились жертвы. И знаете кому? Неведомому Богу”. Он удовлетворенно вздыхает,

как бы исполнив тяжкую, но важную работу, и улыбается мне; и совсем на этот раз не ехидно, без всякого вольтеровского скепсиса, очень тепло и ласково. А затем поворачивается и уходит. Около него черные агатовые вороны пятнают белую вату свежесвыпавшего снега иероглифами следов. Все. Мой антирелигиозный диспут кончился, не начавшись...

У меня сегодня должна быть другая "кричалка" — с Красной площади, и, выпив кофе, я направляюсь туда. День между тем разгорается. Розовая, телесная, совсем не воинственная стена улыбается всеми своими трещинами и выбоинами. Сладко потягивается после зябкого ночного сна. Желтый солнечный Совмин приосанился, и радостным молодецким бичом хлопает по воздуху красный флаг. Черный Мавзолей лоснится солнечным утром, а из его центра вытягивается волочащийся через всю Красную площадь и Александровский сад хвост динозавра-очереди. Может быть, это новый религиозный культ? Поклонение святым мощам? Какая пошлость. Какое заезженное сравнение. Но это не культ. Черная пирамидка — не священный Бенарес, не Кааба или Стена Плача. Это филиал ГУМа. А те, кто составляют чешуйки и позвонки, вовсе не паломники к Гробу Господню. Это покупатели.

Сколько раз бывало ведь так. Ведешь себе группу зимой через всю площадь Пятидесятилетия Октября где-нибудь часов в одиннадцать. Мороз знатен, и очередь в Мавзолей сравнительно небольшая: ждать нужно не три-четыре часа, а какой-нибудь часик. "Товарищи, — говорю я, — обратите внимание на очередь в Мавзолей. Очень маленькая. Как вы понимаете, такое бывает очень нечасто, а вход в Кремль свободный". И многозначительно замолкаю. Граждане, от моих слов восторженувшись, начинают пристально смотреть на очередь. Со скоростью, коей могла бы позавидовать электронная машина новейшей конструкции, они калькулируют; на весах взвешивается товар: Кремль (явно ничего путного не расскажут и вход свободный, но уплачено уже тридцать копеек) и Мавзолей — редчайшая возможность, дефицитнейший товар-зрелище. Граждане в этом случае напоминают провинциалов, оказавшихся на пару часов в ГУМе: не имея возможности встать сразу в десять очередей, они должны выбрать только одну, ту, которая ведет к наиболее дефицитному и желаемому товару. И граждане чаще всего выбирали Мавзолей. До двух третей моей группы пристраивалось к концу очереди, а оставшуюся треть я вручал, по предварительному согла-

шению, конечно, какому-нибудь моему коллеге, ведущему экскурсию.

Бог престижен, как сине-индиговые импортные джинсы с кожаной блямбочкой на заднице. Посещением Мавзолея можно похвастаться, как добытым в жаркой рукопашной схватке ГУМа дефицитным товаром, и для этого-то и выстраивается здесь огромная очередь. Для этого, как я полагаю, многие из моих клиентов посещали и Кремль. Здесь нет никакой разницы — Леонид Ильич такой же дефицитный товар, как и мумия Мавзолея, может быть, даже более редкий. В Мавзолей все-таки можно попасть, если, конечно, приедешь ни свет ни заря на Красную площадь и прстоишь несколько часов на солнцепеке или пропляшешь, как повешенный, на морозе. (Повешенные, как свидетельствуют древние хроники — они иногда с каким-то мазохистическим пристрастием детально описывают сцены повешенья — очень забавно плясали с палачом на плечах, прежде чем испустить дух.)

В Мавзолей можно попасть. Здесь нужно только терпение, а вот с Леонидом Ильичом или членом Политбюро дело сложнее: тут терпением не обойдешься, и вся надежда на удачу. И экскурсанты идут в Кремль, как в ГУМ: а вдруг его самого, генерального секретаря, “выбросят”, как “выбрасывают” дублинки или сухую колбасу. Живого бога “выбрасывают” очень редко. Я сам видел Леонида Ильича, может быть, только несколько раз, когда его машина со страшной скоростью в окружении эскорта пронеслась мимо меня. “Кто это?” — спрашивает меня клиент; в глазах какой-то трепет, религиозные мерцания в зрачках. Экстаз святой Терезы. Ангел чуть дотронулся до беломраморного плеча, судороги проходят по телу. В глазах невысказанная, неисполненная томная тоска. Лыстящий шепот шин имперской квадриги. Запах бензина. Это прикосновение власти — самого дорогого и дефицитного товара. “Кто это?” — продолжает настаивать любопытный экскурсант. “Я не знаю”, — говорю я с загадочной улыбкой архаической статуи на лице. “Знаете”, — лик моего экскурсанта расплывается в улыбке, и он удовлетворенно вздыхает. Он дождался своей очереди. Теперь он имеет право бросить реплику соседу: “А знаешь, Васька, я самого Брежнева видел”, — и надеть на танцульки джинсы с импортной блямбочкой.

Но живые боги редкий, очень редкий товар. Завладеть им очень трудно. Я практически никогда не видел вождей, гуляющих по Кремлю, и лишь однажды встретил Косыгина. Он был исключе-

нием из общего правила. Я остановил группу у Дворца Съезда и приготовился вещать про “программу построения коммунизма в нашей стране”. Уставшая, разомлевшая от беготни и жары группа смотрела “в потолок”. И вдруг, прямо на нас, быстро семеня ножками, вышел маленький сморщенный человечек. За ним, неспеша, в развалочку, следовали два молодца. Приблизившись к моей группе, маленький человечек несколько замедлил шаг и прислушался, ухо его, видимо, уловило несколько привычных фраз-клише, и он, стрельнув черными колкими глазками, поспешил восвояси, ведя на незримой нити как бы слегка упирающихся молодцов. Нам было запрещено обращать внимание на вождей. Боялись покушений или скорее всего прошений.

Человек бросается из толпы. Страж выставляет ладонь вперед растопыренным щитом, но человек водой протекает сквозь пальцы. Он бухается в ноги; острый запах кожи и сала, черная патина сапог. Блеск палаша, взметнувшегося в воздух, но спокойный, несколько усталый голос разносится с какой-то недосыгаемой высоты: “Кто такой?” — “Я... я... я...” — от волнения он не может вымолвить и слова. Но опять с небесной высоты раздается спокойный, усталый и несколько ободряющий голос: “Писал?” — “Да как же, государь, — как бы спохватившись, он хватает полу кафтана, — как не писать. И на ваше имя писал”. — “И что ж?” — “Все обратно в область посылали, пусть там на местах и разберутся”.

У Косыгина была репутация либерала и демократа. Ходили слухи, что он гуляет не только по Кремлю, даже тогда, когда там полно народу, но и в других местах. Иногда — а это было уже совсем невиданным отступлением от каноническо-византийских советских норм — он непрочь поговорить с простым смертным и без предварительной подготовки. И не боится, что граждане, увидев его сморщенную, дряблую, безвольно повисшую, отвратительно измятую природой кожу, маленькую головку, маленькие ручки и тщедушное тельце, придут к заключению, что премьер схож с ними, с простыми смертными, и в ближайшее время умрет, превратится в ничто, а не просто переселится из этого износившегося тела, столь некомфортабельного, в гранитную статую, стоящую на страже в тени великой пирамиды. Мне также рассказывали, что премьер персонально наведывался в магазины, дабы выяснить, что там есть, а главное — чего нет. И лицо у него было всегда сумрачное, недовольно-надутое, из чего граждане делали заключение, что премьер не на шутку встревожен тяжелым их материальным положением.

Косыгин обладал и другим невиданным для вождя качеством: он самолично и, видимо, без непосредственного давления со стороны других членов Политбюро хотел уйти на пенсию. В общем, по всем своим характеристикам, премьер был самым что ни на есть демократическим богом, таким полу-Христом (настоящим Христом был, естественно, Ленин), богом, не блаженствующим где-то там в заоблачной высоте, но спускающимся на землю, дабы поинтересоваться, чем живут простые люди.

Мои экскурсанты все, как один, смотрели на маленького удаляющегося человечка. Но никто не бросался ему в ноги и даже не спрашивал меня, кто это такой. Живой бог при всем своем демократизме был не только дефицитным, но и опасным товаром, и с ним надо было держать ухо востро.

Я, между тем, пересек уже всю Красную площадь и оказался в маленьком закутке красного здания. Это наш опорный пункт на Красной площади: тут можно сходить в туалет и отогреться от холода. А когда пригреет немножко солнышко, когда злобно-завистливо курлыкают сизые голуби и наскакивают друг на друга, сражаясь за хлебную корочку, воробьи, совсем лафа: я вытаскиваю на улицу из закутка стул и, облокотившись на его спинку, начинаю дремать.

Абсолютный дух течет передо мной штанами, юбками и авоськами. Иногда кто-нибудь осторожно дотрагивается до моего плеча: "Извините за беспокойство, я из Красноярска, первый раз в Москве. Как пройти..." После пробежки по Кремлю мое тело сладко и надсадно ноет, мышцы оттаивают от напряжения; под закрытыми веками мельтешат радужные кружочки. Голос мужской, а посему я не открываю глаз: "Дорогой товарищ, справочная за углом". Снова голос: "Как пройти к собору Парижской Богоматери?" — "Прямо и налево". Я открываю глаза: кажется все ушли. Куранты Спасской башни пробили двенадцать. Императорская квадрига пронеслась мимо меня и исчезла в воротах. Страж отдал честь. Прошел отряд преторианцев в синих погонах, гулко стуча по мостовой подковами своих кирзовых каллигул. Муравьями мельтешат по площади москвичи и гости столицы. Тихий обволакивающий гул шаркающих ног затягивает колыбельной песней в дремотное болото. Из какого-то другого мира кричат муэдзины с башен минаретов: "Граждане москвичи и гости столицы... Цена тридцать копеек... Кто в Кремле не бывал, тот Москвы не видал..."

Я не смотрю на площадь, у меня закрыты глаза, но я чую запах

талого снега и слышу шарканье тысяч ног. Я вовсе не экскурсовод сейчас, вовсе не прикреплен к этому Бюро невозможностью добыть другую работу, не живу в Москве и даже не родился 31 мая 1950 года и должен буду умереть, превратиться в ничто где-то наверное в начале следующего тысячелетия. Я — “око мира”, странник вне времени и пространства. Мой стул с вдавившимся сидением неспешным плотом плывет по реке времени. Он плавно огибает мели созвездий и белесые галактические острова, омываемые густо-черными волнами вечной космической ночи. Изредка меня прибывает к берегу, и я выхожу на песок и вижу день. Это большая редкость, ибо лишь иногда вечная ночь засыпает и на мгновение уступает место дню. И вот сейчас я сошел в конец февраля 1978 года; я пробуду здесь совсем немного, ибо день очень короток. Золоченые купола и развевающийся кумач над зеленым куполом смотрятся весьма эффектно, но за то время, что мне отпущено, я должен увидеть еще пирамиды Египта, Акрополь и Римский форум.

Позже, уже в эмиграции, гуляя среди римских развалин, я живо представлял себе, как будет выглядеть московский Кремль где-нибудь в пятитысячном году. Империя погибнет, погибнет с неизбежностью, ибо все в этом мире рано или поздно должно погибнуть. Откуда она начнет разваливаться: “от потрясенного Кремля” или от “стен недвижимого Китая”? Уж, конечно, с Востока. И будет пробиваться тощенькая, бледненько-лядащенькая, но упорная в своем желании жить травка из-под расчищенной археологами брусчатки. Огромный палец в центре площади — это все, что осталось от статуи вождя тридцатой династии. Ее соорудили к тысячелетию советской власти; на нем изумрудная ящерица в блаженной истоме задернула глаза занавесками перепонок. Раздается щелканье фотокамеры, и она исчезает среди камней. Несколько черных исцарапанных плит — это все, что осталось от Мавзолея; плиты прислонились к красным уродливым зубам дракона — это руины Кремлевской стены. Недалеко от нее маленький павильончик, отдельный музей, туда впускают за особую плату. В нем по начищенному паркету скользит молоденькая хорошенькая блондиночка, бабочкой перепархивает от одного экспоната к другому. Статуя с отбитым носом. Лишь ухо осталось от гранитного лица другого властителя. А вот здесь только череп без лица. Девчушка, перепархивая от уха к черепу, заученно щебечет: “Прогрессивный, полупрогрессивный, а этот был стопроцентным реакционером”. “А вот тут (лицо ее осклаивается улыбкой; ряд белых зубов фарфоровой белизны) — глав-

ный экспонат нашего Музея "Сокровища Древнего Кремля", мумия. Условно названа "мумией властителя", работники нашего научного исследовательского отдела, к сожалению, не смогли установить, кому она принадлежала. Но ясно одно: это знатное лицо. Об этом свидетельствует маленький красный эмалированный флажок, найденный на ее груди. Вот он перед вами. Флажок свидетельствует о том, что ремесленники раннесоветской эпохи отличались большим мастерством, прошу обратить внимание на изящество отделки".

Все смотрят на красный эмалированный флажок, а я на лицо: череп, обтянутый кожей, волосики неопределенного цвета на макушке, пустые глазницы, ряд белых зубов фарфоровой белизны скалятся. На меня. На время. Это он, это точно он, я видел его фотографию в одной популярной книжке. Это Рамзес Великий, он же Рамзес Второй. Поток вторжения, разрушивший империю, занес его мумию сюда из Каирского музея. Я закрываю глаза (ведь глаза можно закрывать даже во сне), и все его царствование лежит передо мной, как на ладони.

Вот он, молодой и сильный, с гранитными рельефными мышцами, лоснящимися от пота, правит квадригой; за ней стелется шлейф пыли. Великий Рамзес чудовищен, он в несколько раз больше своих врагов-лилипутов, копошащихся у ног его лошади, столь же чудовищной, как и ее хозяин. Враги разбиты. Они бегут, испуганно озираясь. Молят о пощаде, умильно сложив руки или простирая их к победителю. Воины фараона закручивают им руки за спину и связывают их кожаными ремнями. Маленькие трупики, такие крошечные трупики жучков раздавлены колесами колесницы и копытами лошадей. С пленных сдирают кожу, деловито распластав их на земле и привязав руки к колышкам: нечеловеческий вспарывающий перепонки поросячий визг режет отточенной бритвой прозрачный южный воздух, а затем красное, скользкое освежающее мясо пульсирует среди дорожной пыли. Рот, полный розовой слюны, открыт печной топкой, звуки нечленораздельно булькают в гортани, волосы на макушке вздыбились, глаза вышли из орбит. Бурные от крови кожи сушатся в назидание оставшимся на пепельно-серых городских стенах из необожженного кирпича, столь хорошо вырисовывающихся на фоне чистых цветов неба. Казненные корчатся на колах за городской стеной у самых ворот; халдейский, семитический монстр выпустил из-под мягких подушечек лап остроконечные когти, и приоткрыв длинный клюв, дразнит их

длинным раздвоенным змеиным языком. Черная, ласково-прохладная ночь опускается на город.

Мне жалко Рамзеса. Мне жалко великих и безжалостных властителей мира сего. Если они, мощные, сильные и непобедимые, кротогоргие священные Аписы, питающиеся исключительно человеческим мясом крокодилы, тигры и удавы, днем дремлющие в прохладной тишине храмов, после каких-нибудь четырех тысяч лет превращаются в череп, обтянутый коричневой сморщенной кожей, то что будет со мной — толсто-дряблым либеральным травоядным? Что со всеми нами будет? Сердце мое сжимается в предчувствии неотвратимого, к горлу подкатывается отвратительный, нечеловеческий поросячий визг. Дрожащей рукой я хватаю маленькую ручку весьма привлекательной блондиночки-экскурсовода, обладательницы зубов фарфоровой белизны: “Уважаемый товарищ экскурсовод. Скажите мне, пожалуйста, а не пытались ли научные сотрудники вашего научно-исследовательского отдела первой категории воскресить Рамзеса?”

Но вместо ответа я слышу у моего уха “Шля-пен-тох”, и кто-то трясет меня отчаянно за плечо. Я открываю глаза и вижу перед собой раскрасневшееся на морозе лицо организатора наших экскурсий. “Слушай, Шляпентох, что это за безобразие? Я уже полчаса назад тебе группу собрал, а тебя нет. Группа возмущается. Ты что, жалобу захотел?” Я обалдевшими заспанными глазами гляжу на красную морду организатора и, быстро оправив одежду, бегу трусцой к группе, действительно уже собравшейся около ГУМа.

Через полчаса я снова на Соборной площади, а в группе брожение — уж больно быстро пробежал я этот маршрут. Дабы задобрить клиентов, решаю отправиться с ними в собор. В собор без билетов не пускают, и вот я, собрав деньги у клиентов, бегу к кассе. К ней здоровенная очередь. Граждане желают попасть в Александровский собор — усыпальницу Великих князей и царей Московских, посетить кладбище. Они притоптывают ногами от холода и поглядывают на фасад Успенского собора, на нем, над самым входом, женщина в древнерусском кокошнике прижимает любовно к груди младенца с деформированным лицом рахитичного дегенератика. Глаза ее полны задумчивой грусти, и она не обращает никакого внимания ни на людей, ни на младенца, протягивающего к ней свои коричневые ручонки. Она знает, что младенец обречен умереть от голода, болезней или татарской стрелы, а посему не надеется ни на что.

Я появляюсь перед окошечком кассы и прежде, чем граждане, стоящие рядом, успевают опомниться, высыпаю перед кассиршей жменью мелочи. "Куда вы лезете без очереди? Что за хамство?" Хамство, хамство, хамство... Эхо проносится по всему хвосту, и из его позвонка отваливается толстый и небритый малый лет сорока с изрядным пузом и внушительными кулаками, которые он выразительно сжимает и разжимает. Малый с решительным видом направляется ко мне с ясным желанием дать мне основательный подзатыльник при полной, естественно, поддержке общественности. "Я экскурсовод Кремля, я на работе и не могу ждать", – встречаю я словами агрессивного малого, а затем отточенным клинком тычу в самый его кадык красную экскурсоводческую свою книжицу. На ней нет герба Советского Союза, но красный цвет – цвет власти, а посему он останавливается на мгновение. В фокусе его зрачков собралась зеленоватой мерцающей искоркой тупая злоба. Он смотрит то на меня, то на красную мою книжицу, из его рта вырывается паром паровозного свистка сдавленное, замешанное на винном угаре шипение: "Работаешь, мать твою, перемать..." Нет, он определенно собирается дать мне пинка, но вот на горизонте появляются два дюжих молодца с повязками "распорядитель". Они попадают в поле зрения моего молодца, сигнал передается глазными нервами мозгу и возникает ассоциация образов: Кремль, красная книжица и "распорядитель" – власть жестокая и безжалостно-сильная, которая одним легким щелчком играючи проломит его череп, как яичную скорлупу. Я еще раз делаю выпад рукой и сую свою красную книжицу прямо в глаза. Молодец бестолково взмахивает руками и по-медвежьки пятится. "Работаешь", – он цедит сквозь зубы и отступает. Я, пользуясь моментом, выхватываю ленту пятнадцатикопеечных билетов и бегу к своим клиентам. Я показываю им свою гирлянду, и они уже смотрят на меня несколько снисходительно, ибо, добыв билетики вне очереди, я превратил их из обычных граждан в привилегированных.

Билетики предъявлены при входе, и мы вваливаемся в Архангельский собор. Протискиваясь между покрытых латунными чехлами могил, я подвожу моих подопечных к тускло мерцающему иконостасу. Икона на его нижнем ярусе – самая древняя. Потрескавшаяся, шелушащаяся краска. Специальные лаки удерживают от распадаения и гибели архангела Георгия Победоносца, "символ победы русского народа на Куликовом поле". У бога узкие плечи и разбухший, как от хронического недоедания живот, прочно поко-

ящийся на рахитичных кривых ногах. Лицо архангела сурово и одухотворено, красный плащ победно плещется за его спиной.

“А вот тут, — я показываю рукой на одну из стен, — ангелы являются Константину во сне. Это, знаете, библейская легенда”. Ангелы порхают вокруг дремлющего Константина белыми бабочками. У них убежденные лица, и они точно знают, что будет с ним, если он не примет истинную веру: не только в грядущей битве он будет с неизбежностью разбит, но и душа, которую он по своей неразумности полагает смертной, будет вечно терзаться вечным огнем. На лицах ангелов нет сомнения, пальцы выразительно подняты; они знают свою силу, силу церкви единого и всемогущего бога. Что для них какой-то Константин? Всю вселенную могут они переиначить так, как им захочется: свернуть небо, “как свиток”, потушить и возжечь солнца, создать и разметать млечные пути. И кружатся они вокруг этого Константина вовсе не потому, что он им нужен. Им просто жаль его, этого наивного ребенка, забывающего такой простой и фундаментальный факт, как собственную смертность, как смертность всего того, что он создаст, ибо ничто не избежит гибели, даже его империя, подпертая мечами неисчислимых легионов. Нет, не они, а он проситель. Лицо Константина со скептической улыбкой, чуть раздвинувшей кончики его губ, повернуто к зрителям, и ангелы не видят его.

“Дорогие товарищи, — между тем продолжаю я, — обратите внимание на эти фрески, тут процессия людей как бы опоясывает нижний ярус собора. Это изображения тех, кто был похоронен в соборе. У всех у них умильные благообразные лица. Художник, их изобразивший, полагал, что эти люди, так часто ненавидевшие друг друга при жизни, примирятся на том свете, ибо смерть очищает от всего земного, в том числе и от ненависти. Мы же, товарищи, знаем, что это была лишь уловка церковников, которые, идеализируя образы князей, служили верой и правдой власть имущим. Никакого примирения на том свете нет. Потому как мы все хорошо знаем, никакого того света тоже нет. После смерти человек превращается в ничто, а жить он может только в своих делах, в памяти потомства, и тут все, конечно, зависит от самого человека: он может остаться в памяти потомства как агрессивный феодал или борец за народное счастье”.

“А вот тут, над самой дверью, страшный суд. Видите ангелов с белыми крыльями, они, как авиадесантники, падают на землю с неба. В руках их, как автоматы, — трубы, ими-то они и возвеща-

ют конец истории и начало страшного суда. Как полагали люди средних веков, от звуков этих небесных труб земля должна разверзнуться, и из могил подымутся пробудившиеся после долгого сна мертвые: вот видите, они поднимаются в белых саванах с простертыми руками. Как хорошо знаете, товарищи, все это не более, как библейская легенда, и никакого воскрешения никогда не будет. Человек, как мы все хорошо знаем, останется жить в своих делах, и важно тут, какие дела он совершил на этой земле: были ли они прогрессивными или реакционными. И вообще не нужно акцентировать внимание на индивидуальном бессмертии. Главное — это победа прогрессивного общественного строя”.

Нет никакого воскрешения, никакой справедливости, хотя может быть смерть и есть высшая справедливость.

Империя погибнет. Напрут с восточных границ злые молодостью и желанием племени. Загарцуют на вздыбленных бронетранспортерах и с гиканьем и свистом осыпят степь тучей термоядерных стрел, а затем погонят блеющие бронетанковые стада через Амур. И будет юность нового мира. Будет новая империя младенчествовать, мужать и пухнуть, заглатывая соседей, а затем и она развалится. И так круг за кругом, тысячелетие за тысячелетием будут кружиться народы в пляске, а затем, когда закружатся они до полусмерти, до безумия, вспыхнет, без всякой ядерной или термоядерной человеческой помощи, пьяный багровый глаз расширяющегося солнца и все скорчится обуглившимся листом; на раскаленных углях лист доспеет до нежно-серого пепельного цвета и распадется. И все будет тихо, незаметно, ибо, быть может, весь наш мир, как писал Паскаль, находится на кончике волосика какого-нибудь животного.

Граждане, между тем, медленно прогуливаются среди покрытых латунными чехлами гробов и тихо переговариваются. Они ведь на кладбище, самом обычном кладбище, ибо тут под латунными чехлами и белыми известковыми надгробьями семнадцатого века, покрытыми витиеватой резьбой, лежат люди. И отличаются они от тех, кто сейчас ходит по собору, только тем, что были царями и великими князьями. Но и они в свой час радовались солнцу, представляя под его лучи свое лицо, и ласкали своих детей. А затем глядели в тоске на сморщенную, сжеванную временем кожу, прислушивались к глухим натруженным ударам сердца. И была надежда, а затем железная рука сжимала сердце, и был последний вздох. И мысли о бренности всего сущего были здесь весьма ес-

тественными, как естественными они бывают на всяком кладбище, даже у тех, кто еще пока относительно далек от финиша; но ни разу не видел я этих мыслей, а ведь и мысли можно видеть в больших и влажных собачьих и человеческих глазах, в зрачках моих клиентов. Не видел я вспыхнувшую холодную искру-вопрос с уже давно всем известным ответом: "И если они все... цари и князья, то и я должен. Неужели и я?" И холодок ужаса, и желание побыстрее уйти отсюда, с места, дающего, как и всякое кладбище, такой простой и однозначный ответ на поставленный вопрос, к золотым куполам, синему небу, к другим людям, к свету, к иллюзии.

Граждане не хотели никуда уходить и не пугались смерти, потому что просто не видели ее. Архангельский собор, как и Мавзолей, не были кладбищами, а филиалами ГУМа, и граждане жадно покупали дефицитный товар-зрелище: их глаза жадно шарили по гробам, стенам, покрытым росписями и позолоченным окладам, как по полкам универмага. Изредка они обращались ко мне за разъяснениями какого-нибудь библейского эпизода или (это часто были те, кто в начале моей экскурсии посетил Оружейку) спрашивали, пристально глядя мне прямо в глаза, как бы опасаясь обмана: "Товарищ экскурсовод. А сколько все это золото и прочее может стоить?"

Император был стар и беспомощен, и все видели, как он тяжело, медленно подымается по ступеням Мавзолея. Он беспомощно и слабо махал им рукой, когда густыми толпами, валившими на Красную площадь в дни Октябрьских торжеств, они вторили громкоговорителю своим недружным, но внушительным ревом. Император, сохранивший империю от распада и прирастивший к ее телу новую Афганскую провинцию, умирал. Но никогда не слышал я от своих экскурсантов и слова жалости. И дело тут вовсе было не в ненависти к нему, а в том, что он был слишком далек от среднего обывателя, чтобы тот мог представить себя на его месте, чтобы почувствовать, что и у императора ноет грудь и есть страх смерти. Он был властью — абстрактной формулой, институтом, на который не распространяются людские слабости и проблемы. Она была слишком отчуждена в своей олимпийской высоте, чтобы быть причастной к смерти и тлению.

Граждане не жалели Леонида Ильича и по другой причине. Власть не имела права на слабость, она презиралась за нее. И здесь отношение граждан к власти было абсолютно таким же, как отношение власти к лидерам иноземных держав: добрые и мягкоте-

лые правители вызывали у них презрительную усмешку, с которой нормальный человек смотрит на расслабленного идиотика. Представитель великой державы должен быть, ну, если и не героем былин с монбланами бицепсов, то хотя бы обладателем стальной, вечно готовой к распрямлению, пружины воли, а вид что-то еле мямлящего лидера унижал советских граждан как представителей великой державы. Если уж быть рабами, то хоть сильного и великого господина. Если уж быть насилуемой, то хоть белокурым молодым Зигфридом, а не старцем, импотентом с шаркающей походкой.

Исключение из этого общего правила составляли старушки. В их глазах, когда я рассказывал им о Леониде Ильиче, я часто видел жалость, и они грустно качали головой. Они были слишком близки к смерти, слишком много уже смертей видели на своем веку. Явственно ощущая нависшую над всеми ее черную громаду, они чувствовали (а это было гораздо важнее рационального понимания) великое изначально-биологическое равенство людей, вернее, всех живых существ — равенство перед смертью. И поэтому-то их мудрое старческое око, око сиделки и матери, немедленно совлекало с Леонида Ильича гирлянды бесчисленных титулов и званий, стаскивало маршалский, сверкающий батареей орденов и регалий мундир с роскошными шитыми золотом эполетами и обнажало горькое и жалкое старческое тело. Для них он был не императором, но одним из них — старичков и старушек. И вот глядя на него, жалостливо-мудро качая головами, они как бы говорили, обращаясь как к нему, так и к самим себе: "Ну, уж потерпи, бедненький... Уж немного осталось. Отдохнешь скоро. И уж что тут противиться... на то она божья воля..."

Старушки, которых мне неоднократно приходилось водить по Кремлю, были по-своему уникальны в своем отношении ко времени. Ничего подобного я не видел в Америке. Эта русско-советская старушка никогда не пыталась, подобно американской, сражаться со временем, опираясь на свои человеческие силы. Ни одна из них, молодясь, не носила розовые панталоны или цветные кофточки. Я уверен, что ни разу в жизни не ходили они к массажисту, не бегали трусцой и не читали статьи о позволительности и даже желательности секса для граждан и гражданок преклонного возраста. Они не сопротивлялись потоку времени, и он мял их кожу, перелицовывал ее так, что молодая и эластичная сторона ее куда-то пряталась, а снаружи оказывалась грубая и потрескавшаяся. Они не пытались спорничать с молодыми, но уходили куда-то в сторону, в свой

особый, выцветший старушечий мирок с выеденной молью кацавейкой и заботливо спрятанными сухими корочками хлеба и рваными тряпками. Они не думали внешне сопротивляться смерти, уже сломавшей лапой им хребет и готовой рвануть клыками их обвисшую на кадыке тонкую пергаментную кожу. Но здесь, в этой покорности, таилась какая-то непреклонность, вера в то, что, покорно, рабски распластавшись перед временем и природой, они обретут через это могущественного защитника, и в их маленьких спрятанных в складках кожи глазенках я находил алмазную твердость тертулиановой веры. Ей не страшны были вполне справедливые, обстоятельно-научные рассуждения о несуществовании Бога и гораздо более доказательная жизненная практика. Все это и логикой, и живой действительностью доказывало, что нет никакой справедливости, и после долгих мук небеса не разверзнутся и никто не скажет этим маленьким сморщенным Иовам, что срок их испытания кончился, что они выдержали его, сохранив великую твердость, и не отступили, и не прокляли, и вот сейчас они получают от Бога то, что они заслужили. Белокрылые ангелы, победно трубя, не подхватят их, восторженно-напуганных этим неожиданным появлением, и не понесут к началу начал времени, когда они маленькими, красными и осклизлыми комками вываливались с помощью деревенской повитухи из утроб их матерей. И не будет новой жизни, новой, перелицованной на светлую сторону. И не будет другого конца, когда к ним, раскрасневшимся от счастливо-быстрого бега жизни, окруженным правнуками, подлетит Азраил и скажет, что им дарована великая милость — бессмертие.

Ничего этого не было и не будет. А будет ничто, и похороны на собесовский счет, и пара пустых бутылок из-под столичной. А затем бульдозер проедет по этому месту и стешет волдыри бугорков. А затем будет новый микрорайон. А затем промелькнет секундой на часах вечности пара миллиардов лет, и микрорайона не будет, а только черная, густая, как вакса, космическая ночь, лишь присыпанная белой галактической пудрой.

Но велика и необъятна тертулиановская мудрость абсурда, и поэтому вместо того, чтобы залить холодной ключевой водой маленький уголек веры, она превращает его в огромное всепожирающее пламя, в котором безвозвратно исчезают не только правильно-логические атеистические доводы, но и весь эмпирический опыт.

Повторяю, я никогда не видел подобия этих русско-советских

старушек в Америке, но в Европе они есть. Я вспоминал об этих старушках в Австрии. В Вене, насладившись видом витрин магазинов (продовольствие такого количества я видел в России только на Выставке народного хозяйства и на картинах “малых голландцев” в музеях; литые слитки окороков, тусклое мерцание серебра селедочной чешуи вызывали у приезжих провинциалов приступы черной зависти, и они, проглатывая слюни, восклицали в безнадежной тоске: “Жили же люди!”), я направился на поиск памятников старины. И вот в центре старого города я увидел игольчатое сооружение: серые кристаллики льда были спаяны вместе и увенчаны иглой-шпилем; собор. Он был закрыт: центральная часть его с алтарем была отгорожена от входа железной решеткой. У нее стояла старушка. Она была одета почти по-советски: бедное вылинявшее пальтишко, неопределенного цвета старенький платок. Тонкие губы были сжаты, выцветшие, бесцветные глаза остановились, смотрели куда-то вглубь, в себя. Перед ней, за решеткой, утренним речным туманом клубилась, обволакивая колонны, зябкая таинственность; выщербленные временем грязно-серые тонкие кремневые стебли колебались высохшим болотным камышом. А между ними, луной выплывая из облаков, светилось где-то в самой глубине алтаря ярко-желтое пятно: маленький голубь был наклеен на чернильно-черную тьму. Старушка постояла некоторое время у решетки и, прежде, чем уйти в освещенную рекламными огнями улицу, бережно положила у одной из стен маленький букетик. Когда она вышла, я подошел к этому месту: на меня со стены смотрело млажавое лицо офицера Вермахта. И был указан год смерти и место: Сталинград, 1942.

Но это будет в будущем, а пока я еще бегу по Кремлю. Снег хрустит под микропором моих туристических бот. Я стучу ими о камень ступенек и, призывно крикнув, обернувшись в толпе: “За мной, товарищи!” — вваливаюсь в Благовещенский собор. Я не хочу туда. Но дело в том, что по экскурсоводческим агентурным данным, в Кремле происходит проверка — будут проверять, проводят ли экскурсии за положенные два часа пятнадцать или же за срок гораздо меньший. Надо потянуть время, и я выбираю собор. Заморенными, уставшими провинциалами глядят перед собой постные лица со стен; декоративные хлебцы на столе слишком скромное подношение, чтобы удовлетворить голод уставших путников. “Кто это?” — вопрошают клиенты. “Святые”, — отвечаю я, не обращаясь. В голове проносится непрошенной цитатой: “И сказали

они Аврааму: и будешь ты отцом народа, и будет он более многочислен, чем песок морской". Многочисленные, многочисленные... Вот недавно говорю русскому приятелю: "Нас всего один процент". А он: "Что ты мне мозги пудришь: конечно, гораздо больше".

Я несусь дальше, судорожно заглатывая кусками теплый дефицитный соборный воздух. Рука делает неопределенный жест в сторону: "Обратите внимание. Изображение древнегреческого мудреца Аристотеля. Оно опровергает западных ученых, утверждающих, что Русь была отсталой страной и не была знакома с античным наследием".

Я говорю себе под нос, скороговоркой. Некоторые из клиентов лихорадочно вертят головами, пытаюсь найти этого Аристотеля, разоблачающего буржуазную пропаганду, но тщетно: со стен смотрят на них однообразные в своем благообразии седобородые старцы, держа в руках развернутые свитки поучений. Быстро, слишком быстро. Я должен провести в соборе не менее пятнадцати минут, а если я буду так нестись, то, конечно, управлюсь за все десять. И я решаюсь сделать привал-остановку.

"Стоп, товарищи!" — кричу я на всю Ивановскую. Граждане с трудом тормозят и испуганно пучат глаза. Грязные, мятые платки вытирают вспотевшие лбы. Я осматриваю поредевшую рать. Их осталось мало, лишь избранные вкусят моей мудрости. И это хорошо: "Мало народу — больше кислороду", — как говорит мой коллега. Дело тут вовсе не в "кислороде", а в том, что не нужно драть глотку.

Я выбираю объект: средних размеров окованная серебром иконка. "Воскрешение Лазаря" — то ли семнадцатый, то ли шестнадцатый век. А теперь нужно найти лицо, лицо, на которое надо уставиться в процессе рассказа. Ведь нельзя же смотреть в потолок, и я еще раз обшариваю глазами мою группу. Старушка. Ей, должно быть, под восемьдесят. По всем законам биологии, физики, химии и физкультуры должна была она отстать еще в начале маршрута. Не выдержать ни моего стремительного броска через Красную площадь, ни крутого подъема Боровицкого холма, ни моих виражей у памятника Ильичу. Но она выдержала, дошла. Чудо. Но какое мне, простите, дело до этого чуда? До этой бабки? До этого православного храма и икон? Почему я должен себе это в голову брать, я, жид пархатый, покупающий иконки у этих баб за пятерку в север-

ных деревнях. Да катись все это к такой-то матери. Мне нужно спешить на встречу с Машкой.

Худенькое тельце в черной вдовьей кацавейке. Голова, укутанная в серый платок. Из него, как из-под панциря черепашьего, выглядывает маленькая сморщенная головка. Мышиные бусинки глаз, а в них огонек, какой-то робкий, теплящийся, почти неприемный с первого взгляда.

“Товарищи, — говорю я с остановкой, расставив ноги, — перед вами так называемое “Воскрешение Лазаря”. По библейской легенде (не дай Бог скажешь еще “иудейской” — будет политический ляпсус, донос могут написать) умер некий Лазарь”.

Я смотрю на мою старушку. Странное движение ее рук. Да, я не ошибся — она крестится. Вот умора. Будет, во всяком случае, что рассказать Машке, так сказать, тема для беседы. Ведь придется же ее, бестию, развлекать во время нашего путешествия от Александровского сада до моего Эльсинора. (Я всегда назначал свидания в Александровском саду и вовсе не потому, что там сидела в ожидании загадочного поклонника Маргарита Булгакова, а по причине простого удобства.)

“Умер, знаете, товарищи, этот Лазарь; прошу при этом помнить, что все, что я вам сейчас рассказываю, никакого отношения к реальной жизни не имеет, все, знаете, ложь и вымысел церковников. Погоревали, значит, его родственники и похоронили его в пещере”.

И тут я представил себе все воочию. Желтый, безжалостно раскаленный песок. А наверху глянцевая открытка неба с раскаленным пятном полуденного солнца. Бурые, как спекшаяся кровь, морщинистые от времени и ветра песчаниковые скалы. А на них монстрами, слетевшими с фасадов готических соборов, сидят грифы в неопрятных взъерошенных жабо на тонких беззащитных шеях. У замурованной пещеры женщина. Черная, выдубленная солнцем и ветром кожа, плетью висят натруженные руки. В глазах нет слез. Они все выплаканы. Да и солнце немедленно слижет лучом слезинку, вздумавшую скатиться по щеке. “И вот тут родственники и обратились, по легенде, знаете, к Христу, он тут был поблизости”.

Я смотрю на старушку. Она вся подалась телом, все норовит быть поближе то ли ко мне, то ли к иконе. А огонек уже разгорелся, лихорадочным восторгом горят спрятавшиеся в глазных впадинах бусинки; они стали даже как будто больше, расширились зрачки.

Чего ты от меня хочешь, бабка? Почему, собственно, я должен перед тобой тут демосфеничить? Ты не Машка, да и подношений от тебя никаких не дождешься, не одаришь бедного совкультуртрегера бутылочкой рижского бальзама — приятное воспоминание о группе рижан, коих я сопровождал по центру нашей Родины в прошлую пятницу.

“И Христос этот подходит к этой женщине, родственнице этого, знаете, Лазаря, и спрашивает, что тут, дескать, приключилось. А она ему: “Умер мой Лазарь”. И тут, конечно, как вы понимаете, товарищи, слезы. А он, этот Христос, и говорит ей: “Не печалься, дело это поправимое. И воскресим мы твоего Лазаря”.

Воскресит. Ведь, конечно, врет, сознательно ведь врет. Это всегда у диссидентов так было и будет: вранье. Это их главная профессия, как и у власть предержащих. А лишите их этой возможности врать и заставьте нормально трудиться, как, например, я тружусь, так ведь повесятся. Им, христам, я бы эмигрировать вовсе не советовал. Это не про них.

“И воскресим мы его, ибо велика была его вера”. (Черт, забыл, было это в “Писании” или нет? Последний раз просматривал его этим летом, когда собирался за “зипунами” в Кировскую губернию.)

“А его на смех поднимают, этого Христа, книжники и фарисеи: “Воскресить! Да он уже три дня как умер, смердит уже”.

Я обвожу глазами моих “апостолов”, горстка осталась от полчища, врученного мне организатором на Красной площади в начале маршрута. Они переминаются с ноги на ногу, опущены глаза. Загонял я их, загонял. Все им теперь до фени. И только моя старушка продолжает смотреть на меня с какой-то восторженной детской верой.

На что надеешься? Ведь помрешь скоро. Никакой надежды, никакого спасения, даже если и ЦК за тебя вступится. “Жизнь — форма существования белкового тела”. Задница Машки — привлекательна. Эмиграция еще возможна. “Победа коммунизма неизбежна”. “Наши вооруженные силы — сильнейшие в мире”. Жизнь бессмысленна.

И вдруг, я этого вовсе не хотел, но что-то помимо моей воли щелкнуло в черепе, и я крикнул, да так, что испуганно обернулись забредшие в собор неорганизованные, неохваченные нашим Бюро экскурсанты: “Лазарь — выйди вон!!!”

И я увидел, быть может, вместе с моей старушкой: затрещала скала, осыпаясь столетней пылью. Повинуясь человеческому слову, огромный камень отделился от входа в пещеру и с грохотом покатился вниз. Гигантским пушечным ядром пронесся мимо меня, проламывая девственно белую, недавно отреставрированную к Олимпийским играм стену собора; пурпурной раной красуется в проломе пятивековый кирпич кладки. Камень взбесившимся мячом задорно скачет по Соборной площади. От него отшатываются парни атлетического сложения с повязкой "Распорядитель", до этого задумчиво мерявшие пространство шагами. С поросычьим визгом разбегаются накрашенные западные туристки, обтянутые розовыми панталонами. А Лазарь, запеленутый в саван, выходит нам навстречу. Ах, Господи! Ведь ты должен простить нас, тварей, ползающих по этой провинциальной вонючей планете.

И тут я опомнился. О ужас! Светопреставление! Тридцать минут в соборе! Переработался, недохалтурил! До чего дошел, до чего докатился! Как сказал бы Владимир Ильич: "Странно и чудовищно". И к Машке на свидание зверски опаздываю. Я пулей лечу к выходу и молю Бога только о том, чтобы экскурсанты не спросили меня об иконах Грека и Рублева, украшающих иконостас. Я стараюсь не смотреть на иконы, дабы не провоцировать любознательность клиентов, я несусь вперед. "Граждане, за мной, прошу не отставать!" Вот он, спасительный выход! Но в последний момент кто-то дергает меня за плечо. "Товарищ экскурсовод, а это что такое?" Чья-то рука тычет пальцем вверх. Я смотрю сначала на палец, а затем на купол. Там, из зыбкого сумрака, обрамленный нимбом золотистотарийских волос, грозно смотрит на меня расширенными, не знающими жалости зрачками еврейский Саваоф. "Это? Это Бог. И вообще прошу не отставать и двигаться к выходу".

С этими словами я ныряю в обжигающий морозный воздух. А из темной глубины собора вслед за нами доносится неслышным напутствием:

"...и зацветет миндаль; и отягчает кузнечик; и пропадет желание: тогда отходит человек в вечный Дом свой, и тянутся по улицам плачущие.

Пока не порвалась серебряная цепочка, и не разломалась золотая лампада, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо в колодезь.

И обратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, Который дал его..."

Когда уже темно, пойдите прогуляться по городу. Пойдите на какую-нибудь улицу и найдите там маленький подвальчик. Это нетрудно. Загляните в окно. Вы увидите три столика, не больше, два из них будут пусты, а возле третьего вы увидите пару людей. Одеты они небрежно, во что попало, потому что они вышли прогуляться по темной безлюдной улице, совсем как вы, но встретились где-то на углу и зашли посидеть, вместе выпить немного пива перед сном. Один из них сидит, вытянув ноги вдоль стола, чуть не до середины зала, и как раз подносит ко рту высокую пивную кружечку, держа в той же руке между двумя длинными пальцами сигарету, от которой пошла вверх слегка изогнутая струя плотного дыма. Другой почти лег на стол, наклонился вперед, вытянул шею, забыл про свое пиво, странно изогнул-вывернул пальцы. Он лохмат в настоящую минуту, кожа на высоком лбу сложилась резкими складками, глаза горят. Он рассказывает.

О. Кустарев

Он рассказывает, рассказывает — а что? Так, что-нибудь такое, скорее всего что-то из жизни. Все люди одинаковы: им мало пережить, им еще надо рассказать. Жизнь тянется к слову, как к жизни.

ТРИ СНОВИДЕНИЯ

Но не у всех народов дело обстоит буквально так. Американский антрополог нашел-таки племя, которое живет тем, что рассказывает свои сны. Чудо, как интересно! Судите сами: ни музыки, ни живописи, ни литературы, ни кино этот народ — не знает. Скажете, что у него нет духовной жизни? Спросите, как же так?

Да вот так. Духовная жизнь одного маленького индейского племени состоит исключительно из сновидений. У них там все умеют смотреть сны. Вероятно, они достигли в этом деле определенной виртуозности. Посмотрев сон, человек рассказывает его другому. Другой третьему. И так по кругу. Иной раз они собираются все вместе и рассказывают по очереди. Так вот и идет помаленьку. Ночь за ночью, день за днем. Культура сна.

Антрополог сообщает подробности. Например, в этой культуре сна за долгие годы ее существования отработалась традиция, канон, стабильная символика, что ли. Например, если кто увидел во сне белого человека, то это не к добру. Белый человек, пришедший во сне, символ зла. Так они между собой (отчасти молчаливо) договорились.

Может быть, несправедливо по отношению к нам, белым, прости нас, Господи. Вспомним тех двух людей, которых мы невзначай подсмотрели в окно. Чем уж так плохи эти два рабочих человека, один из которых так самозабвенно рассказывает, а другой так достойно слушает? Тихие мирные культурные люди. Не вяжется это как-то со злом.

Должно быть, носители культуры сна видели вживе кого-то другого. Или им кто-то сообщил неправду. Или они просто ничего о нас не знают. Или белый цвет просто неприятен им, как таковой. Возможно, это как-то связано с Атлантидой. Или, что самое интригующее, в их снах именно белые что-то такое творят, какую-нибудь мерзость.

Необыкновенно интересно. Что и говорить, американский антрополог преподнес не плохую историю. Есть о чем подумать, три года можно думать — всего не передумаешь. Но мне тут самым интересным показалось то, что им всем, раз за разом, постоянно неизменно снятся белые люди. Такой, понимаете, что называется, штамп. Говорю “штамп” не без некоторых колебаний. Все-таки сон — не газета.

Но так или иначе, факт налицо: образ белого человека навис над сознанием этих людей, представителей редкостной культуры сна. Они озабочены белым человеком, все время о нем думают,

он не идет у них с ума, он поселился в их сновидениях, и с ним слились многие другие картины. Их духовная жизнь как бы отягощена присутствием чуждого человека. Они все время про него думают.

Когда я это понял, мысль моя заработала. Хорошо, подумал я, у других народов сон не главное в духовной жизни, никак не главное. Материалы для своих баек они черпают из жизни. Но нельзя же сказать, что они вовсе не видят снов. Еще как видят. Под грудой бесконечных разговоров о жизни это не очень заметно. Сны рассказываются редко. Но если специально попросить рассказать? Что выйдет?

Например, что если спросить у наших, снятся ли (снилась ли) им заграница? И если да снилась?

Сам я это сделать не мог. Во-первых, мне они, как своему, ни за что свои сны честно не расскажут. Будут уверять, что им снятся, например, исключительно одни двухтомники и трехтомники, Мандельштам или КГБ. На худой конец загнут, что им каждый день голые бабы во сне являются — агрессивно пошутят. Во-вторых, они знают, что я спрашивать никем не уполномочен, а они очень любят уполномоченных. В-третьих, им никакой чести нет со мной лясы про свои сновидения точить, потому что я опять же свой.

Поэтому я обратился к одному американскому антропологу (не тому, что племя открыл, а другому), сказав ему следующее: “Наша ментальность, друг, сублимируется в наших сновидениях, создавая в них, друг, символическую структуру, в которой, е-мое, превалируют немногочисленные доминанты. Как насчет декодировать эти тексты, друг? Не хочешь попробовать?”... И я продолжал: “Я тебе укажу, кого спрашивать, а ты, друг, займись”.

Чего по дружбе не сделаешь. Друг помялся немного и согласился. Полученные результаты я и привожу здесь. Отбор материала сделан мною, как мне хотелось, на каком основании, не скажу. Но за то, что материал первосортный, ручаюсь. Конечно с литературной точки зрения, наверное, не все гладко, хотя я старался, как мог. Но многое от меня попросту не зависело. Нынешнее сырье такое заковыристое, что и Пушкин навряд ли справился бы. Год перерабатывай — не переработаешь. А у меня и года не было. Жизнь торопит, так устаешь, что самому во сне ничего и не снится. Приходится в кино ходить. По телевизору одну дрянь показывают. А чужие сны не греют. Все ж таки у нас другая культура. Наши

люди снов ни видеть, ни рассказывать, ни слушать как следует не умеют.

Однако затею свою не считаю совсем уж бессмысленной. Иногда, знаете, человека надо умело подтолкнуть, и обнаруживаются, хотя и со скрипом, новые горизонты. Из десяти опрошенных девять сказали, что — да, заграница им снилась хотя бы раз, но в основном регулярно. На просьбу рассказать, в каком виде им снилась заграница, положительно откликнулись все десять. Тут маленькое расхождение, которое пока не удалось удовлетворительно объяснить. Почему этот “десятый” вдруг взял да передумал, черт его в самом деле знает. Или он сперва боялся, что это все провокация, а потом ему захотелось красиво поболтать и на людях выставиться: все, дескать, выставатся, а я нет? Или он забыл, что у него были сны про заграницу, а потом вспомнил. А возможно, он себе сны на ходу придумал, но в таком случае я его фантастику смело приравниваю к сну, на что есть все основания.

Ариадна Б. из Москвы (Нью-Йорк) : регулярно, до десяти раз в месяц, что ела на ночь, не помнит, незамужем, вступала ли* непосредственно перед этим — клянется, что не помнит, по суду не преследовалась, закончила аспирантуру по специальности физика полимеров, диссертация была написана, но не защищена по причинам, тыр-пыр, “весьма далеким от чистой науки”, здесь устроилась отлично, до переезда в Нью-Йорк жила с мамой, тетей и сестрой в двухкомнатной квартире, “кухня была очень маленькая, не повернуться”. Повторяемость сюжета очень высокая.

Выхожу, — сообщает Ариадна, — из своего дома, поворачиваю за угол и вижу впереди длинная-длинная улица, только без домов. Потом оказывается, что еду я на таком, знаете, транспортере, а с правой стороны много-много дверей. Я хочу в одну дверь войти, перелезаю через перила и, когда вхожу в дверь, чувствую, что я стюардесса и мне в Ташкент лететь. Ну слава Богу, думаю, опять в Ташкент, мне там так нравится, а, между прочим, в Ташкенте никогда не бывала.

Прилетаю в Ташкент — тепло. Это — первое, что замечаю, кажется, за этим и летела, почему-то это так важно, так важно. Чувствую, ну все наконец-то, знаете, тепло, теперь всегда тепло будет,

* Я бы этот вопрос задавать не стал — ну их к Богу. Это все американец.

Боже, какое счастье, никогда отсюда не уеду. Вот прямо лягу на пол и не встану, хоть ногами бейте, хоть за волосы тащите.

Тут подходит Борис Семеныч, а я удивляюсь, как это он здесь оказался? Но я у него не спрашиваю, как он здесь оказался, потому что такое впечатление, что он здесь и должен быть. А Борис Семеныч выехал уже два года. Б. С. берет у меня чемодан, у меня в руках оказался такой, знаете, красный дипломат, никогда у меня такого не было, и Б. С. мне говорит, идемте, говорит, мне кажется, вы чемодан перепутали, надо пойти сдать в полицию, а там вам отдадут ваш.

Мы пошли в полицию, я вижу действительно, мать моя, это ж полиция. Я только недавно в каком-то кино видела. И я думаю: что я, за границу попала, что ли? А надо сказать, я еще тогда не думала уезжать, мама еще жива была и Степанов за мной ухаживал, все говорил, что жениться хочет, и диссертацию я тогда только что кончила, и мне многие тогда говорили, что все-таки, наверное, не мешает, что Б. С. был у меня руководителем, некоторые говорили, что даже, может, это лучше, хотя откуда они такое взяли, я сейчас не понимаю, ну, а тогда я надеялась...

Да, значит, чувствую, что я за границей. Ну, думаю, мать моя, как хорошо, что ж теперь делать-то? Я ж языка не знаю. И, главное, тут же Б. С., он уж там два года, но я как-то забыла, все мне помнится почему-то, что он в Ташкенте, как во сне сперва и было, я ж во сне в Ташкент полетела, но тут у меня все в голове перепуталось.

Пришли мы в полицию, сдали красный дипломат и ушли. Идем дальше, но я замечаю, что Б. С. уже не Б. С., а один мой знакомый шалопай, с которым я десять лет назад, ну да ладно, вы его все равно не знаете. И так мне сразу хорошо стало, с ума сойти, как я обрадовалась, а чему обрадовалась, и сама не знаю. Ну, думаю, наконец-то я его опять встретила, и что смешно, хоть бы раз наяву я о нем пожалела, да я после него... Ладно, однако, во сне все иначе, и я потом, когда проснулась, сразу подумала — это потому, что все как бы за границей произошло. Главное — было там так тепло, так тепло, что, вы знаете, прямо голова кружилась, никогда не думала, что от тепла так может быть человеку хорошо. И ведь квартира у нас, знаете, не холодная была, нет, не холодная, уж что нет так нет.

Идем мы дальше, но никак не можем на улицу выйти. То ли коридор, то ли комната такая длинная. Но я постепенно замечаю,

что стены мягкие, потолок мягкий, и даже пол мягкий, ступаем по этому полу, а он пружинит, как диван. И мы приходим в какую-то круглую комнату, там вдоль стены какой-то канат, а с него лампочки свисают. Лампочки слегка качаются и мигают, как на елке. Мы с моим шалопаем сперва обниматься начинаем и дальше-дальше, и я думаю, как хорошо, когда тепло и мягко и, главное, в полной изоляции, никто не видит, не слышит. Вот это, думаю, да, вот это за граница. А потом мы идем дальше и опять приходим в комнату, совершенно такую же, только поменьше, и опять у меня такое же впечатление: как замечательно, что никто не видит, не слышит, полная изоляция. Я уж не помню, сколько комнат мы прошли, последняя была очень большая, и мой шалопай, знаете, куда-то по дороге исчез, был и нету, но я как бы чувствую, что он все равно здесь, Бориса Семеныча зачем-то опять вспомнила, но, главное, не перестаю помнить, что в полной изоляции, в абсолютной. Так тихо, так тепло и все такое мягкое. Проснулась и думаю: где же это я во сне побывала? Не сразу вспомнила. Но потом как осенило: да это ж я за границу ездила.

И я точно знаю, что это со мной не один раз было. Одно время мне вообще казалось, что этот сон мне все время снится будет. Так я его крепко запомнила, что, наверное, во сне потом часто вспоминала. А наяву-то и подавно. После первого раза я три дня ходила и сама себе этот сон рассказывала. Даже странно, как можно так сильно переживать то, чего не было?

И еще интересно то, что когда-то (не помню когда) я этот сон забыла, то есть совсем забыла, то есть я забыла, что был такой сон. И вдруг вспомнила, когда первый раз решила выезжать. А когда отпустили, опять забыла, ей-Богу. А когда тут устроилась, опять вспомнила.

На вопрос антрополога, не снится ли ей этот сон теперь, Ариадна ответила, что не может сказать точно. Она много работает, спит крепко. Вспоминать — вспоминает, но это наяву, а видит ли во сне — сама не знает...

Яша Ш. из Одессы (где теперь живет, просил не сообщать) на ночь не пил, ел немного и две бутылки пива, насчет сношений высказался неопределенным жестом, жена и двое детей, там работал судомехаником, здесь работает по специальности.

Яша говорит, что во сне бывал за границей десять тысяч раз. Иногда, говорит Яша, проснусь, вспомню сон и стараюсь обратно

заснуть, и когда засыпаю, то опять за граница снится. Яша и сейчас часто во сне ездит за границу.

Но Яша говорит, что трудно ему рассказать конкретно, что снится. Всякая дребедень и каждый раз что-нибудь разное. Например, иду в магазин. Собрался на рыбалку, а сын куда-то рыболовные крючки задевал. Надо новые покупать. Значит, иду в магазин, а там страшный хвост. Но я в хвост не становлюсь, а начинаю плыть вдоль хвоста. Именно что не идти, а плыть. Я точно чувствую, что плыву, вокруг все мягко и под ногами земли не чувствуется. Доплываю до прилавка и говорю, что мне крючки надо. И очередь ничего: не орет и меня не пихает. Тогда я понимаю, что я за границей. Странно это мне кажется. Шел по своей улице, в свой гастроном зашел, вроде бы все свое и в очереди знакомые кореша стоят, но только я точно чувствую, что это за граница. Потому что есть несоответствие. Я же за крючками пошел. Почему же я в гастроном пошел? Не соответствует.

Продавец мне выдает черт-те что. Колбасу, масло, майонез. Полную сумку набрал. Состояние — отличное, все внутри поет. Меня так слегка покачивает, как на волнах. Вы купались в Черном море? Нет? эх, жаль, честно жаль. Бывало, отплывешь метров сто от пляжа, перевернешься на спину и лежишь. Солнышко греет, волна, чувствуешь, идет и покачивает. Так же и когда за граница снится. Век бы лежал и не просыпался. Плыву с сумкой обратно вдоль очереди, всем крючки раздаю. Уже никого знакомых в очереди нет: одни иностранцы. Все берут, смеются, один какой-то себе крючок зачем-то в ладонку вонзил. Мне больно стало, и я просыпаюсь.

Или еще было. Вроде как бы прихожу с работы домой. Правда, почему-то не с той стороны. Но остальное, как обычно. А в саду полно народу. У меня свой дом был, вот он мне и снится. И все точно как в жизни. И кореша все знакомые. Я с ними хожу, здороваюсь, обнимаюсь, все ребята здесь! Некоторые даже по два раза. То есть, например, я с Воробейченко поздоровался, пошел дальше, ну там Женя Шапиро, дальше Китаев, Соня тут же, а потом опять Воробейченко. Я же, думаю, с тобой только что поздоровался. Оглядываюсь, а тот Воробейченко, с которым я уже здоровался, стоит, где стоял. А тот, который теперь тут стоит, тоже стоит и рот разинул, смеется. Ну, думаю, это очень хорошо, раз уж так получается. Воробейченко хороший друг, нехай будет два Воробейченко. И с некоторыми другими так же происходило. И тогда

я опять чувствую — за граница! Мать моя, чувствую, я же за границу попал.

А в другой раз иначе приснилось. Иду по улице. Мы жили далеко на краю, и тротуара у нас уже не было. Посреди улицы дорога, потом канава, а потом вдоль заборов тропиночка. Иду по тропиночке, а тропиночка вдоль канавы идет, и вдруг канава поперек. Я, недолго думая, в канаву спускаюсь, а канава глубокая-глубокая. Но я даже и не удивляюсь вовсе, а иду прямо по канаве, за стенку рукой держусь, как по коридору, только потолка нет. Голову подымаю — небо вижу. Иду-иду, плыву-плыву. Опять плыву. Голова только маленько кружится, но плыть легко, словно даже не плывешь, а летишь по воздуху. Потом канава кончилась и пошли горы. Подымаюсь в гору, за ней другая. Перелетаю на другую, там еще одна. Уже не помню сколько. Потом вдруг опять иду по склону, какие-то камни обхожу. За одним вижу — рыба лежит. И огромный хвост за рыбой. Но я опять в хвост не становлюсь, а прямо тяну лапы к рыбе. И хвост не протестует, не шумит. Я беру рыбу и обратно вдоль хвоста и всем даю рыбу потрогать. Все трогают, все радуются и смеются. А Воробейченко, нет, вру, Воробейченко тогда не было, я не помню, кто там был, но только точно известно, что знакомый, очень знакомый, ну как будто это я сам и есть, рыбу берет и в воздух бросает. И рыба по воздуху летит. Я за ней снизу наблюдаю и вижу — огромный, ну просто огромный дом стоит. И еще один огромный стоит. Это, значит: что мне раньше горы казалось — на самом деле дома. Значит, думаю, это Нью-Йорк...

Аркадий С-ский, где жил раньше, просил не публиковать (Филадельфия), на ночь обычно ест много, потому что днем не успевает, перед сном спиртного не пьет, вообще не пьет, и вообще ничем перед сном не занимается, но телевизор смотрит около часа; там преподавал русскую литературу и английский язык в техникуме, здесь работает в картинной галерее, продает картины.

Аркадий убежден, что часто видел во сне за границу только потому, что очень хотел эмигрировать и все время думал об этом днем. А по ночам спал плохо. Снилось ему примерно следующее. Смотрю, рассказывает Аркадий, из окна. Я жил на двенадцатом этаже, так что далеко было видно. Смотрю из окна и вижу перед собой ровное пространство, залитое солнцем, словно как бы сусалом покрытое: все блестит, ну, скажем, как палехские картинки. Очень четкие контуры. Как в объемном кино. Знаете, объем чувств-

вуется лучше, чем в жизни. Словно бы вижу все вещи сразу со всех сторон. И знаете — такое ощущение полного геометрического порядка. Нечто, говорит, близкое к совершенству.

Смотрю, смотрю, смотрю, вижу далеко человек идет, ближе, ближе. Тут оказывается, что это я иду. Но картину перед собой опять ту же вижу. Хотя и не с двенадцатого этажа, но фактура та же. Только проекция другая. По обеим сторонам такие пологие склоны. И трава на них зеленая-зеленая, как лакированная, даже глазам больно. Я иду по дороге, хорошая дорога, грунтовая, правда, но такая крепкая, сухая, почти что не езданая. А с другой стороны по этой дороге кто-то еще идет. В целом похоже на Шагала, я бы сказал (он бы сказал). Этот другой идет впереди меня, а я, наверное, его догоняю. И он все ближе, ближе и больше, больше. И тут оказывается, что это я иду. Теперь вокруг какие-то фруктовые деревья с фруктами на ветках, а за ними холм, и на холме замок с контрфорсами и круглыми башенками. Бежевого цвета. Ясно — Румыния. И я удивляюсь, как это меня выпустили в Румынию. В то же время я чувствую, что все так и должно быть.

Я хочу с дерева фрукт сорвать, я специально для этого к дереву иду, но когда до дерева дохожу, то иду мимо. Тут что-то фрейдистское, сами понимаете, шучу, шучу, шучу, нет, серьезно, а вы-то что думаете, есть? да? нет? черт его знает, все не так просто...

Стало быть, хм, я иду мимо. Однако в конце концов оказывается, что я ем яблоко. Когда я прошел через сад, то иду вдоль кирпичной стены и думаю, что вот этой дорогой я дойду до Новгорода, а там и дом близко.

Вот что рассказали наши товарищи. В общем, пожалуй, ничего особенного, а все-таки интересно.

СТИХИ

Где-то плачет в подъезде
Боясь и назвать и проститься
Дорогая душа
Нам пора голодать и поститься
А не плакать и петь в этом яром и бедном пиру
Все в плену. Эти сосны в плену эти горькие клинья
Все в плену эти ветви в плену эти нити в плену...

Стихи Кари Унксовой вырвались из плена. Недавно в Израиле вышла книга, о которой поэтесса при жизни так мечтала. Стихи ее почти не печатались. Изредка появлялось в 74—76 гг. в советской периодике кое-что из ранних вещей.

О Кари было много написано за последние годы на страницах русскоязычных газет Европы и Америки. Газеты рассказывали об ее активном участии в неконформистской культурной жизни Москвы и Ленинграда, о женском движении в журнале "Женщины и Россия", одним из организаторов которого она являлась, о преследованиях, которым подвергал КГБ не только ее, но и ее несовершеннолетнюю дочь, о странных грабежах, когда из дома исчезали только рукописи и фотографии, о том, как она, чтобы избежать ареста, скиталась по городам и весям России вместе со своим маленьким сыном, и, наконец, об автомобильной катастрофе 3 июня 1983 года и последовавшей на следующий день смерти...

Власти предполагали выдворить ее из страны вместе со всей семьей, были получены визы. Но за две недели до отъезда планы изменились...

Прошло два года со дня смерти поэтессы. Собраны стихи, бродившие в рукописях по двум континентам, получены из России вещи последних лет. Вышла книга, первая книга Поэта, которая, друзья Кари верят, станет событием в русской литературной жизни.

Прощаешься.
И волчий твой досуг
Проходит снова этот долгий отзвук
Разбой кустов. Неповторимый остров
И ласточки мгновенный полукруг.

Прощаешься.
Ну что ж. Повремени
Пожалуй. Не спеши. Пожалуй поздно

Пожалуй наплевать на эти сосны
На звук протяжный, редкие огни

Пожалуй и не стоит воевать
Судьбе пустой бросать без эха вызов
сквозь мокрые кусты продраться низом
Чтобы к истокам замкнутым припасть

Высокий ангел не дудит в трубу
И леший не берет пустую дудку
Русалки в вечеряющем пруду
Испытывают медленную муку

Но это все невнятно. Полуплен
Не веселит в пыли никак подкова
У Покрова не вымолить покрова
Бегут ромашки под трухлявый пенъ

И день нейдет. И ночь не спишь без сна
И острый месяц глядь — уже ущербен
Трава не прет из каменных расщелин
И ветер не разносит семена

Все собралось в немислимый клубок
А он покатит может быть дорогой
Путем неправедным и совестью нестрогой
Печеры. День. Монашеский клубук.

1980

* * *

Изба, где ворон складывает крылья
Поток где вдруг сместились две струи
И ты кто остановишь дни мои
В единый ствол в последнее усилие
Ездок кто запоздалый без огня
Един кто отвечает мне сегодня

Мешок что отложили для меня
Убивец кто спускается по сходням
Поток где неизменны две струи
Та ветвь где ворон складывает ношу
Венок который оборву и брошу
И Ты Кто Остановишь дни мои.

* * *

Не состоялся — скажут
Не состоялся — встретят
Ах как он был прекрасен
А он живет еще
А он еще прекрасен
Но он уже не властен
Но он еще не вечер
Он подождет еще
Вот облака над лесом
Проходит бык над пашней
Потом идет все стадо
Вечерних облаков
А он еще не вечер
Но он уже не вечен
Тяжелым летом ворон
Ему задел лицо
Оно светилось будто
Он перешел пороги
Он повернул все стадо
Или пошел за ним
Пустая флейта свистнет
Откроет лес чертоги
И нам теперь не надо
Уже идти за ним.

СТИХИ

Вы возвратитесь в сиянный город,
Чей листопад хранит напевность строк.
Судьбы однообразны приговоры,
И неизменен неизбежный рок.

Нет ничего безмернее прощаний,
И нету неосознанней минут,
Когда между пленившими вещами
Носильщики-разлуки заснуют.

Спустя века, в надвременных долинах
Я отыщу вас, трону за плечо...
Как будет не хватать тогда земли нам,
Той тверди, где дыханье горячо!..

* * *

Прозрачный лес раскинул сети,
Пролился свет из-за кулис...
Мы все уже склонялись к Лете.
Мы все еще не родились.

Черед мгновений не допущен
К священной Книге Истин. В ней —
Воспоминанья дней грядущих
И предсказанья прошлых дней.

И я тебя давно забыла,
И я не ведала пока,
Какая колдовская сила
В твоих скрывается зрачках.

На занимавшемся рассвете
Заката капли пролились.
Мы все уже склонялись к Лете.
Мы все еще не родились...

* * *

Закат, исполненный значенья,
И заговорщики-поля...
Внимает чьим-то изреченьям
Завороженная земля.

Оттуда, из-за голубого
С багровым краем полотна
Ей слышно истинное слово,
Ей суть Истории видна.

Гармония сквозь небо рвется,
Не замечая род людской,
В степи притихшей у колодца,
Обуреваемый тоской...

Юрмала. Лето 1984 г.

Где синева, зародясь в небосклоне,
Брызгами падает детям в ладони,
Где разрывается фронт ветровой,
Сосен стволы натянув тетивой,
Где наливаются тучи литые,
Где зарождаются клубы седые,
В ломкие стены строится мгла —
Белая пена к берегу шла.

К Шмулику, Арику, Ицику, Оре —
Белая пена — по небу, по морю,
Синее в белом, на белое — синь,
От побережий, где стынет хамсин.
Парус из моря — как знамя колена...

Белая пена! Белая пена!
Эти ладошки омой и согрей
Те берега недоступных морей!

Там, за грозой, за заката чертою —
Мамины свечи, вино золотое,
Теплое море и ласковый кров,
Белая пена тревог и ветров.
Не отвращайте от брызг этих лиц вы! —
Сколько подарков на ваши бар-мишвы,
Присланных с тех побережий вещей:
Сколько песчинок! — и сколько лучей!

У барда пышные ресницы,
И о прошедшей сквозь века
И о несбывшейся царице, —
Ах! — неизбежная тоска...

Клавиатура мокрых кровель
Певуча по ночам вдвойне,
Склоненный над гитарой профиль
Внимает плачущей луне.

Его напевы непечальны,
Его подружки горячи,
Каких же дум необычайных
Он причащается в ночи?

А сон беззвездней и безвестней,
Чем зачарованная мгла.
Усни! Она исчезла в песнях,
В созвучья чудные ушла...

ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ

От автора

*1985 год объявлен годом
Маймонида (Постановление
ЮНЕСКО).*

Моше бен-Маймон, называемый также Аму Амрам ибн Абд-Алла, называемый также Маймонид или Рамбам, прозванный христианами "Орлом синагоги", родился в Кордове в 1135 году и умер в Каире в 1204 году. Его произведения пережили автора более, чем на полтысячелетие. Идеи его живут и сейчас в сознании многих людей, даже если многое из его медицины, теологии, философии забыто. Его "Наставник колеблющихся" постоянно переиздается на многих языках; другие работы публикуются в Швейцарии, в Германии, в Соединенных Штатах; полное собрание сочинений издается в Иерусалиме. Список посвященных ему монографий все удлиняется, хотя и с неравными интервалами. Его влияние на развитие идей было решающим в течение восьми столетий. Оно сказалось на Фоме Аквинском, Бэконе, Декарте, Лейбнице, Спинозе, Канте. Каждый из них с благодарностью признавал это. Его усилиями греческая философия и наука неслышными шагами пришли в Европу еще до того, как деятели эпохи Возрождения догадались черпать непосредственно из тех же источников. Это был человек высокого полета, согласимся с этим. Но значит ли это, что о нем нельзя писать? В той мере, в какой он утверждает свое присутствие сегодня, не является ли он достоинством каждого? То, что существовало, может существовать еще раз, достаточно вернуть ему существование. Мы не из тех, кто проповедует, что история повторяется и потому из нее необходимо извлекать уроки. Но мы считаем, что история строится по ограниченному числу схем (структур на современном жаргоне), которые образуют постоянные для человечества силовые линии; их рисунок можно иногда распутать, и их стоит воссоздать для лучшего понимания, кто мы.

И потом – современность идет за нами по пятам: аналогии возникают там, где их меньше всего ожидаешь. Уже доказано, что можно понять любую ситуацию с помощью другой ситуации; именно такая попытка осуществляется здесь еще раз. Речь идет не о том, чтобы оставить события, даты и места действия там, где их поместила неточная документация, приблизительная

хронология и неопределенная топография. Нужно было, напротив, расположить их по воле фальсификатора, чтобы придать им новую силу сцепления. Конечно, общее направление, главные линии перемещений, отношения между реальными лицами, скрытые и явные конфликты были сохранены в той мере, в какой они бесспорны; были также использованы "мелкие истинные факты", заботливо выверенные ссылками на литературу" (Монтерлан). Но когда близко знакомишься с историографами (не путать с историками), они, в конце концов, представляются не очень серьезными людьми: они либо переписывают все друг у друга, либо злобно друг другу противоречат. Приходится возвращаться к Ренану и выводить истину "из себя". Следствием этого, конечно, будут возражения эрудитов, экзегетов, философов, теологов и всякого рода других специалистов. Но это уже их проблемы, а не наши. Здесь, в этой книге, предполагаемая правда истории уступает место незабываемой правде этой истории.

*Фустат на Ниле, 4960 год**

Я, Моше Испанец, изгнанный из Иерусалима, старший сын почившего в мире судьи Маймона, на шестьдесят пятом году жизни излагаю здесь свои недостойные мысли; достойные, и ты это знаешь, были высказаны в многочисленных письмах и книгах, которые и доньше расходятся вокруг нашего большого внутреннего моря, от Багдада до Нарбонны, и за его пределами, вплоть до Трира и Кобленца на берегах Мозеля и Рейна. Повсюду, куда бы ты ни пошел, к восходу или закату, частичка меня будет предшествовать тебе, и достаточно отрекомендоваться моим именем, чтобы — по-дружески или с осторожностью — перед тобой открылись все двери.

Ты достаточно знаешь меня, чтобы согласиться, что я не кичусь этим. Такого рода кочующая слава никак не может дать мне настоящего удовлетворения. Если вдуматься, можно насчитать десять искренних хулителей на одного притворно восхваляющего, и я давно научился не доверять им, так что ни тем, ни другим не удавалось испортить мне настроение. Я продолжал делиться своими познаниями не как богач, бросающий милостыню, а как бедняк, отдающий половину ломтя хлеба и часть своей одежды, не надеясь ничего получить взамен, разве что немного больше света на дорогах мира. Моя единственная заслуга состоит в том, что я не стоял на пути у глупцов. И сегодня, когда я в плену у старости и когда

* 1200 г. н.э.

смерть бродит вокруг меня, я ближе к мраку, чем к свету, заблуждающийся среди заблуждающихся, невежда среди невежд, глупец среди глупцов и более чем когда-либо одинокий.

Чему могут послужить все мои знания, освоенные, накопленные, отданные на потребу? Тому, чтобы я считал себя мудрее других? Тому, чтобы я думал, что я ближе других к разгадкам тайны вселенной и мурлыкал от удовольствия, как кот, трущийся сейчас у моих ног? Тому, чтобы я добросовестно заблуждался, но не заблуждался полностью, поскольку я пришел к пониманию своего поражения?

Я думал, что собираю и раздаю золото, оказалось — это песок. Я хотел обуздать свою гордость, а дал ей волю. Я стремился переделать жизнь, а моя жизнь уходит. Значит ли это, что пришло время вкусить глубокую горечь?

Тебя, кто был моим учеником и стал моим учителем, тебя в твоём далеком диком Провансе я заклинаю укрыть в самой глубине твоего сердца и в самых потаенных местах твоего дома те откровения, которые я здесь выскажу. Да останешься ты в этом случае моим единственным наперсником. Пусть никогда не упадет на эту рукопись равнодушный взгляд. Лучше сожги ее, но не подвергай такому позору. Нет такого высказывания, которое не было бы подобно идолу, прозванному варварами-латинянами Янусом, так что его нельзя было бы истолковать превратно. Если мои достойные мысли создали мне так много врагов, к чему могут привести эти, которые я никогда не осмеливался высказать открыто? Эти недостойные мысли преследуют меня, неуловимые, как тень, хотя я упорно старался держать их вдалеке. Но они так навязчивы, что кажется, будто я силой притягиваю их, и с течением времени мне становится все яснее, что без них мои рассуждения не будут полными. В священной книге сказано, что мы должны служить истине всем самым лучшим и всем самым худшим в нас, а я следовал этому только наполовину. Какую ценность имела бы уверенность в истине, если бы она не была сдобрена сомнением?

С того дня моего детства, когда я осознал себя отличным от других, через тысячи превратностей судьбы, которым не удалось сломить меня, и до этого позднего часа, когда я пишу тебе, а усталые от свечи глаза мои слезятся, во мне жила только одна страсть: искать истину, не как исчезающий и неуловимый предмет, а как состояние, которое достигается только благодаря настойчивости, терпению и смирению. Как мог, я старался защититься от всего,

что отвлекало меня от этого. Скажу ли я, что достиг цели? И да, и нет. Я не плутовал, но и не так много выиграл. По мере того, как мой разум обогащался, моя цель представлялась мне все более и более неопределенной, она удалялась, как горизонт на равнине, как ветер на море. Я не был бы человеком, если бы я не обманывался при этом, если бы, сам того не желая, не обманывал тех, кто ждал от меня сокровенного слова. Поскольку я считался ученым, было очевидно, что я должен обладать знаниями и раздавать их. Так я построил свою хижину в обитаемом мире, открытую всем, кто хотел приблизиться ко мне. Посетителей было много, но хижина оставалась пустой, она оказалась бесконечно велика для всегда предшествующего мне и идущего вслед за мной строгого пылкого юноши, сжигаемого своим рвением.

Впрочем, не совсем пустой. Может быть, потому, что я считаю тебя исключительным, я делаю исключение для тебя. Когда ты прибыл в Египет, чтобы посещать мои уроки, твоя необыкновенная любознательность к естественным наукам, легкость, с которой ты постигал еврейскую и арабскую литературы, изящество твоих философских построений сразу выделили тебя в моих глазах. Первое время я упрекал себя за слишком быстро возникшую симпатию, ведь поводов для сдержанности было достаточно. Ты был легкомысленным, беззаботным путаником. Ты жаждал всего, сразу, без выбора. В твоём поведении и в твоих речах постоянно присутствовала неуловимая насмешка, что раздражало меня. Ты не был рожден в вере моих отцов, ты был из той расы, которая всегда преследовала нас и проливала нашу кровь. Но у тебя был прямой и гибкий стан, уверенный голос, чистые глаза. Но ты читал на латыни и по-гречески, как никто и никогда не умел среди окружающих, и мне было трудно сопровождать тебя на этом пути. Но ты был открыт нашему закону, как никакой другой чужестранец, и я был вынужден отказаться от своей настороженности, чтобы успеть отвечать на твои вопросы. До тебя у меня было много учеников, похожих друг на друга, ты не был похож ни на кого. Когда тебя не было рядом, я давал себе слово быть сдержанным; как только ты появлялся, мои сомнения рассеивались. Если бы в моей власти было создать сына по своему идеалу, я хотел бы, чтобы он был подобен тебе; ведь верно, что каждый мужчина, достигший зрелости, испытывает своеобразный соблазн избирательного отцовства. Ты знаешь, что провидение впоследствии послало мне сына моей крови, моего семени, но его годы идут слиш-

ком медленно, а мои — слишком быстро; он еще мальчик, и мои желания пока остаются неудовлетворенными.

Те три года, что ты прожил рядом со мной, многому научили нас обоих. Мой ум, медленный и методичный, твой — быстрый и вдохновенный, представляли собой редкую гармонию. После того, как ты изучил геометрию и логику, астрономию и физику, мы пришли самым кратчайшим путем к ознакомлению с сущностью прорицаний и к медицине. Постепенно я стал замышлять и развивать по отношению к тебе большие планы, основанные на больших надеждах. Не один раз я взвешивал твои достоинства и недостатки, и всегда чаши весов приходили в равновесие. Ясность ума и гордыня, рвение и нескромность наилучшим образом уживались в тебе. В любом деле ты был склонен к крайностям, и то, что оттолкнуло бы меня от другого, неудержимо притягивало меня к тебе. Меня, чьей философией всегда была золотая середина. Истина в том, что не следует мерить всех одним аршином. Твоя судьба рисовалась необычайной. Вернувшись в свои края, столь бедные образованными умами, ты выйдешь на первые места: в мыслях я видел тебя, по меньшей мере, епископом; может быть, даже папой, а для еврейских общин, безопасность которых по ту сторону Пиренеев столь сомнительна, далеко небезразлично, чтобы папой стал человек такой души и такого ума, как ты.

В какой-то мере мои планы относительно твоего будущего носили политический характер, к чему отрицать? Ты ведь уже тогда разъяснил мне, насколько сильна в твоей стране тяга к другой культуре, а не к войнам. Ты дал мне понять, насколько жива у вас память о таком человеке как Абельяр, по пути которого ты хотел идти, но с большей решимостью, основанной на опыте, а главное — с меньшей наивностью и без бахвальства. Со своей стороны, я считаю, что сделать людей лучше может только знание, а не слепая вера, как указывают ваши ученые, и именно этим объясняется, что мой народ, призвание которого — знать, не имеет равных себе в мире. Ты согласился с этим, в простых и ясных словах, когда поделился со мной своим убеждением, что мир многое утратил из-за непризнания и искажения откровений иудаизма. В тот день мне захотелось прижать тебя к сердцу: но разве можно заключать в объятия будущего папу? Я ушел и в одиночестве молился о твоей славе. Вероятно, я плохо молился.

В это время у наших ворот происходили значительные события. Свободная Сирия грубо ринулась к Нилу, но Багдадский халифат

выбил ее оттуда и всей своей мощью обрушился на Александрию и Каир. Были тысячи убитых, страшный голод, ужасающие эпидемии, я старался облегчить страдания и беды вокруг, и у меня было много хлопот. Ты постоянно был рядом со мной, пренебрегая опасностью и не боясь заразы; ты умножал вдвое силу моих рук, мой разум и мою печаль; иногда по вечерам, так же как и я, ты падал духом, сознавая наше бессилие. Ты был несравненно более раним — не потому, что я привык к ужасам, к такому нельзя привыкнуть, но из-за того, что возраст придавал мне силу, у тебя же не могло быть этого преимущества. Твоя природная веселость потускнела, но я не подозревал, что это необратимо. В глубине сознания я понимал, что этот пароксизм рано или поздно прекратится, — по крайней мере на какое-то время; может быть, ты не знал этого? Я был слишком занят и не обратил внимания на происходившие в тебе перемены. Но если бы даже я заметил их, мог ли я остановить их течение? Египет агонизировал. В прошлом он мог выстоять, ловко играя на вожделениях, которые сам же и возбуждал. Он вступал в заговоры с греками против крестоносцев, с крестоносцами против турок, с турками против фанатиков из Алеппо и с ними против всех остальных. Он заключал союзы и предавал их в ту самую минуту, когда они создавались. Теперь, ослабленный вековой нищетой народа, коррупцией, сластолюбием, бахвальством, терроризируемый изнутри ассасинами, а извне бесконечным соперничеством, он оцепенел от ужаса и с облегчением сдался на волю Салах-аль-Дина Юссуфа.

Мне еще придется говорить об этом человеке, который стал моим покровителем и другом. Но сейчас речь идет о твоём отъезде. Однажды утром ты предстал передо мной с дорожным мешком за плечами, глаза твои были полны слез, голос прерывался. С тебя довольно, говорил ты, ты больше не можешь переносить эту чудовищную жизнь, не можешь видеть попорченную невинность, все это отчаяние, эти бесплодные усилия, эту бездну мерзостей. Сердце у меня сжалось, я не задал тебе ни одного вопроса. Я был слишком поглощен горем, чтобы попытаться удержать тебя. Да и что мог бы я сказать тебе, чтобы опровергнуть твои доводы? Ты не принадлежишь к моему народу, тебя не воспитывали, как меня. Из поколения в поколение нас учат принимать, как неизбежное, обрушивающиеся на нас бедствия, но никогда, в самый разгар бурь, в самые черные ночи не давать угаснуть искре надежды. Более двенадцати веков мы ждем главной встречи, которой нельзя пропустить:

в будущем году в Иерусалиме; ты же ждешь встречи только с самим собой. Я внутренне согласился с тем, что ты уходишь из поля моего зрения; но не из моей жизни. Политические надежды, которые я связывал с тобой, рухнули, так как ты предпочел уединение; но я никогда не сожалел о них. Нашел ли ты мир и покой в горах, среди овец и коз? Я почти убежден в этом, и в некотором смысле я завидую тебе.

Да пребудешь ты во здравии.

Я мог бы здесь закончить эту книгу, хоть и задумал ее пространной. Основное уже сказано. Мне осталось только поведать тебе мои блуждания и заблуждения, неизбежное продвижение к поражению и к небытию. Это не так важно. "Какое имеет значение то, что имеет значение только для меня?" — как великолепно написал Аль-Мрхо, поэт из Кордовы; добавим еще другую мысль, которую я разделяю: "Жизнь ничего не стоит, но нет ничего в мире, что стоило бы жизни". Я знаю, ты не будешь столь несправедлив, чтобы предположить, будто я предпринял этот пересмотр своего прошлого с целью подчеркнуть ценность собственной жизни. Я пытаюсь увидеть того, о ком пишу, отраженным в зеркале твоей личности, и для этой высокой цели я нуждаюсь в твоём соучастии. Я знаю, чего мне стоило жить в этом мире. Я всегда расплачивался сполна и не роптал. Я знаю точную цену существованию. То, что я делал, берет начало не от снизошедшей на меня благодати и не от случайности: это было совершено по здравом размышлении, задумано в ясном уме полвека тому назад и продолжалось непрерывно вопреки превратностям. Я поставил себе целью ввести порядок в беспорядок, логику в хаос событий и идей, рациональность в путаницу слов. Другие, до меня, занимались этим; другие, после меня, посвятят этому усилия; это труд мужчины-хозяина, во всем схожий с трудом женщины-хозяйки: как только внимание ослабевает, собирается пыль, и ее нужно удалить.

В некоей мере мне помог наш хаотический век, которому так нужен был пророк и в котором рождались только философы. Этого мало, я согласен. Но все же нужно удовлетвориться и этим. Я был, я являюсь одним из них, не хуже и не лучше других. Я много читал, много размышлял, много написал. Именно это было самым высшим моим наслаждением. И если сегодня мои глаза слепнут, то не от новой истины, а от усталости; если моя память слабеет, то уже не под тяжестью явности, а от насыщенности. Мне остается, и это уже нельзя откладывать, упорядочить последнюю

загадку; самого себя, свою болезненную и астматическую личность, ядро той жизни, которая уже ничего не стоит, все то, что имеет значение только для меня и потому не имеет никакого значения. Я не найду покоя, пока не истрочу на это остаток своих сил.

В ближайшее новолуние некий марсельский купец отправляется с грузом шелка из Александрии. Он отвезет эти листки, исчерканные мною, Ибн Тиббону, а тот, не читая, доставит их тебе. Другие отрывки попадут к тебе подобными же путями. Существует риск, что из-за пиратства на море и разбоя на дорогах Прованса некоторые части книги могут пропасть. Эти опасения можно было бы умерить, приказав сделать копии, но искушение риска оказывается сильнее. К чему беспокоиться о пробелах в произведении, которое повествует о пробелах в жизни? За моей спиной расплывается время. Сама вселенная — это чередование пустот и заполненных пространств. Может ли претендовать на лучшее итог одной жизни? В прежние времена, когда я начинал какую-нибудь книгу, я горячо молился, чтобы мне было дано завершить ее. Эта книга закончена уже прежде, чем я начал писать ее, и мне не о чем просить, разве что о верности моей памяти.

Ты, конечно, заметил, что я ни разу не воззвал к Б-гу. Его час наступит. Все часы — Его.

* * *

В пору моих юных лет в Фесе состоялся очень серьезный диспут, на который съехались многочисленные ученые из всех известных стран. Мой отец участвовал в нем. Темой обсуждения было — назвать землю, наиболее благоприятную для расцвета человеческой личности. Спор был ожесточенным и длился много недель. Каждый ученый высказывал аргументы прежде всего в пользу своей страны, затем Греции, которая долго оставалась первой; но Персия, королевство Дамаска, Самария, берега Иордана, нижний Египет, Прованс и даже город Париж до конца сохраняли шансы. Вернувшись домой, отец красочными словами поведал общине о диспуте, потому что нам оказали честь: именно Андалусия вышла победительницей при последнем голосовании. Аль-Андалус, моя провинция, безупречная гармония природы и человека; и ее жемчужина — Кордова.

Я не утверждаю, что подобное решение является доказательством, и я очень скептически оцениваю полезность такого рода

споров. Хотя они и поныне в моде, я всегда отказывался присутствовать на них. Там только теряешь время и силы. Я не лучше отношусь и к съездам духовных лиц и политиков, которые намереваются улаживать судьбы народов, но лишь санкционируют уже сложившееся положение, если вообще не кончатся распрями и раздорами. Действительность постоянно дает нам печальные примеры тому. В конечном счете, я отдаю предпочтение философии: она позволяет ученым, съехавшимся издалека, лучше узнать друг друга и сопоставить свои знания. Так, мой отец завязал в Фесе знакомства, которым суждено было впоследствии спасти нам жизнь. Но сейчас речь идет о том, чтобы восславить мой город — Кордову.

Сегодня уже не знают, каким было счастьем, Божьей благодатью жить в нем. Я, родившийся там и насчитывающий десять поколений предков, захороненных в его земле, знал ли я это, пока не утратил навсегда? Для ребенка, каким я был тогда, эта благодать была чем-то само собой разумеющимся, как растущий у нас в патио цветок гибискуса, постоянно оживающий вновь и вновь, играющий переливами красок, как шелк утренней зари, с таким тонким запахом, что только пчелы могли оценить всю его опьяняющую силу. Нигде впоследствии я не встречал такого ароматного воздуха, такой вкусной воды, такого золотого неба, таких мягких теней. Прости меня за этот пафос. Он вполне соответствует тому предмету, воспоминание о котором погружает меня в лирическое настроение. Кордова, мой город, я любил и ненавидел его с той же страстью, с какой оплакиваю его из-за себя и из-за него... Кордову того периода нельзя описать, о ней нельзя рассказывать; ее нужно почувствовать, как почувствовал я, когда пробудились мои чувства; нужно погрузиться в нее, как погрузился я. Конечно, и сейчас есть там дома, и улицы, и люди, которые ходят по этим улицам, и так будет еще долго, но моей Кордовы больше нет и, может быть, никогда не будет, потому что Божью благодать с корнем вырвали фанатики. А благодать не возрождается из пепла.

Кордова, мой город. У меня были права на него, так же как у него на меня. Принято считать, что Кордову основали римляне. Я предлагаю лучшую версию: Кордову zaloжили мои далекие предки во времена первого вавилонского рассеяния, — так же, как они создали Толедо и Гранаду. Это они выбрали место в излучке реки; это они построили здесь первое поселение. Несколько семей, гонимых по дорогам античного мира, крестьяне, ремесленники, купцы, ученые, позволили себе здесь минуту отдыха, чтобы перевести

дыхание, и вот уже Иерусалим возродился на северном берегу Гвадалquivира, который как предполагают, назывался в ту эпоху Бетис.

Я вовсе не намерен увлекать тебя в дебри географии и истории. Я всего лишь хочу мысленно вернуться в город моего детства с целью осветить и понять мои родственные связи. Между новыми поселенцами и иберами, жившими вокруг, не было никаких столкновений; история, во всяком случае, не сохранила никаких следов этого. Кордова стала процветать, превратилась в крепость и открытый город. Земли южнее реки познали плуг и жатву; ремесленники обрели славу, которая привлекла торговцев; в городе пряли шерсть, обрабатывали медь и железо, собирали оливковое масло в кувшины и мед в бочки, а когда наступал вечер, все мужчины общины, молодые и старые, собирались в синагогу, как того требует закон. Это еще не был мой город, Кордова, но он уже зарождался. Неважно, что римляне превратили его в укрепленную крепость, что их гений властно запечатлелся в строительстве моста через реку и акведука, отводящего воду с гор к центру города. Знаешь ли ты, что Сенека — ритор и философ родом из нашего еврейского квартала-иудерии? Судьба начала свой путь; теперь ничто ее не остановит.

Мир был в то время, как сито, которое трясет чья-то гневная рука. Возникали империи, сроком на один век и на один день. Что-то зарождалось, но только для того, чтобы умереть, и никто еще не знал, что это. Иерусалим был разрушен, Афины забыты, Александрия повержена в прах, Исфаган превращен в легенду, эти города существовали лишь в ностальгических воспоминаниях небольшой кучки людей, беспочвенной мечтой которых было воссоздать город счастья. Кто мог предвидеть, что перст судьбы укажет на Кордову?

Сначала, когда арабы обрушились на полуостров, было великое смятение. Но как только они укрепились под защитой своих альказаров, их жестокость исчезла и проявилась традиционная утонченность. Они принесли с собой ту изысканность вкуса и ту изощренность духовных и плотских наслаждений, которые в прошлом столь много способствовали пышности Востока, вызывавшей зависть Европы. Когда пришел час моего рождения, в Кордове шел третий век мира и просвещения. В истории человечества нет равного примера успешного слияния трех культур, каждая из которых отдавала лучшее для общего возвышения. Особый дух города и

специфический дух трех народов, разительно несхожих между собой, без усилий способствовали рождению и сотворению целого. Еврейская община, самая малая по количеству, но самая древняя по времени, вложила в общую корзину всю свою склонность к учению и к диалектике, свое искусное умение рук обрабатывать форму; ислам внес суровую поэзию беспредельных пространств, искусство жизни и гордую архитектуру, бросившую вызов времени; латиняне дали прагматизм и стойкость, свой ритм и свой здравый смысл. Это был брак по любви и по расчету, сливший воедино душу и плоть, свободу и уважение к другим, глубинные течения и поверхностную струю, это было чудо Кордовы.

Ты знаешь мою нелюбовь к иррациональному, и слово "чудо", всегда употребляемое по этому поводу, шокирует меня. Благодаря, непрерывно делящаяся в течение трех сотен лет, черпает в себе самую силу, чтобы сохранять и обновлять себя. Пожалуй, я согласился бы со словом "диво", но ограничив его значение только естественными особенностями. Сотворенное жило. Бесспорно, бывали ссоры и соперничество, недовольство и примирения, злословие и злоупотребления, мелочность и преступления. Но ничто не могло отратить неизбежность дивной судьбы города.

Конечно, арабы были властителями, и в небесах господствовал Аллах Единый. У Кордовы не было выбора. Она стала арабской по языку и по платью. Нравы, души оставались чистыми. В конце концов, Бог не обязательно был на том месте, которое ему предписывал установленный порядок. Дети, игравшие на проезжей части дороги, мужчины, переходившие римский мост или торговавшие с лотков, женщины, плавно скользившие мимо белых фасадов, кем они были — евреями, христианами или мусульманами? Никто не мог бы сказать этого. Это никого не заботило. Все они были обитателями Кордовы, даже если прибыли недавно из Тетуана или Сарагоссы. Да, город образовывал три концентрических полуокружия по течению реки: у воды — испанские мосарабы, далее — арабы-мусульмане, в центре — иудея; но улицы были схожи, дома одинаковы, люди неразличимы, и никогда у меня не было чувства, что я перехожу рубеж, когда пересекаю город из конца в конец, никогда я не чувствовал себя вне дома, чужим. Все жители Кордовы переняли у арабов ту гордую осанку, что заставляла иногда считать мужчин надменными, а женщин — недоступными, но нет ничего более поверхностного, чем это мнение. Кордова создала народ, который никогда не склонял головы.

В часы молитв все лица были повернуты к востоку, и, может быть, этот общий взгляд в одну сторону был знаком самого глубокого единения. Треть города праздновала по пятницам, треть — по субботам, треть — по воскресеньям, и никто не противился этому. Существовал даже уговор с кастильцами никогда не сражаться в эти три дня, и я не помню случая, когда бы это соглашение было нарушено. По большим праздникам, когда отмечали сбор урожая, весь народ дружно собирался на площадях под звуки тамбуринов и гитар. Разнообразная и единая, Кордова наслаждалась свободой.

Кордова не была ни богатой, ни бедной, хотя на крайних точках ее жизни были и богатые, и бедные. Каждый ел досыта, утолял жажду вволю и находил, чем прикрыть наготу. Если где-нибудь скапливались деньги, они сейчас же шли на пользу городу. Даже халиф брал только то, что было необходимо для его содержания. Построенный им в шести милях от города дворец служил скорее не для его нужд, а для престижа, и Аль-Мансур, стыдясь своей роскоши, приказал сравнивать его с землей; порфир Карфагена и Нумидии пошел на сооружение городской библиотеки, самой богатой в мире.

В то время, когда в ваших северных столицах жители тонули в пыли или шлепали по грязи, в нашем городе не было ни одной не замощенной улицы, и это было сделано не только для удобства ходьбы, но и для услады глаза: кирпичи, плиты, куски лавы были выложены причудливыми арабесками, разноцветными звездами или в шахматном порядке, что вызывало восхищение чужеземных гостей. Не было ни одного дома без патио, в котором сверкал водоем или журчал фонтан, где цвели пальмы, мирты и розы.

Люди пустыни, арабские завоеватели относились с почти религиозным поклонением к потокам воды, изливавшимся с гор. Остатки римского водовода они превратили в разветвленную сеть, которая превратила весь город в цветущий сад. Вокруг Кордовы на жирной почве наносных берегов прекрасно росли оливковые и гранатовые деревья, рис и сахарный тростник, хлопок и пряности; по причине этого изобилия в город стекались потоки золота; а ведь я еще ничего не сказал о слепящей белизне фасадов, об искусно выкованных витых балконах, о великолепии общественных зданий, ничего не сказал о наших многочисленных школах, о наших парках, засаженных елями и кипарисами, о нашем университете, самом прославленном в мире, где толпились в любое время года три тысячи студентов, прибывших из разных стран. Согласимся с чистой совестью, что на диспуте в Фесе не была совершена ошибка.

Мне достаточно на мгновение опустить веки, и я возвращаюсь туда. Пойдем со мной, я поведу тебя. Вот иудерия с прямолинейными улицами, покрытыми каменным ковром. Трусят мулы, бегают собаки, быстрой и легкой походкой проходят мужчины в тюрбанах, проезжают повозки. Почти у каждого ворот слышен шум ткацких станков, ляг молота, разглаживающего медь, дыхание кузнечных мехов, скребок бочара; здесь поток горячего воздуха говорит тебе о том, что в печи варят стекло; там запах свидетельствует о том, что дубильщик обрабатывает кожу. У этого окна ювелир с лупой в глазу обтачивает драгоценные камни; а у того — портной сшивает части кафтана. Слышишь за стенами визгливые голоса женщин? Они ссорятся, и только они сами знают из-за чего. На квадратной площади крестьяне разложили на подмостках перец, салат, баклажаны, а над ними повесили сушить фиги, финики, виноград.

Где-то вдалеке муэдзин сзывает на молитву, и одни бросаются на колени и прикасаются лбом к земле, бормоча что-то; истинные ли то мусульмане или новые лжеобращенные — не знает никто; а в то же время другие остаются стоять; и отступники они или фанатики — никого это не заботит. Ни купля, ни продажа не прекращаются; набожность не затрагивает основных городских занятий. Неуклюжие из-за тяжелых корзин на голове, проходят женщины, треща без умолку.

Ты — уроженец севера, и я вижу и слышу, как ты хлопаешь себя украдкой по щекам: слишком белая кожа привлекает мошкору, и ты клянешь ее. Ты не знаешь и не можешь знать, путник с холодной кровью, что мошки — тоже Божьи создания и что они тоже принимают участие в нашей жизни: благодаря им в небе слышен птичий щебет. Не правда ли, ты, так же как и я, исполнен восторга перед этой истинной слаженностью и гармонией? Ты, как и я, с беспокойством думаешь, что такое согласие места и людей слишком хрупко, чтобы быть долговечным? Безусловно, ведь мы глубоко симпатизируем друг другу. В детстве и в юности, когда я жил в Кордове, и даже когда я бежал от ее чар, ставших невыносимыми, не было вечера, когда бы, ложась в постель, я не думал о бедствиях, которые могут назавтра внезапно обрушиться на мой город. Эти мысли трудно понять тому, кто не несет в крови ужас перед гонениями.

Простое рассуждение показывало мне очевидность того, что мы живем в период хотя и длительного, но преходящего благоденствия.

Я упомянул триста лет мира и просвещения? Это верно только отчасти. Мой дед вынужден был бежать из своего дома, изгнанный берберами, и вся община рассеялась по полуострову, как спугнутая стая воробьев. Наши молитвенные дома сравнивали с землей. Случилось так, что ярость новых властителей длилась недолго, и люди вновь поселились в иудеири; мой дед тоже вернулся в ее стены. Но жителей Гранады предупредили слишком поздно, и в развалинах разграбленного еврейского квартала остались тысячи убитых. Еще раньше римские завоеватели распространили свое право на Кордову. Захватчики-вестготы навязали по всей ее территории свои законы. Покорители-арабы установили свое непрерываемое господство. Основателей города, нас, — только терпели. Понимаешь ли ты теперь мои опасения, тревогу юноши, так далеко зашедшего в своей любви к этой стране, к ее климату, к ее красоте?

Но вот и дом моего отца. Зайдем. Кованая железная решетка ворот, выходящих на улицу, как раз открыта: нас ждут. Длинный тенистый коридор с отполированным временем каменным полом, с едва ощутимым, как воспоминание, запахом жареного лука, принимает нас под свою сень. Уличный шум затихает, ему нет входа сюда. Одна отклеившаяся плитка, третья после порога, неожиданно покачнулась под ногой: каждый раз, когда я проходил по ней, я давал себе слово напомнить отцу позвать каменщика; но сделал еще шаг, я тут же забывал о своем обещании. И вдруг сине-зеленый ослепительный свет большого патио, главный водоем, выложенный фаянсом цвета морской волны, в нем журчит серебряная струя воды, а вокруг пальмовые и лиановые заросли, среди которых, как сотни порхающих, отливающих всеми цветами радуги необыкновенных бабочек, покачиваются цветы гибискуса. В жарком, но свежем воздухе пленницами жужжат мухи, в ветвях щебечут пташки. Хлопает кожаный занавес: это Элизе, наша служанка, горбатая и некрасивая, с непокрытым лицом, несет тебе, как символ гостеприимства, запотевший кувшин с холодной водой и оловянную чашу, полную варенья из роз. Она прикладывает узловатый палец к своим тонким губам и указывает острым подбородком внутрь дома: там мой отец, как всегда, занят серьезными делами. Необходимо соблюдать тишину.

Ты думаешь, что возвращение в этот дом взволновало меня? Мое старое сердце не дрогнуло. С тех пор было слишком много смертей, слишком много страданий, слишком много равнодушия. Кордова была уютным ложем, где было приятно спать и грезить

о поэзии, о науке, о братстве; лишь полвека спустя я понял, что это были куцые грезы. Впрочем, в конечном счете обещания, таившиеся в свежести зари, не были лживыми. Поэзия, наука и братство тоже сияли в небе моего города; не на своем месте находился лишь удивленный молодой человек, каким был тогда я. Я созерцал свое становление; в действительности я спал. Я готовился сжать в кулаке весь мир; в действительности я грезил. То конкретное, что было в моей помолвке с Кордовой, гнездились в духе, а не в плоти. Мы — народ памяти. Устная традиция торжествует у нас над письменной. Большое раздробленное тело нашего народа пронизано неизгладимым знанием. Вот еще один тезис, который вы, идумяне, не можете постичь: зло, причиненное одному из нас, попадает в лабиринт, откуда нет выхода. Уже давно он полон до отказа, нет места для новых страданий. Как свет неразрывен с тенью, так наша память неотделима от забвения. Забыть — не значит не знать; это значит не думать об этом. В то время, как иудея в Кордове расширялась и наслаждалась длительным и преходящим благодеянием, тевтоны истребляли нас на Рейне; франки — на дорогах Византии; берберы — в долинах Атласа; в Риме, в Кастилии, в Провансе плевки дождем сыпались на наши головы; в Вавилоне и Салониках нас продавали, как рабов. Ветры, дувшие над Кордовой, доносили до нас крики и плач. Наша иудея знала, но не думала об этом. Мы постоянно собирали жертвования с целью облегчить где-то самую беспросветную нужду, выкупить раба, заплатить по требованию слишком нетерпеливого монарха. И в то же время мы украшали свой город, свои дома, совершенствовали свои душевные порывы и свой разум; мы в изобилии давали миру поэтов, врачей, астрономов, философов в обманчивой надежде, что в один прекрасный день мир спохватится, что мы ему нужны. Иногда мир спохватывался, — когда он был в печали или в болезни, когда в небе появлялась комета или когда диспут о наличии пола у ангелов заходил в тупик. Тогда он брал у нас наши доходы, наши сбережения, а когда опасность проходила, он снова брал наши жизни, и цикл начинался вновь.

Было ли важно, что Кордова была вне течений, что в нее прибывали отовсюду с целью приобрести самые богатые шелка, самые мягкие ковры, самые сверкающие драгоценные камни, самые надежные знания? Это было важно, бесспорно; но и незначительно не в меньшей степени. Когда я восстанавливаю золотое обрамление моего детства, я вижу книжку с картинками и на ее страницах

молодого человека, серьезного и печального, гордого подвигами своего города и подвигами, к которым он втайне готовится сам, объятых страхом при мысли, что все может оказаться неправдой. Без сомнения, нужно переделать весь мир, вступить в состязание с самим Создателем, выявить в себе частичку Бога. Эта идея пробила себе дорогу испокон веков; она сверкнула на мгновение в глубине нашего водоема; потом угасла.

* * *

Ты не мог знать моего отца — он умер незадолго до того, как ты прибыл в Фустат. Я стал таким, какой я есть, благодаря ему и вопреки ему. В моих воспоминаниях он стоит вне времени, ободряющий и пугающий, существовавший до меня и существующий во мне, все время возрождающийся старец. Как ты, безусловно, знаешь, он был главой иудеирии в Кордове. Эта должность перешла к нему от его отца, а тот унаследовал ее от своего. Она по праву переходила к самому мудрому и справедливому, и в течение двухсот и более лет община единодушно отдавала в этом предпочтение роду Маймонов. Старший сын, я тоже должен был когда-то получить эту должность. Отец не считал меня достойным ее. У меня не было никакого желания принять ее.

Только здесь, в Египте, увидев величественные монолиты, о которых мы и понятия не имели в Испании, я сумел составить себе более верное представление об отце. В Кордове я сравнил бы его с оливковым деревом. Он был плотный и коренастый, как ствол оливы, и, как ее редкая крона, давал скудную тень. Я хочу сказать этим, что искусный и умелый в словах и поступках, он был полностью поглощен своими обязанностями, неизменный и неизменяющийся, много раз повторяющийся и никогда не противоречащий себе. Мое первое впечатление об отце сливается с последним: человек, сознающий свою значительность, невысокого роста, с небольшим округлым брюшком, держащийся очень прямо, слегка откинувшись назад, с пышной квадратной бородой, с густыми бровями под ермолкой или тюрбаном. Он ходил мелким мерным шагом, скользя в мягких туфлях, почти не сгибая колен, как если бы даже при ходьбе это было недостойно его положения. У него был морщинистый лоб, тяжелые веки, и его пристальный взгляд был равнозначен наставлению. Он говорил мало и дома или в Совете произносил только самое необходимое. Я не припоминаю, чтобы он прояв-

лял нетерпение или дал волю гневу. Если что-либо было ему не по нраву, он отворачивался и не возвращался больше к этому, разве только его вынуждали обстоятельства. Испытывал ли он когда-либо неуверенность, раздвоенность, сожаление? Возможно, но никогда не показывал этого. Он высказывал только готовый результат, бесповоротные заключения, безапелляционные мнения, безоговорочные предсказания и все это — короткими и тихими фразами, похожими на его шаги. Чувствовал ли он когда-либо усталость, болели ли у него зубы или живот, были ли ночи, когда сон бежал его? Я никогда не знал этого. Однажды утром, в Фустате, он не вышел в обычный час из своей комнаты, и я нашел его уже застывшим в постели. Уход из этого мира он сумел сделать таким же, как свое поведение в жизни, лаконичным и решительным.

В то время наша иудея насчитывала около двадцати тысяч душ, и все они в какой-то мере занимали место в сердце моего отца. Не было ни одного более или менее значительного события в общине, которое было бы не известно ему и не входило бы в его компетенцию. Он знал имена всех постоянных жителей, знал, насколько прочны союзы в одних семьях и глубоко раздоры в других, знал о добрых и дурных поступках того или иного человека, знал, кто лгал и кто говорил правду, знал причины прибытия одного и мотивы отъезда другого. Все обыденное и чрезвычайное стекалось к нему, как потоки воды в город. Не было такого дня, чтобы люди не приходили к нему просить совета, чтобы не ходатайствовали перед ним о разрешении спора или ссоры, чтобы не представили на его суд какое-либо дело совести. Если у него не было готового ответа, он закрывался на час или два и искал его в священных книгах. Ты знаешь, что люди Востока обладают исключительными способностями запоминания. У моего отца была фантастическая память, она стоила целой библиотеки. Раз прочитав какую-либо рукопись, он знал ее от начала до конца. Те часы, которые другие использовали для отдыха или развлечений, он посвящал учению. Чтобы сохранить живость мысли, он соблюдал раз в неделю полный пост; правда, он с лихвой восполнял это в остальные дни, когда, быстро и не отрывая глаз от книги, поглощал приготовленную Элизе и поставленную перед ним обильную пищу. Это был не человек, а рабочий механизм.

Таково было полученное им традиционное воспитание: никогда не иметь личной жизни, никогда не уступать своему желанию, не поддаваться приступу гнева, порыву нежности. Единственной

роскошью, которую он позволял себе, был уход за телом, обряд принятия горячей ванны, регулярное посещение цирюльника, лелеявшего квадратную бороду, ежедневная смена белых полотняных одежд под вычищенным, выстиранным, выглаженным кафтаном, и то лишь потому, что в этой области властвовала Элизе, да еще потому, что недостойно было бы допустить возможность каких-либо сторонних замечаний. Он принимал у себя в доме приезжих чужеземцев, привозивших рукописи, послания, устные вопросы, и поэтому дом должен был содержаться в полном порядке — для поддержания чести общины. Будучи пастырем, отец не интересовался ничем, кроме своей паствы. Он говорил, что свое право на руководство получил в наследство от Патриархов, и это, вероятно, не было преувеличением: история рода Маймонов теряется во тьме веков.

Я прожил тридцать лет в тени этого человека, и я не помню ни одного интимного разговора с ним. Я называл его Рабби и обращался к нему в третьем лице; он называл меня Сын дочери резника; я объясню тебе позже, почему. Наш образ жизни был из самых скромных. Отец с презрением относился к материальным и жизненным благам. Он любил говорить, что мы бедны. Это понятие заслуживает разъяснения: бедность в Кордове, конечно, была не тем, что бедность в Провансе или Египте. Это означает лишь, что отец не получал никакого вознаграждения ни от общины, к которой принадлежал, ни от частных лиц, которые к нему обращались. Единственным орудием труда, которым отец умел пользоваться, было Писание, а это умение напрочь отвергало всякую выгоду. Он никогда не соглашался ознакомиться со светскими науками, он считал их ненужными, когда они повторяли известное, и вредными, если они предлагали противоречащее Закону, ибо только Закон праведен. К тому же, обязанности и учение не оставляли ему времени заниматься какой-либо доходной деятельностью.

У него не было доходов и не было того, что можно было бы назвать нажитым имуществом. Конечно, дом принадлежал ему и мул тоже. Еще мы владели виноградником, площадью в десять тысяч квадратных футов, расположенным в двух часах ходьбы к югу, вдоль реки; там были посажены и фруктовые деревья. Эта земля, распаханная в давние времена кем-то из Маймонов, обрабатываемая потомками Маймонов в течение веков, была утверждена в качестве нашего владения королевской грамотой, которую отец бережно хранил. С этого участка мы получали вино на субботу

и на Пасху, персики весной и виноград осенью; небольшой доход шел на уплату жалованья Элизе, — по крайней мере в те годы, когда небо не было слишком сурово к почве. Мой дядя Жоад выплачивал нам небольшую сумму из того, что оставалось от приданого моей матери; Иегуда Халеви, наш близкий сосед, который вел роскошный и расточительный образ жизни, делился с нами излишками своей изобильной кухни.

Бедность, конечно; но к ней относились с великолепной беззаботностью. Не нужно было интересоваться, откуда попадает масло в наши светильники, каким образом в часы приема пищи стол оказывается накрытым; как наполняется кормушка мула; кто приносит хворост. Все, что было необходимо, естественным образом появлялось и удовлетворяло потребности. Можешь ли ты вообразить себе более завидную бедность?

* * *

Вот какой человек находился передо мной, когда я впервые открыл глаза, но сам он едва достаивал меня взглядом. Здесь таится великое недоразумение, тяготевшее над моей судьбой. Я чтил своего отца, как предписывает Закон; я не любил его, потому что в нем не было любви ко мне. Но кроме того, что в его всегда занятом уме вовсе не было места для меня, он затаил против меня обиду. Я не был его сыном; я был сыном дочери резника, которая была его женой. Вероятно, он был несчастен от этого, но никогда не показывал этого; чувствовался только легкий налет грусти, что причиняло мне боль.

Когда моему отцу исполнилось сорок лет и настало время задуматься о потомстве, он попросил руки дочери Менахема-резника. Все разумные люди иудеии считали этот брак мезальянсом. Только дочь образованного человека достойна была занять место в доме моего отца. Почему же он, всегда усердно чтивший обычаи, отклонился от них в этом выборе? Я не хочу входить в тайны случайности и провидения, то и другое вне моей компетенции; но я знаю, что из этого источника жизни на меня снизошла особая благодать.

Если отец не взял себе жену из соответствующего сословия, то, вероятно, потому что не нашел такой, которая обладала бы достаточным приданым, чтобы вступить в союз с человеком, не имеющим никаких доходов, никаких поступлений. Еще одна причина ограничивала выбор: мусульманская знать предпочитала наших

девушек, более привлекательных и горячих. Разве сам пророк не подал примера, взяв в жены Рихану и Кафиву, пленниц Медины? Наши Советы Мудрецов не противились таким бракам, ибо они скрепляли союзы, важные для будущего. Конечно, это был политический расчет. Он входил в систему законной самозащиты. Разве у такого меньшинства, как наше, одновременно открытого и сплоченного, зажатого в месиве различных народов с непредсказуемыми и быстрыми, как взрыв, реакциями, нет оснований заботиться о своем выживании и о своей безопасности? Ведь процветание наших мудрецов тоже частично проистекало от репутации наших ювелиров, суконщиков, торговцев, врачей, философов. Следовало ли налагать запрет на вклад наших девушек в общее дело? Тем более, что их не приходилось упрашивать: жизнь в богатом арабском доме была несравненно приятнее, чем среди нас. Но в итоге сераль прорезывал наши ряды и в них оставались пустоты. Мой отец ждал долго, следовательно, долго колебался. Может быть, у него также было намерение освежить кровь Маймонов, сгустившуюся в результате ограниченной и длительной эндогамии, поскольку большинство ученых издавна находились в дальнем родстве между собой. И наконец, наименее вероятным я считаю, что он испытал истинную склонность к еще несформировавшемуся существу, каким была моя мать: ей не было и пятнадцати лет, когда ее повели под брачный балдахин — хупу. Ей не было и двадцати, когда она умерла. Между этими двумя главными событиями ее жизни мой отец выполнил свой долг, и она родила ему двух сыновей, меня, старшего, предназначенного учению, и Давида, младшего, предназначенного торговле. Страстное желание иметь потомство улеглось. Отец мог больше не думать об этом, и он перестал думать. Не могло быть и речи о том, чтобы поддерживать отношения с членами семьи Менахема, с этими простолюдниками, хотя они и выплачивали нам ренту и отец принимал ее, как нечто само собой разумеющееся. Жизнь приобрела прежний порядок, не считая того, что этот порядок не принимал меня, а я не принимал его.

Я забыл, какой я видел свою мать; но ее образ живет во мне, и сегодня я еще могу воспроизвести его. Сотни раз я расспрашивал о ней ее брата Жоада, с которым виделся тайно. Он выдавал мне маленькие разрозненные детали, которые я заботливо складывал в копилку памяти, кусочек — сюда, кусочек — туда, и все это в конце концов сплывало воедино, создав представление о чело-

веческой личности. О непокорных волосах, узком, полумесяцем, лбе, миндалевидных глазах, задорном взгляде, раскатистом смехе, легкой походке... Счастливое слияние Востока и Андалусии! Как я гордился, что в том человеке, которым я должен был стать, находилась частица всего этого! Что за важность, что она не научилась хорошо читать и еще меньше писать, что она должна была дрожащей рукой поставить закорючку под контрактом, который связывал ее на всю оставшуюся жизнь; зато кроме этого она умела все: бегать по полям, вкусно грызть зеленое яблоко, петь на закате солнца, выпускать кровь из барана и разделявать его, печь хлеб, лгать и говорить правду в зависимости от обстоятельств, угадывать погоду, следя за полетом птиц. Та интуиция и тот здравый смысл, которые я проявил в учебе, достались мне от нее. Мой отец ошибался: я не был сыном дочери резника, я был сыном именно этой женщины, этой дочери резника. Я был также племянником Жоада, простолюдина, который научил меня важнейшим вещам.

Теперь все данные на месте. Можно перейти к маленькому Моше.

* * *

У меня было еще только двадцать зубов во рту, я еще нетвердо держался на ногах при ходьбе, едва мог построить фразу, но я уже вставал до зари и, не проснувшись окончательно, весь сжавшись от ночной прохлады, должен был сам находить дорогу в школу, куда в тот же час сходились, пошатываясь, и другие мальчики того же возраста. Это квадратная комната, побеленная грубой известкой; в ней стоит легкий запах затхлости и прогорклого масла. Вдоль стен расставлены деревянные скамейки. Маленький народец рассаживался под пронизывающим взглядом учителя, пробующего длинные розги на полах своего кафтана. Берегись, кто позевывает: достанется тут же. Достанется и тому, кто почесывает волосы под ермолкой, и тому, кто запустил палец в нос. В идеале дети должны были бы быть из воска или теста, а не из плоти и крови; но это был бы ложный идеал: испытание лишилось бы смысла. Как раз плоть и кровь включаются в обучение. А не слишком ли строг учитель? Праздный вопрос: он — учитель, его роль — учить, чтобы учение стало мастерством. Нетвердым пальчиком малыши водят по строчкам, их чистый взгляд схватывает буквы, цифры, слова. Звуки прокатываются между языком и небом, с трудом проходят

между губ, расслабляются в гортани, ребенок глотает их, чтобы освоить навсегда.

Ты думаешь, что мальчики в школе учатся только читать? Они учатся есть фразы, — сначала безвкусные; потом, когда их смачивают слюной, обсасывают, прожевывают, — восхитительного вкуса. Да возлюбишь ты Господа Б-га всем сердцем твоим и всеми твоими низменными побуждениями! Что означает этот наказ? Разве можно не любить Его? А как узнать, что участвует все сердце, а не часть его? Среди значений слова "сердце" — мысль, разум, воля, сила, мощь — какое предпочесть и почему? Что такое побуждение и по каким признакам узнать, что оно низменное? Подавить низменные побуждения — не значит ли это лишить Б-га части принадлежащей Ему любви? Так проходит утро и целый день. По мере того, как бегут часы, исчезает усталость, и ребенок, захваченный магией слов, с наступлением темноты бодрый и свежий возвращается в отцовский дом, где ему как раз хватает полной снов ночи, чтобы переварить то, что он поглотил.

В шесть лет, если он не идиот, не слепой и не глухонемой, он будет обладать умением читать и писать, добром, которое никакие преследования никогда не смогут отнять у него. Пусть будущее сделает из него ремесленника или врача-философа, он уже скрепил союз со Словом, наш священный союз. Будь он богат или беден, могуществен или ничтожен, все равно он будет каждый день своей жизни продолжать диалог с Невыразимым, он уже стал на этот путь. Я предлагаю тебе для размышления следующую фразу из Талмуда: "Мир висит на дыхании детей, которые ходят в школу".

Я был таким малышом. Одним из тысяч. На каждой улице иудеи была школа, где висело дыхание мира. Мы знали, что дыханию остальной части города был присущ другой ритм. Вокруг нас молодые арабы пользовались своей изумительной памятью для заучивания наизусть суратов и хадитов; реже встречались изучавшие грамоту. Что касается испанцев, то у них совсем не было школ, кроме той, где обучали будущих писцов. Молодые пастухи и погонщики ослов учились непосредственно у природы и укрепляли мускулы в потасовках.

Я не утверждаю, что в том возрасте я уже мог оценить особенности нашего народа. Для меня не существовало другого образа жизни, кроме как пойти по следам, оставленным нашими предками. Я шаг за шагом шел по великому пути нашего народа, не догадываясь даже, как это необычно. Случалось ли мне испыты-

вать тоску по огромному открытому небу, по тропинкам, убегающим в лес, по веселому ручейку? Не помню. Возможно. Но несомненно я принимал эти робкие желания за низменные побуждения, и это заставляло меня подавлять их силой. Так же, как необходимо было есть, чтобы жить, в той же мере необходимо было учиться, чтобы жить. Мое небо, мой лес, мои ручьи были на страницах книги. Я не сомневался, что когда-нибудь сумею вернуть их на истинное место.

Был ли я счастлив? Как судить об этом после стольких лет, стольких событий? У меня были товарищи по классу; у меня совсем не было приятелей, не было друзей. Глагола "играть" не было в моем словаре и его эквивалентов тоже. Я видел шумные непоседливые оравы мальчишек и девчонок, которые бегали в любое время года по пустырям или по берегу реки; я слегка жалел их; я им сильно завидовал. Учитель говорил о них сурово; это был пример, которому нельзя следовать. Они никогда не достигнут истины и мудрости. Им закрыт вход в царство света. Они не принадлежат к и з б р а н н ы м. В конечном счете, я стал меньше завидовать им и больше уважать себя; но без глубокой убежденности. Я допускал, что могло существовать два образа жизни — хорошей и плохой. Я благодарил провидение за то, что мне дано вести хорошую жизнь, но благодарил без энтузиазма. Обещание, содержащееся в союзе, оставалось абстракцией. При всей моей неопытности я уже знал, что предстоит платить высокую цену. Резня наших братьев в Вормсе потрясла иудею, и я знал в подробностях об этом событии. В Магрибе нетерпимость по отношению к нам проявлялась волнами убийств. Один за всех и все за одного, объяснял нам учитель. Где же она, эта грешная душа, из-за которой все мы подвергаемся преследованиям? Впрочем, в следах, горевших на моей коже после розог учителя, я был более уверен, чем в огне ада.

Дома — ни отца, ни матери. Ворчащая все время горбунья. И пухлый толстощекий малыш, ползающий повсюду на четвереньках попкой кверху. Если бы в то время у меня спросили, кого я люблю, я не колеблясь ответил бы — Элизе. Она была бесконечно преданна и деятельна. При всем ее безобразии и уродстве, у нее были прекрасные печальные глаза, в которых постоянно светился огонь поруганной доброты. Мы с ней всегда были заодно. Если у меня выдавались свободные часы, я любил держаться около нее, в патио или в доме, и она пичкала меня необыкновенными рассказами и вареньями. Когда ей не хватало новых историй, она пережевывала

старые; а я внимательно следил, чтобы все версии совпадали до мельчайших подробностей, до интонационных повторов.

Оказывается, это было правдой. Она рассказала мне, как ее взяли в плен во время набега турок на Смирну, где она беспечно жила у родителей, торговцев сукнами; и я шел запирать решетку, выходящую на улицу, чтобы Элизе была теперь в безопасности; как ее изнасиловали и бросили в поле среди оливковых деревьев, посчитав мертвой; и иногда я видел ее во сне с обнаженным животом и бедрами в крови; как ее передавали из каравана в караван вдоль всего африканского побережья и выставляли на продажу на всех невольничьих рынках, и никто не хотел купить ее из-за горба и уродства; и я решил стать великим врачом, чтобы выпрямить ей спину и сделать ее красивой; как она попала в Кордову, и мой отец, узнав, что она еврейка из Смирны, попросил общину выкупить ее и сразу отпустить на свободу; и я думал, что мой отец великий принц; как повезло ей, не имевшей никого на всем белом свете, заменить мою мать, которая как раз незадолго до этого умерла; и я думал, что если судьба была жестока к Элизе, то еще более жестока она была ко мне.

По пятницам нас отпускали рано. Меня встречал праздничный дом, все светильники горели, весь пол был натерт маслом, вся еда на целый день была торжественно выставлена на белой скатерти. До захода солнца Элизе мыла меня в ванне. Ее узловатые пальцы долго бродили по моему телу, изучая впадины и выпуклости, по несколько раз проходили по чувствительным местам, и ее некрасивое лицо при этом выражало напряжение и сосредоточенность. Эта процедура невольно вызывала во мне волнение, которое я приписывал своим низменным побуждениям; я хотел, чтобы она скорее кончилась, и надеялся, что она продлится. Может быть, мое тело еще помнило руки матери? Может быть, надо мной тяготело проклятие? Я разрывался между смехом, слезами и гневом, меня парализовали стыд, раздражение и какая-то невыразимая истома. Что же в действительности происходило в моем теле, тайна которого была мне неизвестна? В моей наготе проявились в равной мере сила и слабость; в моем сознании — приятие и отказ. Я возвышался и оставался на месте в ужасе от неизбежного приближения голоса неба, который мог прозвучать в любой миг и назвать меня по имени. Значит, мне тоже суждено обратиться в прах?

Но небо оставалось немое; Элиза же, наоборот, говорила. Она на свой лад объяснила мне главу вторую из книги Бытия, и так как

и этот рассказ она повторяла не раз, я знал, что она говорила правду. Я изначально знал, что я не невинен. Я уже видел спаривание петуха и курицы, козла и козы; я не понимал механизма явления, но принимал его необходимость. Таков был закон природы. Мне кажется, я интуитивно чувствовал, что не так уж далек от петуха, как это мне старались внушить. Когда я читал, что Адам **познал** Еву, голос мой начинал хрипнуть, а в ушах звенело. Внезапно мне стало ясно, что действительность написана не теми знаками, что книги. Это было странное открытие. Еще раз по миру прошла трещина, разделившая его надвое. Но ведь истина могла быть только одна, а я уже тогда дал себе слово быть предельно бдительным, чтобы не упустить ее. Как же велико было мое облегчение, когда я прочел позже в Талмуде, что **даже голос неба не превышает существующего**. Другие, и до меня, испытывали те же муки и сомнения. Когда-то автор этого комментария сделал выбор. Я тоже сделал свой выбор. Нужно прожить жизнь смиренно, гордо и, главное, трезво.

Однажды в пятницу — мне шел тогда восьмой или девятый год — я сухо заявил Элизе, что отныне буду принимать ванну сам. Мне больше не нужны были ее руки, чтобы изучать мое тело; мои — справлялись не хуже. У Элизе захватило дух, она что-то буркнула и выбежала из дома; три дня я не видел ее. Между нами долго стоял холодок.

* * *

Будь я блестящим учеником в школе, я, наверно, знал бы об этом. Все более хмурое, насупленное лицо отца беспрестанно напоминало о моей посредственности. Сын дочери резника не делал ему чести. Род Маймонов неизменно проявлял свою избранность в науке. И вот нити, тянувшейся через поколения, предстояло оборваться на мне. Я не был тем, кого ожидал мой отец. Он примирился с этой изменой. Я, в свою очередь, тоже вынужден был примириться; и, чтобы не прийти в отчаяние, открыть в себе что-то другое.

В то время я не знал, что логика была систематизирована перипатетиками и что арабские мотекальмины искусно применяли ее. Само понятие логики было незнакомо мне, хотя, вероятно, уже жило во мне. Тогда во мне был силен только здравый смысл, который — мой отец не ошибся — я получил непосредственно от дочери резника. Я не был неумным. Я без всякого труда понимал

очевидный смысл фраз. Я твердо запоминал то, что читал. Я был вполне способен рассуждать по заданным схемам, пережевывать различные уже существующие интерпретации, строить из себя мудреца, взяв за образец учителя с розгами. Сегодня я думаю, что это обучение должно было казаться мне слишком простым, слишком легким и, следовательно, мало интересным.

Мне не хватало усердия, а может быть, и честолюбия. Если меня не спрашивали, я упорно молчал. У меня не было, как у других, желания вылезть вперед, стремясь упиться похвалой. Учитель часто жаловался отцу, что у меня такой вид, будто я сплю с открытыми глазами. Розга уже не помогала, она применялась слишком часто и активно, чтобы сохранить свои целебные свойства. Замечал ли ты, с какой легкостью ребенок умеет уйти от скуки и принуждения? Надежный, проверенный рецепт — ускользнуть с помощью фантазии. Смена образов не связана с течением времени; это позволяет дожидаться того момента, когда неприятности рассеиваются и улетучиваются.

Я берег себя для лучших времен, когда учеба будет основана на свободе. А пока необходимо было подчиниться строгим правилам и вести себя прилично, не более того. Умеренное дозирование присутствия-отвлечения требовало лишь некоторой привычки. Я грезил только наполовину, но этого было достаточно, чтобы учитель постоянно был настроен против меня. Он безусловно считал, что поступает разумно, регулярно беседуя обо мне с моим отцом. Я ловил на себе мрачный взгляд судьи Маймона. Совершенный им вираж — союз с семьей резника — явно не дал хорошего потомства. Отец был бы еще больше огорчен, если бы узнал, что я полюбил резников — в лице моего дяди Жоада. Но прежде, чем это открылось, я отведал скандал — и нашел, что вкус его не так уж плох.

Иегуда Халеви жил на широкую ногу и был шумным повесой. Его без сомнения отлучили бы от общины из-за его поведения, как впоследствии это случилось со мной из-за моих сочинений, если бы он не был поэтом и если бы слава его не была так велика. Его искусство врачевателя было известно далеко за пределами Андалусии. Рассказывали, что его много раз призывали к Кастильскому двору и что он возвращался оттуда, сопровождаемый караваном мулов, нагруженных дорожными вещами. Гранды Эстремадура и вельможи Леванта, не колеблясь, тайно пересекали границы, чтобы попасть в его дом. Его познания не меньше ценились и знатью Маг-

риба и Андалусии; он никогда не отказывал в помощи и мелкому люду нашего города.

Людская молва приписывала ему самые противоречивые черты: для одних он был алчным, грубым, безжалостным; для других — щедрым, любезным, милосердным; он и бывал иногда таким, а иногда таким, в зависимости от обстоятельств и расположения духа. Я думаю, ты согласишься со мной, что не следует придавать значения этим пересудам. Такого человека, как Иегуда Халеви, нельзя заключить в клетку эпитетов. Гнусные сплетни, которые распространялись о нем, и то, что он сам из презрения к условностям приписывал себе, ничуть не уменьшали того поклонения, в котором ему никто не мог отказать. Да, он был, конечно, искусным врачом, но также — и это главное — несравненным поэтом, самым влиятельным в мусульманской Испании, с тех пор как смолкли голоса Ибн Нагдела, Ибн Габироля и Ибн Эзры Старшего. В халифате Кордовы поэзия справедливо считалась состоянием высшей благодати, которую дано достичь человеку при жизни. Многие образованные люди занимались стихотворением; но такой поэт, как Иегуда Халеви, был только один, и интуитивно самые различные люди в Андалусии понимали это.

О поэте нельзя рассказать, его нельзя объяснить; можно только приблизиться к нему, открыть его и полюбить.

Я был тогда еще подростком, во мне бродила юношеская кровь, и смысл слов волновал меня больше, чем их поэтическая красота. У меня не было ни малейшей склонности к лирическому опьянению. В своей высшей форме поэзия — это тишина; мое же любопытство, наоборот, привлекало в этом человеке то, что было в нем шумного, бьющего через край. Иегуда Халеви занимал большой двухэтажный дом с многочисленными, полностью застекленными окнами. Дом этот находился недалеко от нашего. Я знал (от кого? — вероятно, от Элизе), что он вел там беспутную жизнь и что только благодаря заступничеству муз небо до сих пор не испепелило его. Хотя он и состоял в Совете Мудрецов, куда он никогда не показывался, он в открытую глумился над Законом, не соблюдал субботний отдых, осквернял свой рот убитой охотниками дичиной и другой запрещенной пищей и не почитал ничего; только наслаждение было его культом. Дом его являл собой настоящий гарем, в нем постоянно томились демонические существа — гурии, едва достигшие совершеннолетия, привезенные работоторговцами за большие деньги из Магриба, и юноши, у которых еще и пушок

на губе не рос. Почти дети, они целые дни принимали ванны, умащивали себя благовониями, болтали и ссорились под присмотром двух матрон и трех слепых музыкантов. С наступлением вечера оттуда доносились странные мелодии. Иегуда Халеви принимал у себя за столом друзей из Кордовы, Гренады или из Севильи, арабских вельмож или богатых купцов, иногда испанских посланцев, и празднование заканчивалось только поздно ночью, а иногда и на заре, с первыми лучами солнца.

По пути в школу мне нужно было пройти мимо этого вытянувшегося в длину сонного фасада, и каждый раз я чувствовал, как мой затылок застывает и спина вся напрягается, настолько я боялся, что и на меня падет от него тень позора. И однако из окон не слышны были отзвуки пронесшейся бури и сквозь щели не пробивалась чумная зараза разврата. У решетки дремал подобный монументу вольноотпущенник, турок, говорила Элизе, охранявший порог, и ступни его ног торчали из калитки, так что нужно было либо обойти их, либо перешагнуть. Иногда я осмеливался краем глаза заглянуть внутрь, но никогда не случалось мне увидеть там ни малейшего следа его обитателей среди листвы внутреннего сада, одного из самых ухоженных и самых роскошных в еврейском квартале. В фонтане плескалась вода; попугайчики порхали вокруг насеста. Почему я не был одной из этих птиц, я мог бы быть свидетелем вакханалий, о которых говорила вся Кордова! Врач-поэт — существо реальное или миф? Действительно ли в этом доме, с виду зажиточном и спокойном, находились молодые пленницы, которых лишили невинности, и мальчики моего возраста, которых предали содомии? Элизе утверждала, что именно в разгар оргий Иегуда Халеви находил самые патетические выражения для своих поэм во славу земли Сиона. Рядом с ним находился слуга и записывал. Списки переходили потом из рук в руки, и люди замирали от наслаждения. Ведал ли Бог об этих восторгах? Может быть, он относился с особой снисходительностью к чародеям слова?

Иегуда Халеви слыл тонким знатоком чистейшего библейского языка, на котором не говорили уже века; он владел также языком Корана в самой изящной его форме, он чередовал в нем рифмы и ассонансы, использовал различные ритмы; а иногда писал и латинским гекзаметром. Позже, намного позже, списки этих поэм прошли и перед моими глазами: это был поистине великий вдохновенный элегический поэт. В то время я не мог ничего знать об этом. В то время меня манил дьявол.

Один раз мне случилось встретиться с ним. Ты, конечно, ждешь признания о моем немедленном разочаровании: у него не было ни рогов, ни копыт, и от него не исходил запах серы. Воображаемое сникает при столкновении с действительностью, как туман оседает при холоде, вот почему встреча с реальностью оказывается еще более захватывающей. Эта сцена осталась в моей памяти столь красочной, что я могу и сегодня воспроизвести ее без малейшего затруднения. Когда я вернулся в тот вечер из школы, отец приказал позвать меня. Он сидел в своем рабочем кабинете с Мессуламом, писцом, там же находился еще какой-то посетитель, черты которого я сначала не мог различить, так как он сидел спиной к лампе. Это был человек в возрасте моего отца, слегка полысевший, с непокрытой головой, в элегантном одеянии из вышитого шелка. Я отметил белизну его рук, длинных и тонких, которые, казалось, жили самостоятельной жизнью. Сегодня я могу с полным правом утверждать, что я сразу догадался, кто был этот посетитель; пронизывающий насквозь взгляд позволил мне и в полумраке безошибочно узнать его.

“Старший сын Маймона, — сказал он мне высоким голосом, — да будет с тобой мир. Да станешь ты мудрым и справедливым, как твой отец — мой друг”.

“Иегуда Халеви, — ответил я, не раздумывая, — я хочу стать, как ты, врачом, поэтом и распутником”.

За столом послышались приглушенные смешки. У меня мелькнула мысль, что я сказал что-то неуместное, но исправить уже было невозможно. Отец расчесывал бороду пальцами, что было у него признаком сильнейшего недовольствия.

“Интересно, — сказал посетитель; — очень интересно. Поэтом и распутником? Не знаю. Для этого нужен особый дар. Но врачом ты можешь стать. Достаточно выучиться”.

Мессулам, писец, терся боками об стол, вероятно, силясь побороть неудержимый смех. Фитиль мигал в лампаде, и причудливые тени плясали по стене.

“Мой сын будет судьей, знатоком Закона, как все старшие сыновья в роде Маймонов, — спокойно произнес отец. — Не забивай ему голову дурными мыслями. У него и так их достаточно, незачем добавлять еще”.

“Не такая уж это дурная мысль, — ответил Иегуда Халеви. — У меня это получилось совсем неплохо”. Он отвернулся от меня и продолжал прерванный моим приходом разговор. У меня сжало

горло, я был неспособен сдвинуться с места. “Я тоже буду врачом”, — пробормотал я, скорее для того, чтобы укрепить свое решение, чем противоречить отцу: впервые в жизни я осмелился открыто выступить против него.

Речь шла о политической обстановке. Говорил, главным образом, Иегуда Халеви. Я слушал, как порхали фразы из слов-явлений, некоторые были мне совсем незнакомы, но смысл доходил до меня с удивительной остротой. Отец время от времени ворчливо вставлял что-то. Мессулам только вращал зрачками. На севере полуострова кастильцы и арагонцы готовились к давно задуманным действиям широкого размаха. Несмотря на поражение испанцев при Салаке, Толедо все же оставался в их руках. Учитывая это, их попытка отвоевать свои владения была не лишена смысла, тем более что Андалусия, раздробленная и разделенная на эмираты, представляла собой легкую и желанную добычу.

“Ну что же! — прервал мой отец. — Если Кордова станет испанской, мы будем испанцами. Что в этом дурного?”

Иегуда Халеви внезапно повернулся ко мне. “Ты знаешь арабские буквы?” Захваченный врасплох вопросом, я размышлял несколько мгновений, прежде чем покачал головой. Я немного разбираю куфическое письмо и совсем не знал курсива. “У меня есть, — сказал он, — очень редкий экземпляр “Канона” Ибн-Сины, где оригинальный текст, строчка за строчкой, сопровождается переводом на иврит; это арабский язык суннитов, очень близкий к нашему. Я пришлю тебе его завтра. Ты сможешь приобщиться к некоторым понятиям медицины и к чтению великих писателей”.

“Я запрещу ему это”, — ответил отец, не повышая голоса.

И снова они забыли обо мне на некоторое время.

“Испанцы, — продолжал Иегуда Халеви, — не доверяют нам. Их идолопоклонническая ненависть дремлет, но она не угасла. По отношению ко мне лично они не скупятся на любезности и роскошные подарки, но меня не проведешь. Мы слишком долго жили с арабами. Для кастильца андалусец — враг или предатель, а когда солдатня развязывает резню, берегись любой, кто на ее пути. У арабов быстрые кони и огромная империя. Мы же тяжелы на подъем, да и куда нам отступать? Но в настоящий момент я больше всего боюсь не испанцев. Они придут позже, гораздо позже”.

Он сделал паузу и некоторое время рассматривал при свете лампы свои длинные тонкие руки. Мой отец что-то проворчал. Мессулам обнажил в застывшей grimase свои желтые зубы. Каждое

произнесенное слово впивалось в меня, как острые кусочки металла. "В долинах Атласа неуклонно расширяет свои владения фанатичная секта альмохадов. Суровость, чистота и жестокость — таковы их основные девизы. Они придут сюда раньше испанцев, — пророчествовал Иегуда Халеви. — Андалузские эмиры, крупные землевладельцы, купцы примут их с распростертыми объятиями, как спасителей. И тогда — берегись, еврейская община! Горе нам!"

"Это уже произошло при альморавидах-берберах, — сказал отец. — Были убитые. Были бежавшие. Арабская цивилизация взрывоподобна, наша — гибка, способна уйти в себя. И там, и здесь — это рефлекс выживания. Латиняне — покорители холодные, бесстрашные. Мы вклинены между теми и другими. Что делать? Молиться. Надеяться".

Отец, казалось, заметил, что я еще здесь. "Ты можешь идти", — сказал он мне. Я вышел из кабинета, не говоря ни слова. Зачем, в сущности, меня позвали? Кто должен был сказать мне что-то, если не мой внутренний голос? Я ушел в сад размышлять над тем, что услышал. Весенняя ночь, полная ароматов, трепета и звезд распростерлась над крышами. Ласточки ныряли в воздухе, на лету пили воду в бассейне и опять взмывали в молочное небо. Странное возбуждение охватило мою душу и грызло мою плоть. Меня ожидали где-то, куда я должен был прийти, где-то существовала маленькая ячейка, отведенная для меня в большой ячейке всего живого и все, что было во мне чувственного и духовного, уже созревшего и еще долженствующего созреть, все получило приказ устремиться туда. Я узнал, что такое нетерпение.

Я не увидел больше Иегуду Халеви. Назавтра, когда я проходил мимо его дома, вольноотпущенник-турок сделал мне знак приблизиться и вручил толстую книгу в сморщенном и потрескавшемся на сгибах переплете. С этой книгой я уже не расставался. Ты видел ее у меня в Фустате. Я распорядился, чтобы ее похоронили со мной. Мой сын, я думаю, проследит за этим.

Что было мне не известно и что я узнал только впоследствии, так это тот факт, что Иегуда Халеви приходил прощаться с моим отцом. Он покидал Андалусию. Он покидал Испанию. В сопровождении своей последней любовницы, шестнадцатилетней гурии, он отправлялся на землю Израиля, чтобы закончить там свои дни. Он совершил путешествие по морю, едва уцелел при буре, чудом спасся от пиратов и высадился в порту Ашкелона в конце лета. Когда он достиг горы Сиона и золотой от солнца Иерусалим лежал

у его ног, он упал на землю, и слезы заструились по его лицу. Какой-то франкский рыцарь случайно проезжал там. Он увидел старого еврея, валявшегося на дороге среди камней. Ты думаешь, он натянул поводья, чтобы удержать лошадь? Он пришпорил животное и проскакал по распростертому телу. Железная подкова разможила череп человека, который в этот момент был в единении с Предвечным. Это был, я думаю, доблестный защитник Христа, и, возможно, он даже был в мире со своей душой. "Так хочет Бог". Этот мозг, разбрызганный в пыли, пролился бальзамом на раны распятого, явился лептой, внесенной заранее во имя вечного спасения убийцы: ведь священники проповедовали это, епископы утверждали это, папа ручался за это. Мог ли этот благородный крестоносец сомневаться в необходимости раздавить насекомое?

Так кончил Иегуда Халеви, имя которого некоторые пишут Иуда ха-Леви — ученый, эстет и распутник.

* * *

Я подружился с дядей Жоадам благодаря петуху, великолепному петуху, весившему не менее шести фунтов. Красновато-коричневый с золотистым отливом, весь трепещущий и гордо несущий свой тройной гребень, он был избран стать нашим субботним бульоном. Никогда до этого дня я мысленно не связывал содержимое наших тарелок с существом из плоти и крови. Пища рождалась непосредственно в сковородках Элизе, благодаря магическим действиям, и она была хранильницей этого секрета. Я не помню, почему Элизе дала мне в руки этого петуха, что помешало ей пойти самой. Она связала ему лапы длинной веревочкой и свободный конец закрепила у меня на запястье.

Не очень хорошо понимая, хотя и понимая слишком хорошо, я пустился в путь, прижимая к груди теплый комоч перьев, не отвояв взора от круглого глаза прекрасной птицы, голова которой покачивалась в такт моим шагам. Всю дорогу я шептал в ее взъерошенный воротник ласковые слова, но мое беспокойство не уменьшалось. День был жаркий; я был весь в поту. На берегу было большое движение; люди и животные проходили вверх и вниз по течению, женщины колотили белье, бродили оборванные дети, торговцы вопили, держась за открытые лотки. Никто не обращал внимания на меня, влащащего свой позор. Возникла ли у меня мысль бросить петуха? Возможно. Но мы были связаны друг с другом.

Даже если бы мне удалось развязать узлы, его сразу поймали бы. Его судьба была предreshена. Я шел вместе с ним на казнь.

Двор резника, моего дяди Жоада, находился в тупике на краю иудерии; удобнее было проходить туда через всегда открытые ворота по тропинке, по которой гнали скот. Клейкие каменные плиты двора липли к подошвам. Дяд Жоад как раз смывал их из ведра сильной струей, когда он увидел меня. Это был коренастый малый, мускулистый, с рыжими волосами на груди, с лицом, усыпанным веснушками цвета соломы. Он был старше моей матери; ему, должно быть, было лет тридцать или чуть больше. Он сразу понял мое волнение и ободрил меня. Наука ритуального убийства имеет строгие, отработанные многовековым применением правила, и цель ее — свести к минимуму причиняемое зло, не дать животному почувствовать боль. Жоад показал мне свои ножи с таким острым лезвием, что они на лету разрезали надвое пушок. Малейшая зазубрина на стали делала орудие непригодным. Он провел острием по тыльной стороне ладони, показалась кровь и он заверил меня, что ничего не чувствует. Быстрота, точность и великодушное знание тех точек, от которых зависит жизнь, способствуют в определенной мере тому, чтобы сделать жертвоприношение безболезненным; ибо если человеку для поддержания жизни необходимо питаться возвращенными им животными, ему запрещено при этом оскорблять их, причиняя страдания.

Продолжая спокойно разговаривать со мной, Жоад освободил меня от петуха и кончиками пальцев поглаживал ему зоб. Вдруг крылья тяжело дрогнули, затрепетали; разлетелись перья, и я почувствовал судорожные толчки в запястье. Темная лужица растекалась у моих ног. Еще несколько подрагиваний, и все было кончено; то, что лежало на камне, было всего лишь безжизненным мясом. Жоад приподнял его за когти, прикинул вес, как знаток, подул в пух на гузке, чтобы оценить жирность. “Видел? — спросил он. — Из этого бездельника выйдет хороший бульон”. Я не мог ответить, у меня сжало горло. Движений, лишивших мою прекрасную птицу жизни, я не уловил.

Появилась моя тетьа, два малыша держались за ее юбки, третий готовился прийти в этот мир. От стакана воды с ложкой варенья, предложенных ей, мне стало лучше.

“Я должен еще разделаться с бараном,— сказал дядя Жоад. — Хочешь остаться?” Я не хотел, и все же я хотел бы. Это дело ставило под сомнение многие идеи, воспринятые мною, как непреложные е.

Губы дяди Жоада расплылись в широкой улыбке. “Ты вернешься, — сказал он. — Чтобы стать мужчиной, нужно знать эти вещи”.

И действительно, я вернулся. Я увидел, как Жоад вонзает в горло ягненку что-то вроде бандерильи и как на самом деле эта бандерилья оказывается струей крови, вырвавшейся из животного. Однажды, накануне праздника, когда хозяйки разошлись, каждая со своим комком жирного семейного бульона, и когда сумерки опустились на усыпанный перьями двор, где стоял тот тошнотворный запах, который всегда оставляет за собой смерть, я увидел Жоада — с руками, до локтя покрытыми, как лаком, кровью, забрызганного остатками ушедших жизнью; он стоял один, великолепный, как Самсон среди поверженных филистимлян. И еще я видел, как он сражает тех быков черной масти, которые как бы исполняют танец, когда резвятся на выгоне, и зябких телят, которые до последней возможности всасывали в себя воздух.

Конечно: это было отвратительно, и мой желудок не раз возмущался; но я держался стойко, я был зачарован тем необратимым, что здесь совершалось. Достаточно было малейшего движения, чтобы разрушить живое творение, которое, может быть, и держалось на этом малейшем. Быть может, Жоад был демоном? Или прообразом того, чем я собирался стать?

Я сразу же увидел, что он был человеком простым и великодушным, спокойным и набожным; он любил животных и меня научил любить их. Он предельно просто, в наивной манере, объяснил мне великий естественный процесс, в котором общее равновесие обеспечивается тем, что каждый род занимает предназначенное ему место; он пояснил мне, и как производит земля, и как поглощает она все, что состоит из материи и имеет форму. Он говорил, что он тоже на своем месте, неповинный во всей пролитой им крови, приносящий пользу тем, кто назначил его на эту должность, на основании сказанного в Писании, что человек будет владычествовать над всяким животным, ибо это **хорошо**. Он рассказывал мне о частях тела, а потом о частях скелета, по мере того как обнажал их. Так я научился различать пути крови, одни — упругие и гибкие, другие — вялые и суженные; я научился не путать перламутр нерва с перламутром сухожилия, распознавать апоневроз и мускул, орган и его ложе, содержимое и содержащее. И я сделал то удивительное открытие, что лапка цыпленка сделана так же, как и конечность быка и нога человека, что вопреки разнообразию форм, мате-

рия идентична себе самой. В том возрасте, в одиннадцать—двенадцать лет, это открытие было потрясающим.

Однажды Жоад дал мне вскрыть сердце барана. Я обнаружил странно вывернутые карманы, спрятанные узкие проходы, путаницу полосок и пластинок, но не получил ни малейшего представления о потайном порядке этого устройства. Я нашел такое же расположение в сердце утки и в сердце телки. Жоад тоже не знал, как оно действует. Оно сначала билось, как мое, в груди у животного; а потом, извлеченное из груди, становилось обычным куском мяса, из которого навсегда ушли и биение, и жизнь. Я думал, что проникаю взглядом в некую тайну, а оказался еще более несведущим.

Ни сейчас, ни прежде, никогда вообще я не был склонен к преувеличенной чувствительности, и мне не помнится, чтобы в разгаре всех своих эмоций я перестал наслаждаться жирным бульоном или прекратил есть рагу из баранины, которое Элизе ставила передо мной; потому что я тоже считал, что **это хорошо**. Я стал вполне сознательным пособником Жоада и, как и он, чувствовал себя невиновным. Я осознал, что мне нашлось место в навечно установленном распорядке вещей, в котором земля принадлежит траве семяносной, трава — животным, кормящимся ею, животные — человеку, чтоб он убивал их и питался ими, и, наконец, человек — чтоб воспевать хвалу Всевышнему. Это движение, казалось, было определено раз и навсегда, как движение небесных сфер или движение четвертой луны, и **было очень хорошо** иметь глаза, чтобы видеть, и разум, чтобы понимать все это; но это не было и не могло быть частью идеала справедливости, который был дан мне и который я сделал своим идеалом.

Безусловно, для человека было **очень хорошо** есть баранину; было ли это **столь же хорошо** для барана? Поскольку бараны никогда не могли высказать свое мнение по данному вопросу, проблема решалась сама по себе, даже до того, как ее поставили. Самым тяжким для меня в это время было то, что я ни с кем не мог поделиться. Жоад жил вне сомнений. Отец посмеялся бы надо мной и отослал бы меня к Священному Писанию. В школе вопросы следовало ставить публично; хорошо бы я выглядел перед классом: в ответ мне наверняка просвистела бы розга. Я оставался наедине со своей мукой; я терялся в мыслях днем; я видел их во сне ночью.

А что, если бы Провидение по своей непостижимой воле сделало

бы меня не тем, кем я был, а бараном или теленком? Может быть, именно для того, чтобы понять их, я ходил к дяде Жоаду смотреть, как они умирают обескровленные? Может быть, именно для того, чтобы найти их ответ, я принялся потрошить их сердца? Можно ли быть уверенным, что жертвы не чувствовали при входе во двор запах смерти, этот тошнотворный и сладковатый дух, который я ощущал уже у ворот? Ни одна из жертв не делала даже малейшей попытки бежать; но что можно поделать против пут, против силы, против того, что предрешиено?

Я видел впоследствии, как стражи толкали Жоада к виселице, чтобы повесить его за шею и так умертвить; он тоже, когда увидел виселицу, сделал только едва уловимое движение назад — оно длилось всего лишь одно мгновение — перед тем, как покориться. Может быть, для эмира было **хорошо** предать смерти Жоада; вся иудерия Кордовы, включая жертву, обошлась бы без этого. А я, бессильный свидетель, еще безбородый юнец, любивший своего дядю, как старшего брата, я силился держать глаза открытыми, чтобы не упустить ни одной судороги, потому что, может быть, в этой агонии был ответ на вопрос.

Я не осмелился сформулировать этот ответ, но он несомненно уже был во мне. То, что мир был создан и ему была придана форма, как думают наши мудрецы, или что он сам по себе существовал извечно, как утверждают некоторые философы (и в этой дилемме главное разногласие нашего века, а может быть, — и всех веков) — **это не хорошо**. Мой зарождающийся здравый смысл восставал против оценочного суждения. Как согласиться с этим божественным самоудовлетворением, изложение которого — ложь? Волк и агнец никогда не будут жить вместе; только на быстроту своих ног может рассчитывать газель, если хочет спастись от голодного льва. Мир таков, каков он есть, а мне нужно было еще многое узнать, чтобы лучше разобраться и увидеть хоть некоторые из тех темных сил, которые сходятся и расходятся волнами, не имеющими начала и конца.

Взгляд свыше, рассудивший, что это **очень хорошо**, или ничего не видел или пытался ввести нас в заблуждение. Потому что я не мог считать, что **хорошо**, когда человек властвует над животным, большой над малым, сильный над слабым, богатый над бедным, один народ над другим, одна вера над другой, и так было, и никакая буря гнева никогда не проносилась над всем этим, чтобы установить настоящий порядок.

Если верить тому, что написано, вина лежит на нас, и не хорошо, что человек не устоял перед искушением; за это он был наказан. Мое искушение состояло в желании знать, а это начало всякого зла на земле, как говорили наши мудрецы. Считается, конечно, что блаженны неразумные. Но незнание может только не знать о существовании зла, но не бороться с ним. Я же был убежден в необходимости одержать верх над злом. Так, незаметно, понемногу, я входил в мучительный круг вечного проклятья.

Никто из окружающих не подозревал о моих муках, за исключением, может быть, Жоада, который догадывался о них, созерцая поверхность душевного водоворота. Жоад был очень внимателен ко мне. Я был сыном его умершей сестры, к которой он испытывал нежность, как я начинал испытывать нежность к Давиду. Я был также наследником Маймонов, которые по преданию являлись потомками самого царя Давида. В присутствии Жоада я чувствовал себя облеченным княжеской властью, он становился моим вассалом. Как бы ни был он занят неотложной работой, он всегда находил время, чтобы самозабвенно объяснить все, что я хотел знать, и никогда не принимал того снисходительно-высокомерного тона, которым взрослые так охотно говорят с подростками. Впервые в жизни я встретился с мужчиной, который несмотря на свой рост, силу и возраст не пытался подавить меня и уважал меня таким, каким я был.

Хотя он носил имя знаменитого полководца и ежедневно проливал потоки крови, он пребывал в глубоком мире с собой. Каждый день после своей грязной работы он мылся, обильно поливая тело водой, потом усаживался за Книгу, которую полностью прочитывал каждый год. Он знал Тору наизусть и в точности выполнял все ее предписания. В противоположность многим простым людям Кордовы, у него были блестящие белые зубы. "Это от запаха мяса", — объяснял он, весело смеясь. Даже сразу после купанья от его заросшего рыжими волосами тела исходил запах пота. Он говорил медленно, как бы подталкивая слова руками резника, и часто высказывал глубокие мысли.

О явлениях природы, которые были ему близки; о животных, его друзьях, язык которых он, по его словам, понимал. Кроме двора резника, где он родился и который он в назначенный час оставит старшему из сыновей, он владел тремястами баранами, которых пастухи и собаки пасли на склонах сьерры и которых на холодный период он запирали в овчарне, примыкавшей к двору.

Жоад был человеком зажиточным, и сумма, которую он выплачивал моему отцу, ничего для него не значила. Проситель никогда не уходил от него с пустыми руками. Он заказал мне в Толедо ножик с двенадцатью лезвиями, который я храню до сих пор. В каждое из моих посещений его жена настойчиво пичкала меня лакомствами, и если у меня иногда бывали деньги, то только потому, что Жоад незаметно опускал их в мой карман.

Эти посещения не могли не нарушать в какой-то мере мою школьную жизнь; случалось, что я иногда пропускал уроки, и об этом в тот же вечер ставили в известность моего отца. Я ожидал бури; она не разразилась. В первый раз меня удостоили только пристального взгляда; затем последовали глубокие вздохи, которыми отец выражал свое разочарование. Резники во мне вновь смыкали ряды. Еще прежде, раз и навсегда, отец решил, что я — утенок, попавший в гнездо лебедя; вот почему мои поступки не совсем удивили его. Все же однажды вечером, на неделе, когда мои пропуски умножились, он заговорил со мной.

“Ты бродишь вокруг дома, — сказал он мне; — ты неходишь в него. Я боюсь за тебя, как бы ты не остался на всю жизнь вне дома”.

Я чувствовал себя странно спокойным, отвечая ему.

“Рабби, — сказал я, — говорит аллегориями, как Книга; я тоже объяснюсь аллегорией. Верно, что я брожу вокруг чего-то. Что такое дом? Закрытое пространство, отделенное от открытого пространства. Мне нужно сначала познать и испробовать предметы, которые я хочу взять с собой в дом, а они рассеяны повсюду в бесконечности без порядка. Возьму я то или это? Как быть уверенным, что я не совершаю ошибки? В каком направлении двигаться? Открытое пространство не имеет границ; у дома тесные границы; раз расставив мебель, уже ничего нельзя изменить. Я бродяжничаю не из-за легкомыслия, Рабби, мною движет прилежание. Я не творю и не хочу зла. Я ищу его с целью помочь изгнать из его логова”.

Отец долго молчал.

“То, что ты хочешь узнать, — сказал он, наконец, — уже давно написано. Многие незаурядные люди до тебя проверили, что следует взять и что следует оставить. Достаточно последовать их примеру. Никакая твоя мысль не может быть новой. Все они уже были прощупаны, взвешены, им была придана форма, никакая ошибка не смогла прокрасться, таково учение, таков дом, который предлагают тебе для жилья, и ты колеблешься?”

Опершись локтями на стол, мой брат Давид удивленно моргал. Никогда еще он не слышал таких долгих и серьезных разговоров за столом. Элизе застыла в странной позе ожидания.

“Я не отрицаю, — сказал я, — глубокие достоинства нашего учения. Оно существует уже пятое тысячелетие; мир изменился; оно — нет. Из века в век оно требует тысячи страниц комментариев, столько есть в нем неясностей, архаизмов, противоречий, столько в нем ссылок на положения и события, которые выпали из памяти народа и значение которых утрачено. Но оно вместе с тем представляет собой нашу землю — Израиль, которая везде с нами; и в любом месте оно восстанавливает наш старый союз; и в этом смысле ему нет равного. Мы — завязь и плод этого учения, и в полном соответствии с Законом оно — мое. Чем же я виноват, если оно только наполовину удовлетворяет мой голод и мою жажду познания?”

Отец расчесывал пальцами бороду. Взволнованный, он все же внимательно слушал меня.

“Каковы же твои намерения?” — спросил он наконец.

Мой ответ зрел уже давно; он был готов.

“Рабби, меня привлекает светское обучение. Я хочу учить математику и геометрию, астрономию и естественные науки, логику и метафизику, медицину и политику. Если у моей программы есть начало, то конца у нее нет”.

Отец медленно склонил голову. “При условии, — сказал он, — что ты не будешь дотрагиваться до этих книг в субботний день. Завтра же я найду кого-либо, кто обучит тебя геометрии и астрономии по всем правилам”.

“Благодарю, Рабби, — сказал я. — Благодарю от всего сердца. Не нужно никого искать. Я уже нашел себе учителя”.

Мне показалось, что отец знает. Несомненно, он предпочел не говорить со мной об этом.

*Перевела с французского
Регина Ляндю*

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

С этого номера мы начинаем публиковать документальную повесть о делах израильской разведки. В центре повести — история борьбы этой разведки с палестинской террористической группой “Черный сентябрь”.

Извечный вопрос — с чего начать? Одни начинают историю израильской разведки из глубины веков, с лазутчиков, посланных Йошуа Бен-Нуном в Йерихо; другие более скромно ведут рассказ от 1948 года, когда был основан “Мосад”. Но мы, пожалуй, начнем позже всех — с одного из осенних дней 1981 года.

Итак, стоял осенний день 1981 года. На квартире американского журналиста Джорджа Ионаса раздался телефонный звонок. Звонили из крупной издательской фирмы. Ионасу предлагали встретиться с “любопытным человеком”, который утверждал, что у него есть интересная история. Нельзя ли из нее сделать книгу?

После долгих уговоров о месте встречи, оно было, наконец, выбрано, встреча назначена и история — рассказана. Она оказалась настолько невероятной, что журналист и издатели дважды перепроверили ее — по своим каналам, разумеется. Но и двойная проверка подтвердила, что “любопытный человек” со своей незаурядной истори-

Рафаил Блехман

МОСАД, АМАН, И ВСЕ ТАКОЕ...

ей — именно тот, за кого он себя выдавал: первый в истории израильской разведки ее агент, “пришедший с холода” и решившийся рассказать о себе.

* * *

В тот день “Авнер” — будем называть его вслед за Ионасом именно так — вернулся в Тель-Авив с очередного задания из-за границы. Рейс был вечерний, он торопился домой и потому не особенно обрадовался, увидев, что его встречает начальник отдела.

“Как дела? — машинально поинтересовался шеф. — Я заглянул сказать тебе, чтобы ты ничего не назначал на завтра”. — “Я рассчитывал отоспаться...” — недовольно пробурчал Авнер. “В чем же дело? — фальшиво удивился шеф. — Кто тебе мешает?”

Назавтра у дверей позвонили ровно в девять. Авнер удивился, когда увидел ожидавшую его машину — она принадлежала самому “мемуне” — главе Мосада генералу Цви Замиру. Еще более удивился он, увидев на заднем сидении самого генерала.

До тех пор Авнер встречал Замира лишь дважды — на коротком инструктаже после окончания школы разведчиков и в самолете, когда сопровождал его в качестве телохранителя в Рим.

Авнер был одним из тех агентов, которых в начале 70-х годов Мосад начал направлять на израильских самолетах для защиты от террористов. В дополнение к этим прямым обязанностям ему время от времени поручали также наблюдение в аэропортах, куда прилетали и откуда улетали корабли “Эль—Аль”. Однажды в Париже ему приказали изучить планировку аэропорта Орли, оценить свободу доступа ко всем входам и выходам, выяснить, какие виды служебного транспорта имеют разрешение выезжать на поле, определить, где размещены телекамеры, какие из них настоящие, а какие — для видимости, проследить за процедурой смены дежурных на паспортном и таможенном контроле. Другой раз, в Афинах, задание было иное: провести утро, свободное от рейса, вблизи арабского посольства, понаблюдать за тем, какие машины, с какими номерами въезжают и выезжают из ворот, выяснить, не появился ли поблизости человек, фотографию которого Авнеру заранее показали в Тель-Авиве.

Авнер пришел в Мосад из парашютных частей; когда-то его отец

тоже работал для Мосада и, возможно, именно это послужило начальной причиной, почему Мосад заинтересовался и самим Авнером. Вместе с другими новичками он был послан на курсы.

Большинство инструкторов составляли молодые израильтяне; исключением был 60-летний Дэйв, американец, который вел стрелковую подготовку. Впрочем, назвать это просто "стрелковой подготовкой" означало бы ничего не сказать — это была, скорее, психологическая подготовка стрелка. И не просто стрелка — после армии Авнер как-никак умел обращаться с оружием — а стрелка-мосадовца.

"Ты не полицейский какой-нибудь, — учил Дэйв. — Ты агент. Секретный агент. Если ты выхватываешь револьвер, чтобы пригрозить кому-нибудь, — ты уже разоблачил себя. Ты никогда не должен выхватывать револьвер, чтобы угрожать. Если ты выхватываешь револьвер, ты должен стрелять. И если ты стреляешь, ты убиваешь".

Это Дэйв настоял на том, чтобы все агенты Мосада были перевооружены маленькими "Береттами-22" — бесшумными, удобными револьверами, из которых можно было стрелять даже в кабине реактивного лайнера без риска продырявить обшивку и нарушить герметизацию. "По-твоему, это маленький револьвер? — деланно удивлялся он. — Тебе нужен побольше? Может, ты собираешься охотиться на слонов? Может, ты собираешься остановить танк? Нет? Тогда уверяю тебя — чтобы остановить человека, этого достаточно".

Курс по фальшивым документам вел аргентинский еврей по имени Ортега. Он тоже был мастером своего дела. Однажды он велел новичкам сделать подчистку в розданных им паспортах и вернуть ему, не указывая, на какой странице она сделана. Все паспорта в его руках сами собой открылись на подчищенных страницах. "Это очень просто, — объяснил Ортега. — Вы так тщательно трудились над этими страницами, что надолго разогнули паспорта именно на них".

Но они не сумели найти страницу, подчищенную самим Ортегой. "Это очень просто, — терпеливо объяснил Ортега, глядя на их сконфуженные лица. — Дело в том, что любой паспорт в с е г д а открывается на какой-нибудь странице. Нужно смотреть не на паспорт, а на человека, подающего его. Вы листаете паспорт, и в какой-то момент в глазах человека вспыхивает напряженный блеск.

Но и это само по себе еще недостаточно. Блеск нужно **расшифровать**. А для этого нужно шестое чувство. Без него нет разведчика”.

У Авнера было это шестое чувство: не просто наблюдательность, а способность выделить в наблюдаемом **необычное**. Это особенно помогло ему во время курса “сбор информации”. Курсантов посылали в недалекие поездки — например, в Хайфу. “Поезжайте автобусом, посидите до 4-х в холле такого-то отеля, потом вернетесь и расскажете все, что увидели. Ничего не добавляйте, ничего не объясняйте, попросту расскажите все, что запомнили — и постарайтесь запомнить все!” Зачастую в эти поездки направлялись двое курсантов, не знавших друг друга. Если по возвращении их доклады сильно отличались, инструктор коротко говорил: “Вот что, ребята, отправляйтесь-ка в соседнюю комнату и там сговоритесь...”

Курсы фотографии; связи, диверсий, кодов и контактов — за 6 месяцев новичков накачали всеми достижениями, которыми славился Мосад. Включая психологию. Психология была составной частью каждого курса. Без нее нельзя было и начинать работу. Скажем, вам нужно организовать слежку за кем-то. В Париже или Амстердаме в такую слежку лучше отправлять молодую пару, чем одинокого пожилого человека, и напротив — в Сицилии или на Корсике одинокий мужчина с газетой лучше, чем пара “молодоженов”. После объяснений все это казалось самоочевидным, но ведь нужно было предвидеть это заранее — и без подсказки. Когда Авнера в первый раз послали следить за другой машиной (в которой был его инструктор), он ожидал бешеной гонки с препятствиями и меньше всего оказался готов к тому, что инструктор ехал со скоростью катафалка, старательно показывая каждый поворот, пока почти не остановился на желтый свет — чтобы тут же “выстрелить” машину через запруженный перекресток, когда свет сменился красным... Это был простой, но впечатляющий урок.

Никаких специальных экзаменов не было — просто через 6 месяцев они перешли к полевым занятиям, в которых инструкторы оценивали, кто из будущих агентов подходит — и для какого дела. Авнер так и не узнал, кто из его товарищей прошел тест. Вскоре его направили на заключительные инструктажи, где речь шла главным образом о деталях работы и отчетности. Он узнал кое-что интересное, но не получил никаких “откровений”. Лишь один инструктаж оказался особенным. Человек, который его проводил, напоминал Бен-Гуриона в старости и мог бы служить моделью для художника, который задумал изобразить типичного “еврейского

скрягу". Старик показал Авнеру на разложенные по столу тома и спросил: "Знаешь, что это? Это бухгалтерские книги. Я тут сижу и веду их, потому что мы хотим знать, сколько денег ты истратил и на что. Я говорю тебе об этом, потому что кое-кто думает, будто он отправляется в шикарную заграничную командировку за счет государства Израиль. Так вот — я хочу квитанции. Ты берешь катер, прекрасно — представь квитанцию. Ты заказал такси, замечательно — представь квитанцию. И если ты берешь такси или катер, постарайся, чтобы это было действительно необходимо. Потому что я спрошу, зачем. Если ты можешь обойтись без — обойдись без. Возьми метро. Возьми автобус. Иди пешком! Иначе я вычту эти деньги из твоей зарплаты. Пойми меня правильно: если это нужно для работы — значит нужно. Но в этом деле важна работа, а не твоя персона. Для меня ты не герой, что бы ты ни сделал, для меня ты — подотчетное лицо. Если ты доставишь мне сюда самого Гитлера в наручниках, я скажу — очень хорошо, а где квитанции? Запомни, — ты работаешь не для барона Ротшильда. Ты работаешь для Израиля. Ты понял?"

В это сентябрьское утро, спустя два года после окончания курсов, Авнер, который уже считал себя ветераном, тщетно гадал, что означает приглашение в машину генерала Замира. Израиль, конечно, эгалитарная страна, но присутствие рядом шефа тайной разведки все-таки не вполне заурядное событие. Авнер строил догадки всю дорогу до Иерусалима. Но когда они подъехали к знакомому дому, и вошли в него, и Авнер увидел на стене знакомые фотографии, — он оставил всякие попытки понять, что происходит.

Голда Меир вошла в комнату с чайником в руках, в туфлях на босу ногу. Сквозь приоткрытую дверь Авнер мог видеть кухню — на плите кипел второй чайник. "Как дела? — спросила госпожа премьер-министр государства Израиль. — Ну, я очень рада слышать. Все здесь знакомы?"

Только тут Авнер увидел, что в комнате был еще один человек. Этого человека он знал. Этим человеком был шеф военной разведки генерал Аарон Ярив.

"Чай? Кофе? Фрукты?" — спросила Голда. И дождавшись, пока все усядутся, начала говорить.

Она говорила об истории. О том, что на протяжении всей истории евреев всегда преследовали и вот — их снова преследуют сейчас, их убивают в самолетах, в аэропортах, на автобусных остановках.

И никто не приходит им на помощь. Евреи могут полагаться только сами на себя. И на свое государство, которое создано, чтобы их защищать. В этой защите Израиль всегда соблюдал свои моральные принципы, никогда не опускался на уровень террористов и не опустится сейчас. Он сделает "это" без лишней жестокости. Не подвергая риску невинных лиц. Но решительно.

Тут Голда впервые посмотрела на Авнера. "Я хочу, чтобы вы знали, что я приняла решение. Ответственность я беру на себя. Детали вы можете обсудить между собой". И она вышла.

Тишину нарушил генерал Замир. "Ты, конечно, понимаешь, — сказал он, тоже не глядя на Авнера, — насколько важно все, что ты сейчас услышал. Теперь вопрос — берешься ли ты за это дело?" И, оборачиваясь к вернувшейся в комнату Голде, Замир добавил, как бы отвечая на ее безмолвный вопрос: "Ну, мы тут, кажется, все решили. Он даст окончательный ответ завтра, но... в принципе все уже решено..."

Десять дней спустя Авнер был уже в Женеве...

* * *

Покинем здесь журналиста Ионаса и его героя, чтобы вернуться в прошлое — на две недели назад и на несколько тысяч километров на запад, в город Мюнхен.

Говорят, что "Калашников" был изобретен каким-то сибирским крестьянином. Судя по простоте конструкции, эта легенда имеет под собой некоторые основания. Темное дерево приклада прерывается всего двумя вставками из тусклого серого металла. Центральная металлическая секция содержит спусковой и заряжающий механизмы; магазин выступает вниз и чуть вперед, изгибаясь по плавной кривой. Он содержит 30 патронов калибра 7,62 мм. В автоматическом режиме "Калашников" способен выпустить 100 таких патронов в минуту со скоростью 2500 километров в час. С короткого расстояния такая очередь буквально перерезает человека пополам. Этот автомат выпускается в различных вариантах в СССР и странах советского блока. 5 сентября 1972 года несколько таких автоматов были извлечены из промасленных тряпок и вручены восьми террористам из группы "Черный сентябрь", которые направлялись на очередную операцию. На этот раз их целью был дом на Коннолиштрассе 31, где размещались израильские спортсмены, прибывшие на Мюнхенскую олимпиаду.

В 4 часа утра террористы проникли через проволочную изгородь, окружавшую Олимпийскую деревню. В 4.25 они вставили ключ в замочную скважину секции № 1 на Коннолиштрассе. Первым, кто услышал их возню с ключом, был израильский тренер по борьбе Иосиф Гутфрейд — гигант, весивший около 120 килограммов. Уловив несколько слов, сказанных по-арабски, он крикнул "Опасность!" и попытался удержать дверь. Арабам пришлось свернуть ручку и сорвать дверь с петель, прежде чем им удалось ворваться в комнату. За это время сосед Гутфрейнда Тувия Соколовский успел выломать окно и выпрыгнуть в него. Четверо остальных жильцов секции бежать не успели. Они увидели направленные на них автоматы.

Оставив захваченных под охраной, террористы начали систематически обследовать дом. Они почему-то миновали секции 2, 4 и 5, зато в секции 3 захватили еще шестерых израильских спортсменов. В это время в секцию номер 1 вернулся загулявший на поздней вечеринке тренер Моше Вайнбергер. Прежде чем арабы свалили его выстрелом в лицо, он успел вывести из строя одного из них. Воспользовавшись суматохой, еще один израильтянин, Гад Зобари, бросился к окну и, несмотря на автоматный огонь, благополучно выбрался из комнаты. В это время окровавленный Вайнбергер снова поднялся с пола и повалил еще одного араба. Тогда террористы выпустили ему в грудь целую очередь. Однако в схватку бросился новый израильтянин — Иосиф Романо. Он выхватил у одного из террористов нож и нанес ему удар в руку. Отшатнувшись, араб нажал на спусковой крючок. Тело Романо развалилось надвое.

Но и это был не конец. Вайнбергер еще не отказался от последней попытки. Он мог бы в суматохе выползти через кухню, но вместо этого предпочел вернуться в комнату и, вооруженный кухонным ножом, атаковал террористов. Лишь на этот раз выстрел в голову свалил его окончательно.

Было 5 часов утра. За 35 минут террористы убили двух израильтян и захватили девятерых. Двое бежали. Еще восьмерых террористы не обнаружили. За все это время служба безопасности не подняла тревогу. Выстрелы и шум не привлекли ее внимания. Только когда двое израильских беглецов добрались до полиции, стало ясно, что в Олимпийской деревне орудуют террористы. Они заарриковались в доме № 31, предварительно выбросив на улицу тело Вайнбергера. На самой двери красовались их требования, отпечатанные в нескольких экземплярах по-английски. Они требо-

вали освободить две с лишним сотни их сотоварищей, находившихся в израильских тюрьмах, а также Баадера и Майнхоф из знаменитой западногерманской террористической группы. Они требовали также предоставить им три самолета для переправки в "безопасное место" — желательно, в Каир.

Последовали долгие переговоры. Израиль наотрез отказался удовлетворить требования террористов. Правительство ФРГ было готово выпустить Баадера и Майнхоф. В 8 часов вечера на экранах телевизоров появился канцлер ФРГ Брандт, который выразил надежду на успешный исход переговоров и на то, что Олимпийские игры не будут прерваны: это, сказал он, означало бы моральную победу террористов. Странная логика. Но как бы то ни было, Брандт все же попытался как-то отреагировать на захват израильских спортсменов — он предложил всем странам приспустить свои флаги. Однако после протеста арабских делегаций канцлер отказался и от этого жеста.

В 10.20 вечера террористы и их заложники в двух вертолетах были переправлены в аэропорт. Хотя правительство ФРГ по соглашению с Иерусалимом уже решило к этому времени, что не даст террористам вылететь в Каир, не было сделано никаких попыток устроить им засаду на пути к вертолетам. Как выяснилось позже, это была последняя возможность.

В 10.35 вертолеты приземлились рядом с Боингом—727, якобы подготовленным к отлету. Четверо террористов вышли осмотреть самолет. В этот момент немецкие полицейские — с дальней дистанции и при искусственном вечернем освещении — открыли по ним огонь.

Несколько террористов было ранено; другие открыли ответный огонь и ранили двух членов экипажа. Как ни странно, они не попытались тут же убить израильтян. Лишь около полуночи, когда шесть полицейских бронемашин вышли из-за укрытия, намереваясь атаковать вертолеты, один из террористов бросил гранату в первый вертолет, где находились пятеро заложников. Вертолет взорвался, превратившись в огненный шар. Почти одновременно двое других террористов очередями из автоматов расправились с четырьмя остальными израильтянами, находившимися во втором вертолете. Позднее следствие установило, что если бы атака задержалась хоть на несколько минут, эти израильтяне, возможно, сумели бы спастись. Каким-то образом они ухитрились ослабить державшие их ремни. Несомненно, освободившись от ремней, они попытались бы

захватить террористов врасплох и завладеть их оружием. Что успели сделать остальные пятеро, никто уже не узнает — их тела обгорели до неузнаваемости.

Последний из оставшихся в живых террористов отстреливался еще около часа. Только в половине второго ночи его удалось окружить и прикончить.

На следующий день Олимпийские игры продолжались, как обычно. Первое место в том году занял Советский Союз с 50 золотыми медалями.

Трупы израильских спортсменов были доставлены на родину. Страна требовала возмездия. Две недели спустя Голда Меир приняла "решение", о котором услышал в ее комнате Авнер. Оно состояло в организации ударных групп Мосада, которым поручалось ликвидировать ближневосточную верхушку и европейских связанных группы "Черный сентябрь". В списках, выданных ударным группам, числилось 11 имен — по числу погибших спортсменов. "Миссия" Авнера состояла в руководстве одной из групп, которой предстояло действовать в Европе.

* * *

Теперь нам придется вернуться в еще более далекое прошлое, чтобы разобраться, что представляла собой организация, взявшаяся за такое неслыханное дело — настичь и уничтожить 11 террористов, повинных в убийстве 11 израильтян. Я говорю "неслыханное", потому что ни одна разведка мира никогда еще не пыталась вступить в единоборство с террористами на их собственной "почве", их собственными методами и — сложнее всего — со всеми теми ограничениями, которые накладывали на операцию такого рода моральные принципы цивилизованного государства. До тех пор все западные правительства реагировали только на совершившиеся террористические акции в ходе их совершения — как это сделало правительство канцлера Брандта в ФРГ. Выйти навстречу террористам, отомстить им, утратить и расстроить их будущие планы — за такое дело могла взяться, пожалуй, только израильская разведка. Знаменитый к тому времени Мосад.

Вообще говоря, слово "Мосад" означает просто "учреждение", "институт". Применительно к тайной агентурной работе это слово впервые прозвучало в Израиле в 1937 году. Это было в доме Элиягу Голомба, одного из создателей подпольной вооруженной органи-

зации еврейских поселенцев в Палестине, Хаганы. А произнес слово человек замечательный и необыкновенный — уже хотя бы потому, что о его заслугах перед израильской разведкой и еврейским государством до самой его смерти многие так и не узнали. Звали этого человека Шауль Авигур. Он был первым, кто предложил организовать секретную службу по переброске нелегальных репатриантов из Европы в Палестину. То было время, когда английские мандатные власти уже начинали — в угоду арабам — жестко ограничивать въезд евреев в свою страну. Авигур предложил создать “учреждение”, Мосад, для “алии бет”, то есть нелегальной репатриации (легальная называлась “алия-алеф”). Из этого учреждения “Мосад ле алия-бет”, а также из другого, по имени “Рекеш”, которое — тоже под началом Авигура — занималось добычей оружия для евреев Палестины, — и родился впоследствии тот Мосад, о делах которого мы намерены рассказать.

Шауль Авигур родился в 1899 году в Двинске и приехал в Палестину в 1912 году. Мне еще посчастливилось повидать его в 1975-м, незадолго до его смерти. Я тогда только что приехал из СССР и мне сказали, что меня почему-то хочет видеть “сам Авигур”. Мне ничего не говорило это имя и тем более не сумел я признать великого израильского разведчика в спокойном, очень вежливом, весьма живом старике, который — вместе с удивительно милой старушкой-женой — подробно расспрашивал меня, за чашкой чая с печеньем, о делах в Союзе, о настроениях евреев, о моей собственной судьбе. Потом мне показывали фотографии из семейного альбома — какие-то сцены пасторальной кибуцной жизни, и я ушел из дома Авигуров, уверенный, что повидался с каким-нибудь “ветераном” борьбы за репатриацию евреев из СССР, которого — из уважения к старости — меня попросили навестить. Мне еще думалось на обратном пути: вот, какую тихую, какую идиллическую жизнь прожили эти старики в своих кибуцах в то время, как мы-то! — еврейский самиздат, КГБ, обыски...

Шауль Авигур действительно был “ветераном”, а точнее — первым в борьбе за репатриацию советских евреев, и начал он это дело сразу же после войны, заслав своих агентов на территорию “неприступного” Советского Союза; и он же был тем, кто в последующие годы не переставал думать о советских евреях и докучать Бен-Гуриону (у которого был личным советником) “этим делом”, то есть нашим с вами освобождением. И если это освобождение наступило и массовая алия (уже не “бет”, а “алеф”) из СССР стала

реальностью, поверьте, — многое тут было подготовлено Авигуром. Если не верите — спросите у его преемника. Он тоже сейчас живет в кибуце (как жил — после отставки — Авигур) и зовут его Нехемия. Правда, многие почему-то считают его виновным в “провале” нашей алии. Бывает и такая слепота...

Но главной заслугой Авигура перед еврейским государством было то, что он стал первым из легендарных руководителей израильской разведки. В большинстве своем они действительно заслуживают этого эпитета — и Авигур, и несравненный Исер Харель — “маленький Исер” в отличие от “большого”, Исера Беера, — и Цвика Замир, руководивший уничтожением террористов в Европе и Ливане, и Ювал Неeman по прозвищу “Башковитый”, который чуть не в одиночку перевел израильский “Аман” (военную разведку) на “электронные рельсы”, и скромный Иешофат Харкави, и тихий Аарон Ярив — любимец журналистов, и твердый Меир Амит, и многие другие. Но первым был Авигур. О нем рассказывали, что одному помощнику, который сказал, что работает по 18 часов в сутки, Авигур озабоченно ответил: “Да, да, ты прав, мы слишком много спим, с этим пора кончать”. И еще о нем рассказывают, что когда дочь попросила его прислать ей в Лондон свежие израильские газеты, он надписал на пакете: “Строго секретно, лично”. А принимая какого-то английского журналиста и не сумев в разговоре с ним подыскать нужное английское слово, он открыл сейф в стене, вынул из почти пустого ящика сейфа англо-ивритский словарь, нашел слово и, вернув словарь на место, так же тщательно запер сейф на секретную комбинацию.

Может быть, именно этим отношением Авигура к сохранению тайны молодая израильская разведка и была обязана своими первыми успехами. Едва союзники освободили Италию и Францию и вошли в Германию, как по их пятам в Европу направились люди Авигура, чтобы создать там фиктивные компании и фирмы под иностранными именами, наладить связи, установить контакты, собрать вышедших из лагерей евреев и добыть — порой самыми причудливыми методами — остро необходимое Хагане оружие. Тогда Авигур задумал и провел одну из самых блистательных своих операций, которая вошла в историю израильской разведки под кодовым названием “Кража”.

В феврале 1948 года Авигур, находившийся тогда в Европе (у него были там две штаб-квартиры — в Женеве и Париже) направил одного из своих помощников, Эхуда Авриеля, в Чехословакию,

чтобы попытаться закупить там оружие для готового вот-вот родиться еврейского государства, которое уже понимало, что ему с первых же дней придется иметь дело с несколькими арабскими армиями. Спустя несколько дней в Париж из Праги пришло отчаянное сообщение. Авриель обнаружил, что его обогнали. За какие-нибудь считанные недели до него в Чехословакии уже побывал сирийский капитан Керине, который закупил огромную — по меркам Хаганы — партию ружей и патронов к ним. Партия насчитывала 6000 винтовок. Достаточно сказать, что на вооружении всей Хаганы находилось тогда 10.000! Мало того — Керине закупил также ручные гранаты и много взрывчатки — в целом, достаточно, чтобы вооружить три пехотных батальона, которые могли с легкостью захватить почти незащищенные еврейские поселения и открыть сирийцам путь в Галилею.

Когда Авигур доложил о случившемся Бен-Гуриону, тот ни минуты не колебался. Оружие никоим образом не должно попасть в руки арабов. Следовало сделать все возможное, чтобы его уничтожить. Так родилась операция “Кража”.

Керине зафрахтовал старенький итальянский пароход “Лино”, погрузил на него закупленное в Чехословакии оружие, и к моменту начала израильской операции “Лино” уже вышел в открытое море. Как его остановить? Кое-кто в окружении Авигура предложил использовать для этого те немногие и полуразвалившиеся самолеты, которые были тайком закуплены Хаганой в Италии. Поскольку самолеты эти не были предназначены для бомбежки, было предложено, чтобы они спустились над палубой “Лино” и пилоты вручную сбросили бомбы из кабин, предварительно сняв предохранитель. Скорее всего, бомбы взорвались бы при этом в кабинах, но отчаяние людей Авигура было столь велико, что план был принят и самолеты начали обшаривать море у итальянских берегов.

Три дня они вылетали впустую и отчаяние все нарастало, но на четвертый день, 30 марта, от авигуровского агента из Югославии пришла шифрованная телеграмма, в которой сообщалось, что “Лино” по неизвестным причинам задержан и возвращен обратно в порт. Радость однако была преждевременной: еще через день от того же агента пришла вторая телеграмма — “Лино” снова вышел из порта и держит курс на Бейрут.

На сей раз в дело вмешалась погода: 1 апреля в Адриатике разразился такой шторм, что капитан “Лино” решил не рисковать и повернул к берегам. В небольшом итальянском порту Мольфетта

он стал на якорь. Теперь, если бы удалось задержать его там хотя бы на несколько дней, подрывники Авигура могли бы подвести к его днищу свои подводные мины. Но как задержать корабль в порту?

Искомое решение пришло в голову Аде Серени, вдове погибшего Энцо Серени, который был расстрелян гитлеровцами в Дахау после того, как был сброшен за линией фронта для разведки в пользу союзников. Ада стала сотрудницей Авигура. Именно ей принадлежала мысль о простой, но весьма эффективной дезинформационной операции.

В то время Италия стояла накануне парламентских выборов, в которых главными соперниками были христианские демократы и коммунисты. Обе партии обвиняли друг друга в стремлении к диктатуре и других смертных грехах. Каждая считала, что другая готовится к вооруженному восстанию. Поэтому Ада Серени рассчитала совершенно правильно, когда позвонила знакомому итальянскому журналисту и "по секрету" сообщила ему, что "коммунисты нагрузили оружием корабль "Лино", который только что пришвартовался в Мольфетте". Через несколько часов об этом уже трубили все итальянские газеты. Правительство немедленно распорядилось арестовать корабль с его грузом.

4 апреля "Лино" был под конвоем доставлен из Мольфетты в Бари. Теперь наступила очередь подрывников. Море было холодным и бурным. Несмотря на это группа Иосифа Дрора, срочно прибывшая в Бари под видом американских саперов, начала операцию. Но на этот раз судьба отвернулась от израильтян. Когда подрывники Дрора приступили к обследованию гавани, они с ужасом обнаружили, что рядом с "Лино" стоит британский крейсер. Тем не менее они ушли под воду. Им удалось подойти к "Лино" на расстоянии нескольких метров. Но ближе они подойти не сумели — на крейсере были включены все прожекторы, которые тщательно ощупывали гавань.

На следующий день, 9 апреля, израильтяне сделали новую попытку. Но активность на борту британского крейсера была еще большей: горели все бортовые огни, слышались голоса и даже выстрелы — и подрывникам пришлось опять удалиться, не достигнув успеха.

Причина шума на борту крейсера выяснилась той же ночью. Вскоре после полуночи крейсер вдруг поднял якорь и начал величественно выходить из гавани. Теперь "Лино" становился легкой

добычей. В 2 часа ночи подрывники Дрора ушли под воду в третий раз. В 4 часа, на рассвете, под килем "Лино" раздался первый взрыв. За ним последовал второй. К тому времени, как корабль погрузился полностью в воду, группа Дрора уже была далеко от Бари, направляясь в Рим на "конфискованном" американском грузовике.

Увы — история сирийского оружия не кончилась с затоплением "Лино". Полковник сирийской армии Фуад Мардам, который некогда направил Керине в Чехословакию, был настойчивым человеком. Узнав, что "Лино" затонул в гавани Бари, полковник немедленно вылетел в Италию. Две недели спустя Ада Серени — теперь уже официальный представитель только что возникшего государства Израиль в Италии — получила неожиданное и тревожное известие: сирийцы предпринимают усилия, чтобы поднять оружие с борта затонувшего "Лино". Ада срочно выехала в Бари, сославшись на "дипломатические дела". То, что она увидела, ее потрясло. Полковник Мардам рассчитал правильно: оружие, находившееся в промасленной упаковке, не пострадало под водой. И теперь группа водолазов, нанятая Мардамом, срочно поднимала это оружие ящик за ящиком. А итальянское правительство, наученное опытом прежней "дезинформации", усиленно охраняло все подступы к гавани. Попытаться снова проникнуть в нее было бесполезно.

Инструкция Авигура звучала коротко: если невозможно остановить оружие в гавани, нужно остановить его в море. Операция "Кража" снова была на полном ходу.

Полковник Мардам остановился в Бари в небольшом отеле, где останавливались капитаны приходивших в гавань судов. Он сделал это не случайно — ему нужен был корабль для переправки оружия в Сирию. Но в Бари таких кораблей не оказалось. И тогда хозяин отеля посоветовал ему обратиться в римское агентство "Менара". Там Мардар нашел то, что искал. Ему предложили судно под названием "Аргиро", уже укомплектованное капитаном и командой.

Чего Мардам, конечно, не знал — так это того, что хозяин его отеля в Бари был давним знакомым Ады Серени, а агентство "Менара" вот уже несколько лет вело дела с израильянами, переправляя в Палестину нелегальных репатриантов, собранных "Мосадом" Шауля Авигура. Хозяин отеля посоветовал сирийцу действительно "подходящее" агентство.

19 августа "Аргиро" вышел из порта Бари. Незадолго до отплытия капитан обнаружил, что двое из его команды неожиданно

“заболели”. Поэтому он с готовностью принял вместо них двух новичков, предварительно убедившись, что они знают свое дело. Откуда они, капитан спрашивать не стал. Точно так же не стал он проверять документы и у двух других “моряков”, которые вскоре после отплытия корабля догнали “Агриро” на быстроходном катере и представились “египтянами”, посланными из Каира с радиооборудованием для того, чтобы поддерживать непрерывную связь с Египтом во все время рейса.

Судьба “Агриро” была решена. Теперь на его борту были четверо израильских разведчиков, которые располагали оружием, спрятанным в ящике для “радиооборудования”. В течение нескольких минут команда была разоружена и арестована, а капитан получил приказ держать курс на Хайфу. Еще через пару десятков часов “Агриро” был встречен в открытом море израильскими военными катерами. А на следующий день, в сопровождении этих катеров, корабль с сирийским оружием прибыл в Хайфский порт. Операция “Кража” была благополучно завершена. На всем протяжении ее израильтяне ни разу не выдали себя. Они не оставили за собой никаких “следов”.

“Кража” имела однако неожиданные последствия для полковника Мардама. В Дамаске его обвинили в содействии “враждебному государству” и приговорили к расстрелу. И тогда израильтяне предприняли уникальный шаг. Через французское посольство в Тель-Авиве сирийцам было передано секретное сообщение израильской разведки. В нем содержались подробности операции “Кража”, которые доказывали полную невиновность энергичного сирийского полковника. Жизнь Мардама была спасена. Таков был финал авигуровской операции. И одновременно — начало регулярной деятельности израильской разведки. Разведки, родившейся вместе со своим государством.

(продолжение следует)

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Так называемая “демографическая проблема”. Когда я еще учился в школе, в стране было 400 тысяч евреев. Они составляли тогда треть населения. Тем не менее мы верили, что настанет день, когда мы будем составлять большинство. По плану раздела, составленному комиссией Пилиа в 1938 году, евреям выделялось крошечное государство, но и в нем арабы насчитывали почти половину населения. Тем не менее сионистское руководство приняло этот план. Его не останавливала “демографическая проблема”. Бен-Гурион в Билтморской программе заявил о необходимости создания еврейского государства, даже если в нем будет большинство арабов.

Сегодня евреи составляют две трети населения Эрец Исраэль (включая Иудею и Самарию). Это соотношение не изменилось с 1967 года, несмотря на все статистические пророчества, по которым арабское население должно было сравняться с еврейским в течении 20-ти лет. Тем не менее именно сегодня говорят о “необходимости” оставить Иудею и Самарию из-за “арабской демографической угрозы”.

Я рассуждаю иначе. На мой взгляд, первейшая сионистская необходимость сегодня — это еврейское заселение Иудеи и

*Ювал Неэман,
профессор, бывший технический
руководитель израильской военной
разведки и министр науки и
развития, ныне — лидер партии
Тхия.*

СИОНИЗМ, КУДА?

*(отрывки из новой книги, перевод
с иврита Г. Тунина и И. Рисса,
сокращенный журнальный вариант)*

Самарии. У арабов есть 21 независимое государство; у палестинских арабов есть государство Иордания, где палестинцев больше, чем в Иудее и Самарии и где они составляют большинство. Слышим ли мы в мире голоса, призывающие Хуссейна "отдать" Иорданию палестинцам? Где были все те, кто поддерживает сегодня идею создания палестинского государства в Иудее и Самарии, в течение 19 лет иорданского правления там?

Между тем для нас создание такого государства означает угрозу уничтожения Израиля. Вторжение нескольких тысяч вражеских танков из Самарии (или с восточного берега реки Иордан через Самарию), которое можно осуществить за 2–3 часа, способно привести к захвату густонаселенных районов Израиля раньше, чем мы успеем мобилизовать резервистов.

США удерживают базу Гуантанамо на Кубе вопреки желаниям кубинцев, потому что она представляет ценность для американской обороны. Безусловно, стратегическая важность Самарии для существования Израиля в тысячи раз превосходит стратегическую важность Гуантанамо для США. Поэтому мы имеем полное право и можем с чистой совестью удерживать Самарию, даже если бы у нас не было на нее никакого исторического права. И тем более следует удерживать и в массовом порядке заселять Самарию, поскольку речь идет об историческом сердце Эрец Исраэль. По существу, от Галилеи до Беер-Шевы через Самарию протянулся горный хребет западной части нашей страны, и тот, кто владеет этим хребтом, владеет всей страной. История показывает, что все завоеватели (израильтяне, арабы), укреплявшиеся на самарийском хребте, владели страной тысячи лет; те же, кто смог овладеть только приморской равниной (филистимляне, крестоносцы), продержались лишь незначительный исторический период.

Самария — оплот безопасности Израиля. С самого момента образования государства Израиль его еврейское население было сосредоточено в трех больших городах и на приморской полосе Гедера-Хадера. Эта концентрация населения всегда составляла серьезную проблему для безопасности страны. В результате усилий, направленных на рассредоточение населения, в 60-е годы удалось до некоторой степени изменить эту картину; был создан даже четвертый, хотя и меньший центр в Беер-Шеве. Тем не менее и сегодня более двух третей еврейского населения все еще проживает внутри дуги Иерусалим — Лод — Хайфа, образующей полосу средней ширины в 10 километров. В этой полосе сосредоточено 76% занятого в

промышленности населения и 70% производства энергии Израиля. Если же продолжить эту полосу до Бейт-Шеана, то внутри нее окажется 75% всех ресурсов Израиля вообще. Не случайно арабы считают эту полосу и особенно ее приморский отрезок главной целью любой войны против Израиля. В распределении населения и конфигурации границ этого района есть определенное сходство с государством крестоносцев (главным образом, на втором этапе его существования, 1154—1270 гг.), и это вызывает тревожные ассоциации.

В центре описываемой дуги жизненно важных центров Израиля находится Самария. Обладающий Самарией может угрожать изнутри всем центрам страны. У Самарии классическая структура стратегического плацдарма, сочетающего в себе оборонную компактность с прямым доступом ко всем важнейшим военным целям. Тот, кто контролирует эту территорию, похож на шахматиста, которому удалось нависнуть над королем противника своими королевой и ладьей.

В Войну за Независимость действия арабских армий не были скоординированы, и каждая из них стремилась добиться успеха исключительно для себя. Сегодня арабские страны уже способны координировать свои действия. Из имеющихся у них на восточном фронте 7000 танков 4000 могут быть направлены в Самарию. Эта сила способна вклиниться вглубь страны уже на начальном этапе вторжения.

Существуют три исторических направления вторжения в Эрец Исраэль: из Египта, с севера и из Самарии. Последнее направление использовал Иошуа Бин-Нун, и его книга дает подробнейший сценарий использования Самарии, как плацдарма, для последующего прорыва из нее ко всем жизненным центрам Ханаана. То, что продолжалось долгие годы во времена Иошуа, может произойти за считанные дни, если речь идет о современных танках.

Для того, чтобы остановить вторжение нескольких тысяч танков, необходима минимальная стратегическая глубина в 10—20 километров. Достаточно вспомнить, что прорыв сирийской танковой колонны на Голанах в 1973 году был остановлен в ходе отступательного боя именно на такой оборонительной глубине. На приморской равнине этой глубины нет, и поэтому концентрированные ударные силы противника, располагающие несколькими тысячами танков, способны относительно легко достичь побережья. Все это диктует необходимость удержания самарийского горного хребта.

Горы важны и в другом отношении. Понятие "обзора" не утра-

тило смысл и в современной войне. Напротив, с развитием электронных средств ведения войны и увеличением радиуса действия современного оружия наличие обзора с высокогорной местности приобретает почти решающую роль в деле раннего предупреждения. Системам контроля и электронной разведки требуется поле зрения. Применение ракет всех видов можно предотвратить только при наличии свободной линии видимости. В войну Судного дня израильская авиация не смогла помешать продвижению сирийских танков именно из-за потери горы Хермон в самом начале военных действий. Израильские ВВС вынуждены были действовать против сирийской армии непосредственно, без электронной поддержки, неся большие потери.

Самарийский хребет полностью контролирует территорию Израиля в пределах "зеленой черты". В тот день, когда "автономные власти", или власти палестинского государства, или Иордания установят там соответствующие антенны (как это сделали египтяне на следующий день после вступления в Эль-Ариш), они получат возможность серьезнейшим образом ограничить дееспособность наших средств наблюдения, связи и предупреждения, одновременно обеспечив себе высокую точность попадания по всем израильским целям.

Кое-кто утверждает, будто в эпоху ракет территория уже не имеет особого значения. Тем не менее и русские, и американцы почему-то, по-прежнему, стремятся подобраться как можно ближе к каждой базе противника со своим электронным оборудованием — и это несмотря на наличие у них разведывательных спутников и самолетов. Но дело в том, что на спутнике можно установить лишь ограниченное число приборов, на самолете — десятки, а на наземной базе — тысячи или десятки тысяч!

Опасность стратегической внезапности. Из сказанного следует решающий вывод: государство Израиль в границах "зеленой черты" (то есть без Иудеи и Самарии) не способно выстоять в случае вторжения противника из Самарии. Такое вторжение может произойти по одному из следующих сценариев.

а) Стратегическая внезапность по образцу Войны Судного дня. Такая внезапность может принести удачу не только в том случае, когда бронетанковые силы противника расположены в Самарии, но даже и в том, когда Самария просто не занята израильскими войсками. Бронетанковые части, находящиеся на иорданских базах на восточном берегу Иордана, могут достичь гор Самарии за

считанные часы. Особенно удачным это может оказаться, если их вторжению будет предшествовать проникновение нерегулярных сил или помощь местных палестинских отрядов, которые займут ключевые позиции в первые критические минуты. Через 4–6 часов противник сможет угрожать Тель-Авиву, Иерусалиму, Шарону и Хайфе, и с этого момента он уже будет в состоянии прямым ударом предотвратить мобилизацию израильских резервистов и всего оборонного потенциала Израиля.

Часто говорят о возможности предупреждения. Будучи специалистом в области военной разведки, я могу заверить, что на предупреждение полагаться нельзя. Разведка может предупредить о **продвижении** сил, но с того момента, когда силы противника размещены в данном месте **постоянно или длительное время** (подобно тому, как они были размещены на Голанах и вдоль Суэцкого канала в сентябре-октябре 1973 года), нет никакой гарантии, что мы своевременно узнаем о запланированном вторжении. С точки зрения разведки **намерения** противника вообще лишены значения, в расчет можно брать только **возможность**. А это означает, что мы окажемся обреченными на долгие месяцы выжидания — с отмобилизованной армией и парализованной экономикой. В таких случаях напряжение всегда, в конце концов, спадает, готовность ослабевает, и именно тогда противник предпринимает наступление.

б) Может сложиться также ситуация, когда мы не будем застигнуты врасплох, и тем не менее политические условия не дадут нам осуществить превентивное нападение, которое может быть единственным выходом из положения. Я мог бы заполнить многие тома воспоминаниями о тех колебаниях и нерешительности, которые предшествовали началу превентивных войн в 1956 и 1967 годах, как и о том, почему не были нанесены превентивные удары в других случаях, за что нам впоследствии приходилось расплачиваться втридорога. Неблагоприятные политические условия, моральная усталость, недееспособность руководства могут превратить сомнения в решающий довод против превентивного удара, даже если ситуация с военной точки зрения предельно ясна. Даже такое решительное правительство, какое было у Голды Меир, отказалось проявить инициативу на рассвете Судного дня. На тех границах, где находится израильская армия **после Шестидневной войны**, нет опасности для существования государства. На границах "зеленой черты" результаты могут быть **катастрофическими**.

Альтернативы. В защиту плана передачи Самарии под чужой

суверенитет обычно выдвигают какой-либо из следующих доводов.

1. Израиль не выведет оттуда свои части (если это будет план автономии, то израильские вооруженные силы сохранят за собой некоторые базы в течение первых пяти лет).

2. Израиль сохранит свои поселения в Иорданской долине.

3. Израиль создаст укрепленную линию от Иерусалима до Хайфы (вариант "линии Мажино").

4. Самария будет демилитаризована; или арабским силам ограниченной численности будет разрешено располагаться лишь в некоторых ее частях; останутся буферные зоны, которые будут заняты международными или американскими силами.

5. Израиль может усовершенствовать систему раннего предупреждения, а в случае угрозы нанесет превентивный удар и снова займет Самарию.

6. В Самарии будет создано дружественное палестинское государство.

Израильские базы и автономия. В течение первых пяти лет действительно не произойдет принципиальных изменений. Нельзя, однако, забывать, что пребывание израильских сил в Самарии изначально будет ограничено в сроках, правах и полномочиях. По истечении пяти лет они должны будут уйти, хотя нет оснований думать, что проблемы безопасности к тому времени исчезнут.

На первый взгляд, нет особой разницы между ситуацией в эти первые 5 лет и той, что существует сегодня, если не считать определенного уменьшения численности израильских сил в Самарии, сокращении количества их постоянных баз и того факта, что израильские силы уже не будут отвечать за безопасность на территориях. По кемп-девидскому соглашению именно в этом будет заключаться переходный период. Возникает вопрос: готовы ли мы будем нарушить это соглашение и снова вернуться в Самарию в случае угрожающей концентрации сил противника на восточном берегу Иордана? Надо принять в расчет, что автономные власти могут провозгласить себя независимым палестинским государством еще до истечения пяти лет. Нет сомнения, что ООН немедленно признает это государство подавляющим большинством голосов (даже европейцы, скорее всего, не воздержатся при голосовании). Любые действия израильской армии будут тогда нападением на суверенное государство. Далее, кемп-девидское соглашение предусматривает создание "серьезных" арабских сил, которые будут выполнять полицейские функции и бороться с террором под руководством

собственных (автономных) властей. Эти силы могут стать фактором, который подготовит вражеское вторжение, заняв предварительно ключевые позиции на местах. А что же с решением текущих проблем безопасности? Действительно ли мы сможем полагаться на то, что эти полицейские части ликвидируют деятельность террористов, или нам придется совершать ответные рейды в Самарию (к тому времени, возможно, уже суверенную территорию)? Не следует забывать, что террористы могут за 30 минут вернуться на территорию "автономного района", заложив заряд взрывчатки на рынке в Иерусалиме или в Тель-Авиве...

Удержание Иорданской долины. Сомнительно, найдется ли в арабском мире кто-либо, согласный на такой "территориальный компромисс". Если это будет король Хуссейн, то мы вряд ли можем полагаться на него в обеспечении нашей безопасности. Те, кто когда-то полагались на иранского шаха, теперь склонны полагаться на Хуссейна. Но что произойдет с "территориальным компромиссом", если хашимитская династия рухнет, а Самария уже будет отдана?

Если же говорить по существу, то уже Война Судного дня показала, чего стоит система укреплений, возведенных вдоль границы. Система укреплений в долине Иордана призвана сыграть такую же роль. К счастью для нас, в 1973 году египтяне, форсировав канал, не поторопились занять горные перевалы в Синае, и мы смогли там укрепиться. Сирийцы на Голанах воевали лучше. Можно думать, что в Самарии иордано-иракско-сирийские танки будут действовать по крайней мере с тем же размахом, который они демонстрировали в прошлом, и поспешат захватить Маале-Адумим, Маале-Эфраим и перевалы, обеспечивающие контроль над всем горным массивом. Вторгшимся войскам наверняка окажут помощь местные силы. Еврейские поселения в долине Иордана в первые же часы вторжения окажутся далеко в тылу противника и не смогут предотвратить оккупацию им Самарии. Даже если такое вторжение будет начато с восточного берега Иордана, описанная ситуация станет фактом уже через 3—4 часа; если же Израиль будет застигнут врасплох, то в распоряжении противника будет целый день.

Демилитаризация и буферные зоны. В отношении этого варианта у Израиля много плачевных воспоминаний. 10 июля 1948 года вступило в силу первое соглашение о прекращении огня. В течение 24 часов египтяне нарушили это соглашение, захватив наши укрепления вдоль шоссе Ашкелон—Хеврон и отрезав Негев. Израиль

подал жалобу, но военные действия не возобновил. В результате в октябре нам пришлось снова начать войну, чтобы освободить Негев. К счастью, тогда для этого нашелся реальный тактический повод (египтяне атаковали израильскую автоколонну); но в будущем он может не подвернуться, а инсценировать его, при наличии телевидения и иностранных наблюдателей, невозможно.

В 1950 году мы не отреагировали на захват сирийцами демилитаризованной зоны Хамат-Гадер. Мы не отреагировали также на вступление египетских сил в демилитаризованную зону в районе Ницаны. Лишь после целого ряда ответных акций, продолжавшихся последующие пять лет, мы добились вывода египетских сил из-под Ницаны.

В 1967 году 14 государств, гарантировавших нам свободу судоходства в Тиранских проливах, полностью игнорировали их закрытие Египтом (а Франция даже заявила, что наше присутствие в Эйлате вообще незаконно!). В конце концов, Израиль вынужден был предпринять ответную акцию сам (Шестидневная война); но кто поручится, что в будущем повторятся те же условия (необходимые перемены в правительстве, симпатия общественного мнения, поддержка США)?

10 августа 1970 года вступило в силу очередное соглашение о прекращении огня с Египтом и замораживании положения на линии фронта (подобие демилитаризации). В следующие 30 часов египтяне придвинули батареи своих ракет к Суэцкому каналу. Соединенные Штаты признали справедливость жалобы Израиля, но несмотря на это наши войска не возобновили военных действий. Вместо этого правительство удовлетворилось получением от США очередного займа в 500 миллионов долларов, который тут же был разбазарен на социальные подачки после демонстрации "Черных пантер". В последующие месяцы египтяне укрепили систему своих ракетных батарей, превратив ее в мощную стену; упущения, неудачи и жертвы Войны Судного дня были прямым результатом этого, поскольку, согласно израильским планам, главная роль в предотвращении форсирования канала отводилась нашим ВВС, а они не смогли выполнить эту задачу, ибо мощная ракетная система явилась прикрытием для форсирующих канал египетских частей. В Войне Судного дня мы, несмотря на военную победу, потерпели политическое поражение: египтянам удалось форсировать канал, уничтожить линию Бар-Лева и нанести нам тяжелые потери в живой силе. Мы же так до конца и не сумели уничтожить египетские плацдармы на восточном берегу канала.

В декабре 1973 года египтяне нарушили соглашение о прекращении огня, ввели в действие подразделения снайперов и начали войну на истощение. Израиль и тогда не возобновил военные действия. Предложение тогдашнего министра обороны провести ответные рейды было отклонено из-за возражений командующего Южным округом.

В 1979 году было подписано мирное соглашение с Египтом. По этому соглашению охрана переданных Египту территорий от проникновения египетских сил была возложена на силы ООН, размещенные в буферных зонах. Президент США в официальном документе гарантировал, что в случае ухода сил ООН из этих зон там будут размещены другие международные силы. Тем не менее, когда дело дошло до израильского отступления, выяснилось, что США не намерены выполнять свои обязательства — не взирая на резкие протесты министра иностранных дел Израиля. Мы, однако, не отсрочили наше отступление, хотя одно из важнейших звеньев соглашения тем самым рухнуло. В который раз было доказано, что невозможно строить безопасность на демилитаризованных зонах или международных гарантиях.

Вся история войн свидетельствует, что нет такого размежевания сил, которое оказалось бы длительным и надежным. "Честная" сторона проглатывает одно нарушение за другим, постепенно свыкаясь с тем, что каждая следующая ситуация оказывается опаснее предыдущей. Что же касается Самарии, то если прибавить к этим фактам подготовительную роль, которую может выполнить местное арабское население и его "серьезные" полицейские части, станет совершенно очевидно, как мало в данном смысле могут дать демилитаризованные зоны и международные гарантии.

Великая китайская стена, или "линия Мажино". Технически такой вариант осуществим. Но если вспомнить, какие экономические и региональные трудности возникли в результате передачи Египту Синая (аэродромы, коммуникации, дороги и т.д.), легко представить, во что обойдется превращение в цитадель долины Шарона. Нам придется постоянно держать армию в состоянии готовности, а в последний момент эта "линия Мажино" снова нас подведет, как уже подвела "линия Бар-Лева".

Повторное занятие Самарии. Израильская история показывает, что даже когда мы безусловно правы (как в случае с египетскими ракетами), наши правительства склоняются к тому, чтобы принять свершившиеся факты и отсрочить принятие необходимых ответных

действий. Точно так же Израиль окажется неспособным нарушить договор в случае изменений в расстановке сил на восточном фронте. А момент, когда эти изменения перерастут во внезапное нападение, невозможно определить. Когда силы противника уже дислоцированы на месте (а такая ситуация, по сути, наличествует уже сейчас), нельзя рассчитывать на своевременное предупреждение или своевременное выражение протеста. Никакие системы раннего предупреждения не помогли арабам в Синайской кампании или в Шестидневной войне, хотя решение в этих случаях было принято израильским правительством за 48 часов до начала военных действий!

“Дружественное” палестинское государство? Кое-кто утверждает, будто в ООП обозначилась тенденция примириться с нашим существованием. Исходя из этого, предсказывают мирные отношения между Израилем и будущим палестинским государством. Трудно относиться к этим утверждениям иначе, чем к опасным мечтам. ООП не выказывает никаких признаков признания Израилем и отказа от намерения в конечном счете его уничтожить. После установления в Иране диктатуры Хомейни растет враждебность к Израилю воинствующего ислама. Не достигла своих имперских целей Сирия. Против нас постоянно действуют Ирак и Ливия, уверенные в своей неуязвимости даже в случае войны. И наконец, есть Советский Союз. Даже самые крайние “голуби” вынуждены сейчас признать, что СССР идет по пути антиизраильской агрессии и подрывной деятельности. Наше положение может только ухудшиться, потому что Соединенные Штаты все более пытаются проводить так называемую “сбалансированную политику” на Ближнем Востоке, опасаясь быть вышвырнутыми из этого региона, и начинают использовать палестинский вопрос для сплочения арабского мира на своей стороне. В таком положении можно гарантировать, что будущее “палестинское государство” под властью ООП (и контролем арабских стран и Советского Союза) не откажется от желания уничтожить еврейское государство.

Выход: израильский суверенитет. Самария является центральным районом Эрец Исраэль. Здесь находились наши древнейшие столицы Шхем и Шило. Во времена Первого Храма Самария была сердцем страны, уделом колена Эфраима. Руины Самарии напоминают нам о древнем Израильском царстве. Наши исторические права на Самарию очевидны.

Анализ проблем безопасности также показывает, что у нас нет

инного выхода, кроме удержания Самарии. В нашей власти выбор: оставаться там оккупантами или расположиться, как в своей стране. Вместо того, чтобы рассматривать Самарию как "пограничный район", контролируемый нами лишь для обороны центра страны, следует увидеть в Самарии важнейшую жизненную часть Израиля, достойную того, чтобы ее любить, заселять и защищать. Роль оккупантов деморализует, роль защитников своей земли укрепляет дух. Многие из кризисов и неудач последнего десятилетия были порождены тем, что нам нехватило смелости воплотить сионистские цели в отношении Иудеи и Самарии. Мы забыли, что государство, созданное в 1948 году, не является самоцелью. Наша цель — сионизм как непрерывный процесс возвращения еврейского народа в Эрец Исраэль, заселения всей страны и ее развития; государство же — лишь инструмент для реализации этих целей.

Я не намерен вступать в идеологические дискуссии, но достаточно бросить взгляд на карту, чтобы понять, что государство в границах 1948 года имело нездоровую географическую структуру. Жизненно необходимо исправить это путем заселения центра страны плотным еврейским населением. Разговоры о "густонаселенных арабами районах", которые ведут противники еврейского поселенчества, основаны на ложном впечатлении. Достаточно проехать по главным дорогам Самарии, чтобы убедиться, каким редким является здесь арабское население. Бейт-Эль и Рамле находятся на одной широте; на одной широте находятся также Дженнин и Хадера. Между этими двумя широтами на полосе шириной 15 километров живут два миллиона евреев. К востоку, между теми же широтами, на полосе шириной 35 километров живет менее полумиллиона арабов! Чтобы нормализовать распределение населения, необходимо "поднять" миллион евреев с прибрежной полосы в самарийские горы. От этого выиграют все сферы израильской жизни — от ее "качества" до экономики и безопасности.

О юридической стороне самарийской проблемы написано достаточно. Только Пакистан и Великобритания признали иорданский суверенитет в Иудее и Самарии за все 19 лет иорданской оккупации этих районов. В 1947 году мы приняли решение ООН о разделе страны, тогда как арабские страны отказались его принять и вторглись в Эрец Исраэль, чтобы уничтожить государство Израиль в зачаточном состоянии. Тем самым они отвергли идею палестинского государства. Свои национальные чаяния и права палестинцам осталось реализовать в Иордании, образовавшейся в результате предыдущего раздела Эрец Исраэль, в 1922 году.

Распространение израильского суверенитета на Иудею и Самарию вовсе не обязывает нас немедленно предоставить израильское гражданство арабским жителям этих территорий. В демократических государствах принято предоставлять такое гражданство по истечении определенного времени и при условии, что данный человек приносит клятву верности этому государству (присягу), сдает экзамены по истории, языку и культуре его народа. Если среди жителей **израильской** Иудеи и Самарии найдутся такие, которые отождествят себя с сионистским еврейским государством, выразят готовность сдать экзамены по ивриту и сионизму, проходить национальную службу и платить налоги, то им можно предоставить израильское гражданство. Тем, кто захочет жить под израильской властью, не отождествляя себя с государством Израиль, не проходя национальную службу, следует предоставить статус "резидентов", дающий все права, кроме политических. Можно предположить, что именно так поведет себя большинство арабов — доказательством служат арабские жители восточного Иерусалима, которые, получив возможность стать израильскими гражданами, не использовали ее по сей день. Для тех же, кто ни в коем случае не согласится жить под израильским суверенитетом, останется выход, который в свое время остался перед евреями Алжира. Евреи Алжира жили там еще до завоевания страны мусульманами; тем не менее, когда Алжир стал независимой арабской страной, евреи покинули Алжир добровольно.

Часть арабского населения Иудеи, Самарии и сектора Газы (300—400 тысяч) имеют статус беженцев. Они увековечены в этом статусе арабскими странами, которые хотели сохранить за собой возможность требовать возвращения этих "беженцев" в Яффо, Рамле, Хайфу, Акко и т.д. Этим людям, в конце концов, придется искать себе постоянный дом (это предусмотрено и кемп-девидским соглашением). Их дом не может быть здесь, и поскольку мы приняли и абсорбировали еврейских беженцев из арабских стран, арабским странам придется абсорбировать своих беженцев. Не может быть и речи о предоставлении им политических прав в Эрец Исраэль. Даже если мы уйдем из Иудеи, Самарии и Газы и там будет создано палестинское государство, эти беженцы останутся в своих лагерях и будут служить пропагандистским антиизраильским целям арабских стран (как это было после нашего ухода из Кунейтры на Голанах). Их целью останутся Яффо и Хайфа. Единственная разница будет состоять в том, что по мере возобновления

(наверняка немедленного) террористической деятельности внутри “зеленой черты”, нам придется предпринимать опасные и малоэффективные ответные рейды, тогда как сейчас мы можем просто арестовывать террористов на месте.

Некоторые итоги. Все сказанное убеждает, что уход из Самарии сделает Израиль неспособным выстоять в случае внезапного нападения; даже открытое нападение мы не сможем предотвратить превентивной войной. Не существует иных альтернатив, кроме распространения израильского суверенитета на эти территории.

В 1971 году в лаборатории Ферми под Чикаго был разработан проект гигантского ускорителя стоимостью в 400 миллионов долларов. Руководитель лаборатории, мой приятель-физик Роберт Вильсон был приглашен на обсуждение проекта в конгресс, чтобы засвидетельствовать его важность. Один из сенаторов задал ему вопрос: “Представляет ли ускоритель ценность для обороны Соединенных Штатов?” На это Вильсон ответил: “Этот ускоритель — одна из тех вещей, благодаря которым Соединенные Штаты достойны того, чтобы их оборонять”.

То же самое можно сказать о Самарии. Обладание ею жизненно важно для обороны Израиля, но и сама по себе Самария заслуживает того, чтобы занять центральное место в той Эрец Исраэль, которую мы строим и защищаем.

Зеев Шиф,

*политический обозреватель, автор
книг о Войне Судного дня и войне
в Ливане.*

ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ИЗРАИЛЮ...

Один из лидеров еврейских поселенцев Иудеи и Самарии рассказывал мне, что первая реакция большинства его друзей — членов Гуш Эмуним на создание правительства национального единства была резко отрицательной. Они были уверены, что компромисс между Ликудом и партией Труда нанесет ущерб делу поселений. “Но поразмыслив, — продолжал он, — мы пришли к другому выводу. Хорошо, что премьером стал человек партии Труда. Теперь Ликуд, находясь в правительстве, будет стеречь интересы поселенцев изнутри, а Тхия, оставшаяся в оппозиции, будет делать то же самое снаружи, и в результате мы получим большую свободу маневра”.

Этот человек был настроен оптимистичнее, чем когда-либо. Правительство, утверждал он, не сможет остановить еврейский посе-

ленческий процесс на территориях. Самое большое — оно может его замедлить. Оно может перестать строить дороги и развивать инфраструктуру. Но оно не покусится на сотни подрядчиков и тысячи частных лиц, которые находятся в разгаре строительства, на те 5000 единиц жилья, которые находятся на разных стадиях завершения. Люди вложили в это дело свои деньги, и никакое правительство не решится отнять у них их сбережения.

В конечном счете, он оказался прав. Коалиционное соглашение показало, что правительство не собирается остановить еврейское заселение Иудеи и Самарии. Оно лишь выразило намерение его замедлить. Но такое замедление наметилось уже раньше, во времена Ликуда, само собой — по причине отсутствия денег у правительства и людских ресурсов у Гуш Эмуним. Так что поселенцы вполне справедливо могут полагать, что и новое правительство не собирается всерьез менять ситуацию на территориях, разве что развивать ее иными темпами.

Кое-кто утверждает, что если бы партия Труда одержала решительную победу на выборах, политическая ситуация на Западном берегу изменилась бы очень быстро: Египет возобновил бы переговоры о палестинской автономии, а король Хуссейн включился бы в этот процесс.

Это мнение основано, главным образом, на предвыборных обещаниях Шимона Переса, который выразил готовность возобновить переговоры об автономии, причем не обязательно даже на базе кемп-девидских соглашений (в отличие от Ликуда, партия Труда в принципе не возражает и против "плана Рейгана"). Тогда же Перес говорил и о возможности "территориального компромисса" с Иорданией, по которому Хуссейн получил бы часть территорий в обмен за некое подобие мирного договора. И наконец, партия Труда выступила против еврейских поселений в густо населенных арабских районах.

Сейчас Перес не может выполнить ни одного из этих обещаний. Он не смог бы их выполнить, даже если бы сформировал правительство без Ликуда. Партия Труда никогда всерьез не собиралась демонтировать еврейские поселения, созданные при Ликуде; самое большое — она хотела урезать ассигнования на них, одновременно продолжая создавать поселения в других местах, которые входят в "план Алона" — вокруг Иерусалима, в Гуш Эционе и в долине Иордана.

Первый сценарий: прекращение поселений. Если партия Труда

захотела бы выполнить хоть часть своих предвыборных обещаний, она встретила бы сильнейшее сопротивление правой оппозиции. Ей пришлось бы насильственно вводить новый курс. Запрет на создание новых поселений или попытка демонтировать уже существующие наверняка побудили бы Гуш Эмуним и его сторонников активизировать создание на территориях нелегальных поселений. Гуш Эмуним с успехом применял эту тактику еще до прихода к власти Ликуда. Сегодня численность и сила поселенцев возросли, и правый лагерь располагает новыми лидерами — радикальными, опытными и решительными людьми типа Ариэля Шарона и Рафаэля Эйтана (которые прежде не могли возглавить поселенцев в силу своего официального положения). Решительные действия правительства партии Труда могли бы, конечно, остановить тех людей, которые строят дома в Иудее и Самарии по экономическим, а не идеологическим соображениям; но они вызвали бы конфронтацию с правым лагерем, общенациональный конфликт и глубокий политический раскол. Вряд ли это входит в намерения партии Труда. Ее победа в таком конфликте не очевидна.

Политическое урегулирование. И партия Труда, и Ликуд исходят из двух принципов: отказ от создания палестинского государства и отказ от переговоров с ООП. Рассматривались также другие варианты политического решения в Иудее и Самарии, но все они были отвергнуты израильской или арабской стороной. Вариант обмена сектора Газы на Иорданскую долину был отвергнут Хуссейном. "План Йерихо", предложенный в 1973 году Киссинджером и предусматривавший уступку Иордании района Йерихо в обмен за прекращение состояния войны, был отвергнут правительством Маараха. Тогда же был отвергнут вариант федерации между Иорданией и Западным берегом. Вскоре после этого арабские страны на конференции в Рабате провозгласили ООП единственным представителем палестинцев. Отныне Хуссейн не мог вступать в переговоры о будущем Иудеи и Самарии без согласия ООП.

Кое-кто утверждает, что ситуацию уже невозможно изменить: жребий брошен, и процесс стал необратимым; Израиль идет по пути превращения в бинациональное арабо-еврейское государство (включающее арабов Иудеи, Самарии и Газы). Лидеры партии Труда не согласны с этим и потому не хотят определять окончательный, постоянный статус территорий (например, путем аннексии, одностороннего введения автономии и т.п.). Они предпочитают поэтому говорить о различных "промежуточных решениях", неяс-

ных “частичных соглашениях” или “функциональном подходе”, как они это называют. Все это объединяется в так называемую “иорданскую опцию”.

Иорданская опция. Нетрудно видеть, что эта опция иллюзорна, так как обе стороны понимают под ней нечто прямо противоположное.

Если Хуссейн и согласится пойти на риск сепаратного соглашения с Израилем (чего он в прошлом старательно избегал), то он несомненно будет настаивать на “модели Садата”: территории в обмен на мир. Он может согласиться на незначительные пограничные изменения и даже на сохранение некоторых еврейских поселений, но уж конечно не захочет войти в арабскую историю как человек, который отдал евреям Иерусалим и священные места ислама.

Такова “иорданская опция”, какой она видится со стороны Хуссейна. Израильские лидеры, которые выдвигают эту опцию, видят ее совершенно иначе. Они исходят из того, что Иордания (но не ООП) должна взять на себя ответственность за арабских жителей территорий, в то время как многие районы Иудеи и Самарии останутся под израильской властью. Исходя из этого, они выдвигают различные предложения, начиная с “плана Алона” и кончая другими “территориальными компромиссами”, по которым в руках Израиля осталась бы, по меньшей мере, треть Западного берега (включая обязательно восточный Иерусалим). В лучшем случае они согласны, чтобы Хуссейн получил контроль над святынями местами ислама.

Таким образом, каждая сторона видит в “иорданской опции” нечто совершенно иное. Тот факт, что обе называют свои представления одним и тем же словом, несколько не уменьшает принципиального противоречия взглядов. Решение, которое многим израильтянам представляется разумным компромиссом (а другим израильтянам, из правого лагеря — угрожающей с точки зрения безопасности уступкой), иорданцам и палестинцам не представляется даже исходной точкой для переговоров.

Может ли измениться иорданская позиция? Иорданская сторона переживает мучительные сомнения. Они порождены опасениями, что из-за скорости еврейского поселенчества скоро вообще не о чем будет говорить. Странники такого взгляда утверждают, что необходимо ускорить переговоры, ибо в противном случае Иордания и Египет могут оказаться перед альтернативой: признать фактическую аннексию Израилем территорий или перейти на позиции

Сирии и радикальных фракций ООП, которые считают, что конфликт с Израилем может быть решен только военным путем, а потому нечего волноваться, если на территориях появится еще несколько поселений.

С другой стороны, в иорданском руководстве есть люди, которые хотели бы отдать Западный берег, опасаясь, что в будущем палестинцы могут истолковать свое право на самоопределение в опасном для Иордании духе. Если Западный берег и Газа отойдут к Иордании, палестинцы в ней станут абсолютным большинством и может возникнуть угроза привилегиям иорданцев и самому режиму Хуссейна. В прошлом король справлялся с требованиями палестинцев Иордании путем постепенного включения их в пирамиду власти, но сомнительно, чтобы такой метод сохранил эффективность в объединенной Иордании. Не меньшую опасность, однако, представляет для Иордании возникновение рядом с ней радикального палестинского государства под руководством ООП. Выбирая между этими двумя опасностями, Хуссейн предпочитает контролировать Западный берег путем федерации с ним, как он уже предлагал в 1972 году.

Может ли Хуссейн предпринять односторонние переговоры? Такой отход от общеарабского консенсуса вызвал бы не только открытый конфликт с Сирией и всеми фракциями ООП, но и с другими арабскими странами, как произошло с Египтом при Садате. Хуссейн — не Садат и не рискнет на такой шаг, пока не получит согласия арабских нефтедобывающих стран, от которых Иордания зависит экономически. Но даже при наличии такого согласия ему будет нелегко пойти на переговоры с Израилем без гарантий их благоприятного для Иордании (и всего арабского мира) исхода.

В отсутствии всех этих условий Хуссейн будет стремиться к сохранению статус-кво. Это связано с рядом опасностей, но это единственный выбор, остающийся у Иордании. Этот выбор имеет, во всяком случае, то временное преимущество, что препятствует возникновению палестинского государства или другого независимого палестинского образования бок-о-бок с Иорданией.

Другие возможные сценарии. Что может предложить Израиль, чтобы "соблазнить" Хуссейна? План территориального компромисса, оставляющий значительную часть Западного берега в израильских руках, вызовет сильнейшие возражения не только со стороны Иордании. Против него будут возражать поселенцы, поскольку

ку такой план означает неминуемую ликвидацию части поселений. Он вызовет возражения тех, кто считает, что Израиль ни в коем случае не должен отказываться от власти над всей Самарией по соображениям безопасности. Наконец, он вызовет возражения тех, кто справедливо указывает, что в Самарии сосредоточена значительная часть водных ресурсов Израиля. Между тем, согласно оценкам специалистов, к 2000 году Израилю будет недоставать 340 миллионов кубометров воды в год. Не имея — по крайней мере равного — права распоряжаться водой Самарии, Израиль быстро окажется перед угрозой засоления водных ресурсов приморской равнины.

Давнее израильское предложение о территориальном обмене: сектора Газы на долину Иордана — несомненно будет отвергнуто Амманом. Хуссейн никогда не питал особого желания присоединить полмиллиона палестинцев сектора Газы, и все иорданские попытки вернуть земли, отнятые Израилем, всегда фокусировались исключительно на Иудее и Самарии. Против такого обмена будет возражать и Египет. Каир настаивает, чтобы любое политическое решение для территорий включало Западный берег и сектор Газы как неразрывное единство, в котором его палестинские жители получают возможность реализации своих национальных чаяний.

В 1972 году Хуссейн выдвинул еще один вариант — создание палестино-иорданской федерации. Правительство Голды Меир отвергло тогда предложение Хуссейна. Сегодня к такому отказу присоединится весь израильский правый и поселенческий лагерь. Даже если бы иордано-палестинская федерация была создана после тех пограничных изменений, с которыми согласился бы Израиль, большинство израильских поселений все равно останется внутри нее. Это неминуемо вызовет широкий протест внутри Израиля.

Следующим возможным вариантом “иорданской опции” является выдвигавшийся ранее и обсуждаемый сейчас план совместного арабо-израильского управления (кондоминиума) на территориях. Даже если Иордания на него согласится, это будет временное урегулирование, так как оно не решает принципиальную проблему палестинского самоуправления. Хотя такое решение может показаться привлекательным, оно упускает из виду, что палестинцы окажутся между израильским молотом и иорданской наковальней и потому будут возражать против этого плана столь же резко, как возражали против кемп-девидских соглашений.

Вариант раздела Западного берега между Израилем и Иорданием вызовет сопротивление не только палестинцев, но и еврейских поселенцев. Такая же судьба ожидает вариант иордано-палестино-израильской конфедерации. В бытность Переса военным министром, его советники выдвинули этот вариант, как наиболее разумно удовлетворяющий потребностям всех сторон. Но сами же они добавили, что реализован такой вариант может быть только в отдаленном будущем, когда арабо-израильский конфликт будет преодолен и Израиль станет частью регионального альянса. Даже если бы иорданская и палестинская стороны согласились на такой сценарий, на него вряд ли согласились бы многие израильтяне, ибо это означало бы отказ от многих существенных прерогатив еврейского государства.

Радикальные варианты. К этой группе относятся два плана, взаимно исключаящие друг друга и считающиеся в каждом из лагерей крайними: создание палестинского государства — и официальная полная аннексия Израилем Иудеи и Самарии. Большинство израильтян против создания палестинского государства. Но многие израильтяне считают аннексию еще более худшим вариантом. Суммарно это приводит к тому, что в Израиле (как и в Иордании) предпочитают статус-кво, особенно если оно навязано самими арабами.

Возможные последствия статус-кво или аннексии. И так, ни Иордания, ни Израиль не имеют особого желания менять существующее положение. Крайне сомнительно, чтобы Соединенные Штаты смогли убедить кого-либо из них сдвинуться с мертвой точки. Со времени Ливанской войны США стали пассивным партнером этого негативного процесса. Их единственная серьезная активность состоит, пожалуй, в том, что они одновременно вооружают обе стороны.

Статус-кво означает продолжение процесса фактической аннексии. Официальная аннексия означает открытое присоединение Иудеи и Самарии к государству Израиль. В сущности, и тот, и другой вариант означают включение полутора миллионов арабов территорий в состав еврейского государства. Поэтому возможные последствия обоих вариантов во многом сходны.

Первым таким последствием является палестинская демографическая проблема. Многие в Израиле утверждают, однако, что эта проблема больше угрожает Иордании. Действительно, Иордания претерпевает медленный процесс "палестинизации". Со временем

это может изменить характер израильско-палестинского конфликта — он превратится в территориальный конфликт между двумя государствами, а не во внутренний конфликт между двумя народами. Такую надежду уже высказывали в Израиле в 50-е годы, но она с новой силой прозвучала в речах Ариэля Шарона, который утверждает, что Иордания — это и есть Палестина. Различие между Шароном и лидерами партии Труда состоит лишь в том, что Шарон готов ускорить палестинизацию Иордании с помощью военных или других методов, тогда как в партии Труда предпочитают ждать, пока этот процесс произойдет сам собой. Все эти надежды сомнительны, поскольку исходят из предположения, что статус-кво или аннексия не вызовут никаких других последствий и смогут продолжаться сколько угодно долго.

Статус-кво или аннексия неминуемо вызовут, однако, вырождение израильской демократии. Двойная бухгалтерия в отношении евреев и арабов территорий со временем подорвет либеральные и демократические основы государства Израиль. Либеральному Израилю придется в лучшем случае вести арьергардные бои. Предоставление же палестинцам территорий гражданских прав (включая политические) подорвет еврейский характер государства.

Возможные военные последствия. Еще одним возможным следствием продолжающегося статус-кво (или аннексии) может стать попытка арабов принудить Израиль к уступкам (возвращению территорий) военным путем.

В 1973 году Садату оказалось достаточно ограниченного успеха на канале, чтобы, в конечном счете, принудить Израиль вернуть Египту Синай. Конечно, иорданская армия не может победить израильскую, и нет таких шансов, что она отнимет восточный Иерусалим и Западный берег посредством войны. Но она вполне способна на ограниченную операцию — например, захват Йерихо и части Иорданской долины. Возможен ли такой сценарий и каковы его шансы?

Некоторые израильские военные эксперты утверждают, что следует серьезно отнестись к перспективе вступления иорданской армии на Западный берег под прикрытием темноты. Еще до наступления рассвета некоторые ее части могут достичь гребня холмов Самарии и угрожать оттуда чувствительным центрам Израиля прежде, чем он сумеет мобилизовать свои резервы. Это слишком смелое предположение, и его реализация требует, чтобы Иордания застала Израиль совершенно врасплох. Как показало прошлое,

даже самая совершенная разведывательная система может подвести, но следует все же думать, что израильская разведка достаточно хорошо знает, что происходит в Иордании. Можно предположить также, что подготовка к такой атаке не пройдет незамеченной и американским персоналом в Иордании. Конечно, шансы Иордании на внезапность возрастут, если она ограничится операцией парашютных частей, которые поднимутся со своих баз в Иордании и захватят цели в Иорданской долине и других местах.

Вообще, иорданская армия может улучшить свои шансы, если будет стремиться к ограниченным целям. Но главные трудности ждут ее на второй фазе операции, после первоначального успеха. Ограниченное иорданское вторжение может основываться на предположении, что еще до наступления этой фазы сверхдержавы вмешаются в конфликт и предотвратят израильскую контратаку. Сомнительно, однако, что Израиль в данном случае прислушается к просьбе сверхдержав и откажется от изгнания арабских сил с Западного берега — особенно если учесть израильскую чувствительность к этим территориям. Если у власти будет Ликуд, можно смело предположить, что израильская армия получит приказ атаковать Иорданию с различных направлений, и зная мышление израильских генералов, следует думать, что израильские войска пересекут Иордан еще до того, как иорданские части будут изгнаны с Западного берега. Готовясь к такой операции, иорданцы, следовательно, должны считаться с риском, что их ирригационные и другие экономические структуры на восточном берегу Иордана (составляющие основу иорданской экономики) будут разрушены. Если же война расширится и палестинцы территорий попытаются напасть на израильские войска, может последовать резкая израильская реакция в виде изгнания палестинского населения в Иорданию. Такая реакция будет вероятнее, если у власти окажется Ликуд. Все сказанное ведет к заключению, что шансы изолированной иорданской операции, без поддержки других арабских армий, ничтожно малы.

Ситуация выглядит иначе, если иорданская армия двинется в ходе общей арабо-израильской войны, когда израильская армия будет сражаться на нескольких фронтах. Пока продолжается война между Ираком и Ираном, шансы такого конфликта не особенно велики. Но в более отдаленном будущем, когда война в Персидском заливе закончится, израильский восточный фронт может снова пробудиться. Ирак и Сирия могут направить сюда значитель-

ные силы. Израильские эксперты считают, что в такой ситуации Хуссейн поведет себя иначе, чем в 1973 году, и присоединится к ирако-сирийскому блоку. Риск для Иордании в этом случае существенно уменьшается, а шансы на ограниченный военный успех в Иорданской долине увеличиваются. Увеличиваются также шансы на более серьезное вмешательство сверхдержав, которое резко ограничит размах израильского контрнаступления.

Перспектива внутреннего конфликта. Таким образом, в случае сохранения израильской власти над территориями шансы военного конфликта в ближайшем будущем невелики. Конечно, они серьезно возрастают в случае, если Израиль отдаст Иудею и Самарию (полностью или значительную часть). На этом основании многие в Израиле утверждают, что необходимо удерживать территории хотя бы из соображений безопасности. Но удержание территорий – в виде продолжающегося статус-кво или аннексии – чревато другой, более серьезной опасностью – внутренним конфликтом между евреями и палестинцами.

Несмотря на поражение ООП в Ливанской войне, нет сомнения, что радикальные настроения среди палестинцев будут возрастать. Этому будет способствовать недостаток земли и растущие ограничения в использовании водных ресурсов, которые вызовут недовольство жителей арабских деревень. Сокращение сельского хозяйства на территориях ведет, далее, к исходу населения в арабские города. (Это, кстати, одна из причин роста арабского населения Иерусалима, которое угрожает превратить евреев там в меньшинство. Косвенно, эта популяционная тенденция становится частью борьбы за будущее Иерусалима.) Медленный урбанизационный процесс за Западном берегом ведет к тому, что всебольше крестьян подпадает под влияние экстремистских палестинских кругов, которые в городах более активны.

Вторым фактором радикализации жителей территорий является плохая экономическая ситуация в Израиле. Возрастающая инфляция угрожает им сильнее, потому что на них не распространяются механизмы привязки зарплаты к индексу цен и социальной помощи. Экономические затруднения ведут к увеличивающейся безработице среди палестинцев, и это толкает многих из них к террористическим группам: терять им уже нечего, а их привязанность к Израилю, даже чисто экономическая, ослабевает; зато возрастает озлобление.

Особую проблему составляет безработица среди палестинской

интеллигенции. Эта группа испытывает растущие фрустрации. Эксперты считают, что следующее поколение палестинских лидеров будет не только более образованным, но и прежде всего более радикальным. Оно будет сохранять контакты с более радикальными элементами ООП, одновременно развивая контакты с наиболее радикальными группами израильских арабов.

Лидеры Ликуда надеются, что все эти давления приведут к увеличению арабской эмиграции с территорий. До сих пор высокий уровень рождаемости среди арабов территорий компенсировался такой эмиграцией. Но эти надежды не принимают во внимание экономических изменений в самих арабских странах и таких потрясений, как война в Персидском заливе; все это делает арабские страны экономически и физически менее привлекательными. Они не учитывают также, что эмиграция не затрагивает израильских арабов. Между тем, темпы роста их численности тоже очень высоки. К концу нынешнего десятилетия они составят 19% населения Израиля и достигнут 22,2% к 2000 году. Связи израильских арабов, особенно молодежи, с ООП и даже ее радикальными элементами усилились в последние годы и продолжают расти; об этом говорит рост числа террористических актов, совершенных израильскими арабами внутри "зеленой черты".

Надежды умеренного израильского лагеря, что лидеры палестинцев Иудеи и Самарии проявят готовность к прямым переговорам с Израилем, в этих условиях мало реальны. Палестинское руководство на территориях отказалось от таких переговоров после кемп-девидских соглашений. Вряд ли оно поведет себя иначе в будущем. Какое-то время это руководство колебалось между двумя притягивающими центрами — Иорданией и ООП. Сегодня можно констатировать, что эти колебания кончились в пользу ООП. Израильская военная администрация также признала, что ООП ныне контролирует большинство социально-экономических учреждений и организаций на территориях. Эксперты военной администрации считают, что в таких обстоятельствах невозможна реализация никакого израильского плана, который предусматривал бы сотрудничество местного населения, пока лидеры этого населения (то есть ООП!) не дадут на это своего согласия.

Таким образом, продолжающееся статус-кво может привести только к росту недовольства и радикализации палестинцев территорий. Нелогично думать, будто этот процесс можно сколько угодно сдерживать полицейскими мерами. Нелогично думать, будто в ситу-

ации, когда арабское население продолжает цепляться за свою землю, а еврейское большинство продолжает навязывать ему свою волю, не вспыхнет кровавый конфликт. Рано или поздно такого конфликта не избежать, и он неминуемо произойдет — если не через пять, то через десять или двадцать лет. Столкновение только ускорится, если Израиль открыто аннексирует территории. Арабы территорий будут реагировать, и Израиль ответит на это военной силой.

Перспективы внутреннего конфликта. Если в 1947—48 годах численность арабского населения превосходила еврейскую, то сегодня евреи составляют большинство к западу от Иордана и имеют огромный военный перевес. Их вооруженные силы насчитывают тысячи танков и сотни самолетов, которые могут победить регулярные арабские армии. Но танки и самолеты беспомощны, когда речь идет о массовом гражданском сопротивлении. Конфликт может принять крайние формы, если в него включатся также арабы Израиля. Израильские арабы и арабы территорий лишь формально составляют две разные группы. В смысле их национальной принадлежности это — две подгруппы одних и тех же палестинцев, тесно связанные друг с другом. Арабское поколение Израиля, выросшее после 1948 года, требует от жизни большего, чем получает, и потому чувствует себя отчужденным от Израиля, несмотря на экономические выгоды жизни в нем. Они могут еще сильнее ощутить эту отчужденность, если правый лагерь в Израиле усилится и на территориях появятся экстремисты типа Кахана. В итоге, конфликт, вспыхнувший на Западном берегу, может вовлечь часть (или большинство) арабов Израиля, а в силу их участия в израильской жизни и концентрации в определенных районах это может составить весьма серьезную проблему.

В таком конфликте Израиль, несомненно, окажется победителем, поскольку его силы безопасности надежно контролируют страну. Но эта победа будет неполной. Она будет означать серьезное наступление на арабское население. В этом смысле показательны слова Ариэля Шарона, сказавшего в речи перед советом еврейских поселений Иудеи и Самарии в марте 1984 года: "Предположим, что Бейтлехем, который находится на расстоянии пушечного выстрела от Иерусалима и Гуш Эциона, выступит против нас. У Израиля не останется никакого выхода, кроме как атаковать врага с помощью артиллерии или авиации. Уверяю вас, это затмит всякие Бейруты, Тир и Сидон".

Некоторые экстремисты рассчитывают, что кровавый внутренний конфликт даст наконец Израилю возможность изгнать палестинцев в Иорданию. Идея полного изгнания арабов с территорий издавна в той или иной форме циркулирует в Израиле. Недавно она была открыто высказана в газете еврейских поселенцев. На нее намекнул лидер партии Тхия Ювал Нееман, когда сказал, что арабов, которые не захотят жить под израильской властью (после аннексии Израилем Самарии, к которой призывает Нееман), ждет судьба алжирских евреев, которые покинули Алжир, когда там установилась арабская власть. Нееман подчеркнул, что беженцы Западного берега и Газы, насчитывающие около 400 тысяч человек, в любом случае должны искать постоянного жительства в других арабских странах. Движение Меира Кахана открыто провозглашает своей целью удаление арабов из Земли Израила (хотя и не призывает делать это насильственным путем).

Как бы "соблазнительна" ни казалась кое-кому перспектива полного изгнания арабов в ходе внутреннего столкновения с ними, надежды на это нереальны. Даже если Израиль изгонит часть арабского населения, которая примет активное участие в гражданской войне, он не сможет изгнать всех палестинцев, — достаточно вспомнить, что этого не произошло даже в результате двух арабо-израильских войн.

Таким образом, сохранение статус-кво или аннексия территорий открывает путь к внутреннему конфликту типа гражданской войны между евреями и палестинцами. Призрак бродит по Израилю — призрак гражданской войны. Радикализация происходит не только в арабских, но и в еврейских кругах, как показал процесс еврейского подполья. О готовности поселенцев взять в руки оружие — даже против "братьев" — писала недавно все та же их газета на территориях. Экстремизм с одной стороны питает экстремизм с другой, и в результате обе идут к обострению конфликта и перерастанию его в кровавую гражданскую войну. Трудно думать, что в случае ее возникновения соседние арабские страны останутся в стороне. Трудно рассчитывать также, что Израиль в таком конфликте получит западную помощь. В силу всего сказанного сохранение нынешнего статус-кво, а тем более аннексия территорий также не являются приемлемыми решениями проблемы.

Эта безысходная ситуация говорит о том, что с обеих сторон, как с палестинской, так и с израильской, нужны новые идеи, которые позволили бы мирно покончить с затянувшимся конфликтом.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Полемика в печати вокруг посещения президентом Рейганом военного кладбища в Битсбурге заставила меня задуматься, почему меня не возмущает его поступок. Если бы в это дело не вступили такие люди, как Эли Визель, я, быть может, и не обратил бы внимания на весь инцидент, посчитав его просто политическими придирками престижноориентированных групп. Однако эта полемика заставила меня ощутить отличие моего подхода от общепринятого на Западе, и я подумал, что это отличие не принадлежит только мне лично. За ним стоит другой опыт, другое воспитание чувств, другое видение жизни.

Я никогда не изучал Катастрофу и мысленно отталкивал от себя полную ее картину, быть может, подсознательно избегая психологической травмы. Однако, непроизвольно сведения о Катастрофе с детства настигали меня, и поскольку это началось в детстве, сведения эти неотделимы для меня от других моих детских впечатлений. Я постараюсь их сейчас проанализировать.

В моем детском сознании Катастрофа представлялась мне исключительно проблемой убитых стариков, женщин и детей, так как детские воспоминания не включают возможности ос-

Александр Воронель

**МЕЧТА О СПРАВЕДЛИВОМ
ВОЗМЕЗДИИ**

таться при немецкой оккупации кому-нибудь, кроме беспомощных людей. Все известные мне взрослые мужчины были в то время в армии и мне трудно вообразить их в числе жертв Катастрофы. Отчасти поэтому Катастрофа в моем воображении выглядит не предусмотренным и запланированным политическим действием, а исключительным зверством, вспышкой варварства, дикарством. Естественно, и ответственность за дикие поступки, как и за всякое преступление, должна была бы быть индивидуальной.

Мы знаем однако, что на самом деле ужас Катастрофы не в ожесточенном зверстве, которое всегда индивидуально, но в продуманном планировании гибели целых народов (не только евреев, также и цыган). И тут чувство подводит меня. Вместо того, чтобы ужаснуться еще больше, я неожиданно возвращаюсь к знакомому мне и лишенному ужасных подробностей воспоминанию, естественно сопровождавшему мое детство, как постоянный фон. Я помню бесчисленные летние палатки на окраине сибирского городка, где мы были во время войны, в которых всю зиму жили "эстонцы". Так у нас называли иностранного вида рослых, красивых людей, работавших в своих когда-то аккуратных мундирах на открытом воздухе при температуре -40° и умудрявшихся даже при этих условиях сохранять бравый вид. Это, на самом деле, были сосланные в Сибирь латыши, литовцы и эстонцы, от которых ожидали вскоре полного вымирания. Действительно, каждую ночь хоронили их несколько сотен и к лету не осталось уже ни одного. Тогда на их место прислали "узбеков", которые выглядели гораздо хуже, но умирали так же хорошо. Весь город, конечно, это знал и видел. Но если про "эстонцев", по крайней мере, говорили: "Жалко, такие красивые люди", об "узбеках" никто не сожалел, потому что они были грязные и некрасивые. По городу ходило множество смешных анекдотов о их жадности и коварстве в соединении с глупостью. В общем, их грехи сводились к мелкому воровству, торговле урюком и плохому владению русским языком в соединении со стремлением выжить. Это стремление и урюк затащили их пребывание в нашем городе на все годы войны, так что я допускаю даже, что некоторые из них действительно выжили.

В 14 лет, через год после конца войны, я сам попал в лагерь по политическому обвинению (в антисоветской пропаганде) и не считал себя пострадавшим несправедливо, ибо действительно пытался, насколько я мог в этом возрасте, вести антисоветскую пропаганду. Срок, к которому присудили нас с другом (тоже 14 лет), был

всего три года, но первые же месяцы убедили нас, что мы не протянем и года. Мы начали готовить для себя наиболее безболезненное самоубийство, но через полгода дело было пересмотрено Верховным Судом. Хотя семьи и уплатили грандиозную взятку, перемена судебного решения была все же неслыханной удачей, и мы вернулись к жизни, не очень веря в окончательность своей счастливой судьбы. Отец моего друга и подельника погиб в лагерях восемью годами раньше. Друг получил еще один срок спустя всего два года. Я отделался почти только легким испугом. Мой отец, дядя, двоюродный брат и бабушка провели в разное время в тюрьмах и лагерях, где люди мерли, как мухи, от года до десяти. Бабушка отметила – удачно, что меня посадили в таком раннем возрасте, так как по ее словам “прививку лучше делать пораньше”. При этом я подчеркиваю, что происхожу из обычной семьи технических интеллигентов, не склонных не только к правонарушениям, но даже незаинтересованных в политике. По нашим стандартам семья обошлась, в общем, благополучно. Никто ведь не был расстрелян. Однако, такая обстановка при воспитании не могла способствовать моему восприятию Катастрофы, как чего-то из ряда вон выходящего.

Возможно, я с детства зачерствел душой.

Нельзя сказать, что я не был задет Катастрофой лично. Наши родственники погибли в гетто в Харькове. Вернувшись в Харьков после войны, мы от соседей узнали, что Лева – мальчик из этой семьи, с которым я дружил, тайком прибегал из гетто за провизией для сестры и матери. Соседи говорили, что предлагали ему скрыться, но он не мог бросить мать и сестренку и предпочел смерть с ними вместе. Я очень ясно представлял себе его жизнь и даже гибель. Мне труднее было себе представить жизнь соседей в таких обстоятельствах. Я полагал естественным, что оккупанты убили Леву и всех остальных. А чего же еще можно было ожидать от оккупантов? Но как умудрились выжить соседи? И у них даже нашлось как будто, что Лева подать?

Почему все же по вопросу о нацистских преступниках и их преступлениях против нашего народа я склонен скорее к компромиссной позиции? Тот факт, что я с детства был свидетелем сравнимых по масштабу и жестокости преступлений, настраивает меня скорее мстительно...

Однако, глядя на эти беспримерные преступления, так сказать, изнутри, я вижу ясно, что их причиной, по крайней мере в знако-

мом мне случалось, являлось, в первую очередь, порочное государственное и общественное устройство, к которому и должна быть обращена наша бескомпромиссность. Хотя ответственность отдельных людей подчас оказывается решающей, она может и должна рассматриваться лишь индивидуально и в связи с обстоятельствами жизни именно этих отдельных людей. Я не знаю, кто был комендантом лагеря уничтожения "эстонцев" в нашем городке. Но, если бы он оказался евреем, я не считал бы эстонцев на этом основании вправе плюнуть на могилу моего дедушки. Я знаю, что даже членство в такой организации, как КГБ, не мешало отдельным (редким, впрочем) людям совершать порядочные поступки, даже подвиги милосердия, в то время как отдельные же беспартийные индивиды возвышались в своем неистовстве до уровня добровольных палачей, заслуживших быть исключенными из человечества.

Исходя из этого опыта, я легко могу себе представить, что мой родственник Лева сбежал из гетто вследствие халатности, или даже снисходительности, охранника-эсэсовца, закрывшего глаза на бегство мальчишки, а затем был выдан на расстрел теми самыми соседями, у которых он пытался укрыться и которые так живо описывали мне свое сочувствие. Немец-то ведь и не разберет, какой советский мальчик еврей, а какой украинец. Тут нужно особый глаз иметь...

После войны растяпа-эсэсовец был, допустим, повешен (как раз в Харькове произошла публичная казнь нескольких нацистских преступников, а отношение советских следователей к истине мне известно), или просто пропал в Сибири, или танком его раздавили, а смекалистый Левин сосед отсиделся возле своего огорода и пережил даже сталинские чистки. Должен ли я сейчас, спустя сорок лет, осквернить могилу этого предполагаемого несгибаемого эсэсовца и послать цветы на могилу предполагаемого добросердечного соседа? А что, если именно сосед — предатель и виновник? Кто во всем мире может ответить мне, как было на самом деле?

Конечно, эти мои подозрения не имеют силы доказательств и основаны лишь на гипотетических возможностях и обширной статистике массовых преступлений на оккупированной территории. Но вот товарищ Сталин все учел и всех подряд, остававшихся на оккупированной врагом территории, поставил под подозрение, заставив отмечать этот факт во всех их документах. Таким образом Сталин разрабатывал и осуществлял не только планы собственных грандиозных преступлений, но и процедуры не менее грандиоз-

ных наказаний и отмщений за косвенное пособничество чужим преступлениям. Прямое пособничество наказывалось отдельно*. До самой его смерти, и даже несколько позже, все 50 миллионов потенциальных коллаборантов еженощно дрожали, опасаясь ареста, и оставались гражданами второго сорта в глазах всех официальных инстанций в СССР. Хотим ли мы того же самого для оставшегося в живых немецкого народа? И уже без ограничения срока?

Разумеется, мы не можем им реально насолить, но морально нанести им такой тотальный ущерб мы бы хотели? Я не уверен в этом. Я почти уверен в обратном. Божественное правосудие не передано в наши руки...

Значит ли это, что я считаю возможным их простить? — Нет.

Преступления нацистов вообще во многих их аспектах имеют аналогии и параллели в истории человечества. Их преступление против еврейского народа беспрецедентно. Даже сходное по масштабам убийство армян турками радикально отличается от Катастрофы своей примитивной эмоциональностью. Банальность мотивов отдельных исполнителей и очевидная мелкость многих вдохновителей этого преступления не должны затмевать его уникальный характер и небанальный смысл. Это событие останется среди феноменов, которые должны быть рассмотрены на более широком фоне, чем только история Европы середины XX века. Сравнимое во многих отношениях событие описано в книге Бытия, в главе 4: "Встал Каин на Авеля, брата своего, и убил его". Сходство состоит не только в том, что в отличие от обычных междоусобиц Каин убил брата, который не защищался. Оно состоит также в том, что мотив убийства был исключительно идеалистическим: "...призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел". Спор шел о ценностях невидимых, и Божественная справедливость остается для нас необъясненной. Таинственность смысла этого преступления подчеркивается таинственностью кары: "...что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты... И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно... и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встре-

*И. Сталин крепко держал в руках Добро и Зло. Жаль только, что и его добро тоже всегда проявлялось в форме зла. Это происходило именно вследствие абсолютного характера его действий.

тившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня...”

Что за странная забота о безопасности убийцы со стороны Бога Мщения? И не столь же ли странно звучит увещание, обращенное к Каину еще до убийства: “...отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним”. Бог знал о преступлении и дал ему свершиться. Его сче-ты с Каином выше плоского понимания антитезы преступления и наказания. Ведь наказание снимает вину... Мы вправе прощать либо наказывать только несомненные, банальные преступления. Эйхман, к собственному облегчению, мог быть повешен, потому что он был лишь ничтожным исполнителем, жалким пособником Преступления... Истинных виновников мы не можем не только на-казать, но, в сущности, даже обнаружить... Как люди, а не боги, мы не имеем права огульно объявлять преступниками не только целые народы (“всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро...”), но даже и отдельные категории граждан (нацистов, коммунистов) без четко ограниченной общепризнанной судебной процедуры. Не можем мы также добиваться от нового поколения немцев (а почему об австрийцах, кстати, никто не упомянул?), чтобы они огулом признали своих отцов падалью, которая заслужила свою собачью смерть от бомбы или от русского штыка. Это не было бы мораль-ной победой. Наша еврейская история к тому же такова, что если мы захотим дальше пойти по этому непримиримо разоблачитель-ному пути, нам придется проклясть все человечество. Однако, на-ша способность прощать и забывать все еще выше общемировых стандартов. Может быть, оставаться избранным народом — это зна-чит позволить другим народам быть такими, каковы они есть?

Возможно, кто-нибудь возразит, что в том и состоит миссия еврейской диаспоры, чтобы принудить народы стать выше, чем они есть. Чтобы толкать их по пути нравственного совершенства выше их сегодняшних возможностей...

Может быть, и в этом правда... Но ведь это — дело веры. Веры в Миссию. Веры в Диаспору. Веры в то, что влияние евреев диас-поры на окружающие народы ведет к повышению их нравственно-сти. Израильтянину позволено в этом сомневаться. Нравствен-ность — такая зыбкая вещь. Уследить бы за своей.

В конце концов Р. Рейган достойно вышел из положения при-звавши рассматривать также и убитых в боях немцев, как жертв безумного режима, ибо само это определение уже исключает тех из

них, кто был в действительности сознательным преступником. Что ж, он простил своих врагов. Его прощение несколько не снимает их вины по отношению к нам. Никто не может простить от чужого имени. Но и осудить заочно не дано никому.

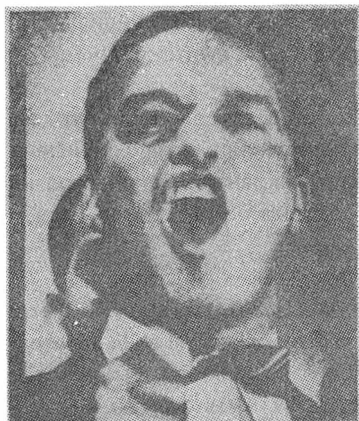
Мне кажется, что под непосредственным впечатлением Катастрофы. Э. Визель и многие другие усвоили такой апокалиптический взгляд на мир, что подсознательно ожидают осуществления справедливости в реальной политической жизни после Катастрофы. То есть, в ходе Катастрофы зло проявлялось столь абсолютно, что победа над ним во второй мировой войне могла пониматься, как торжество добра (тоже, возможно, абсолютного). А сама эта Война — как некий “последний и решительный бой”. Во всяком случае, следы этого ощущения очень ясно сказываются в абсолютности их требований к американскому и немецкому правительствам в отношении нацистских преступников. Однако, в мире нет ни одного правительства, которое могло бы удовлетворить таким требованиям. Беспрецедентность нацистских преступлений отнюдь не обеспечила ни беспрецедентной справедливости наказаний, ни даже полной правоты победителей. Катастрофа уже ушла в прошлое, а Страшный Суд еще не наступил. Мир после Катастрофы остался таким же несовершенным, каким был и до нее... В известном смысле он стал хуже. Мы можем обсуждать, прощать ли или не прощать убийц, но мы уже не в силах отменить прецедент. Его соблазняющее влияние на умы людей, которых не волнует наше прощение, несомненно. Его значение для будущей истории не может внушить оптимизма.

КАРИ ИЗБРАННОЕ

Книга избранных произведений Кари Унксовой включает стихи и автобиографию в прозе (1970—1983 гг.). Объем 238 стр. Стоимость: в Израиле — в мягк. переплете — 10 шек., в тв. переплете — 15 шек. За рубежом — в мягк. переплете — 8 долл., в тв. переплете — 12 долл., пересылка — 1 долл.

Заказы и чеки направлять по адресам: в Израиле — I. Zundelevich, P. Hevroni 118—51, Jerusalem 966—33, tel. 02-410-85; в США — Kari Unksova Fond, 146 G Street SW, Washington, DC 20024.

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ



Михаил Вартбург

**ЛУИ ФАРАККАН:
ДЕМАГОГ И ТОЛПА**

Они пожирали его глазами, они с восторгом встречали каждое его слово, они взвинчивали себя его обвинениями и угрозами в адрес отсутствующего "врага", они рвались на сцену, чтобы обнять своего любимца. 25 тысяч американских негров до отказа заполнили крупнейший в Нью-Йорке зал Медисон сквер гарден, чтобы услышать преподобного Луи Фараккана.

"Почему газеты не пишут, что я напоминаю Иисуса? — вопрошал он под сочувственный вой назлектризованной толпы. — Иисус был ненавистен евреям, и я ненавистен тем же евреям!" (Возгласы одобрения, аплодисменты.) "Назовите мне, кто убил Христа?" (Крики: "Евреи!") "Еврейское лобби набросило удавку на горло американского правительства!" (Возгласы: "Правильно! Врежь им, парень!") "Кто эти кровососы, эти убийцы, эти поклонники грязной религии? Смотрите, евреи, когда Господь поведет вас к печам, будет уже поздно!" (Крики восторга, бурная овация.)

Так описывал недавнее выступление Фараккана в Нью-Йорке американский журнал "Тайм". Появление в Медисон сквер гарден было заключительным в лекционном турне Фараккана. Он начал его в феврале в Чикаго. Здесь, на так на-

зывается "Дне спасения" американских негров, он говорил не о негритянских проблемах — он говорил прежде всего и больше всего о сионизме. По его просьбе для собравшихся было передано специальное выступление Муамара Кадаффи — прямо из Ливии, через спутник связи. Диктатор Ливии сообщил, что выделил Фараккану и его организации "Исламская нация" беспроцентный заем в 5 миллионов долларов.

В июне Фараккан выступал в Вашингтоне. И снова встреча была посвящена проблемам негритянского населения, и снова Фараккан уделил этим проблемам всего 4 минуты из своей полуторачасовой речи. Все остальное время он говорил о сведении счетов с белыми в ходе предстоящей "ужасающей войны, которая потрясет мир".

В сентябре черный проповедник прибыл в Лос-Анджелес. Еврейская община потребовала отменить его выступление. Черный мэр города Том Брэдли отказался. Он заявил, что обещал негритянским лидерам "дать Фараккану возможность исправить впечатление после Вашингтона". В конце концов, Фараккану разрешили выступить. Его очередная речь была еще более антисемитской, чем прежние.

И наконец, в октябре — Нью-Йорк, зал Медисон сквер гарден, 25 тысяч восторженных поклонников, вооруженные телохранители у входа женщины в белых униформах, охраняющие оратора на сцене, и снова проповедь насилия и погрома под привычный уже, истерический рев черной толпы.

"Тайм" пишет: "Самое ужасное в этот вечер состояло даже не в самом Фараккане: в конце концов, он всего лишь мелкий демагог, лишенный всякой виртуозности, и если бы толпа не была заранее готова услышать его "откровение", Фараккан вряд ли сумел бы ее увлечь. Самым ужасным в этот вечер была именно толпа".

Демагог и толпа — как поставленные друг против друга зеркала. Некогда между двумя такими зеркалами гадали о будущем. Что отражают сегодня эти черные зеркала Америки? И прежде всего — кто такой Луи Фараккан, о котором еще недавно знали лишь немногие и который сейчас собирает самые большие черные аудитории, каких не собирает ни один другой негритянский лидер — включая Джесси Джексона?

30 лет назад Луи Юджин Валькотт был певцом и танцором в заурядном негритянском ночном клубе в Чикаго. Его жизнь круто повернулась в начале 50-х годов, когда он сошелся с человеком, который именовал себя "Посланцем Аллаха" — лидером малоиз-

вестной тогда организации “Исламская нация” Элиа Мухаммедом. “Исламская нация” проповедовала доктрину “скорого избавления”: Аллах должен “вот-вот” обрушиться на землю новую священную войну, в пламени которой погибнут все белые, после чего к власти придет черный “избранный народ”, а его авангард — черные мусульмане Америки. Самым ярким глашатаем этой доктрины в рядах “Исламской нации” был некий Малькольм Х — страстный оратор с аскетичным лицом фанатика. Его усилиями движение за каких-нибудь 10 лет разрослось до полумиллиона членов. Но за спиной Малькольма незаметно поднималась фигура нового лидера — Луи Фараккана, как стал называть себя Валькотт. Когда в начале 60-х годов между Малькольмом и Элиа Мухаммедом начались разногласия, и Малькольм обвинил главаря “Исламской нации” в лжи, лицемерии и разврате, Элиа поручил Фараккану “заняться отступником”. На митинге движения в Чикаго Фараккан заявил: “Человек, подобный Малькольму, заслуживает смерти!” Через три недели Малькольма застрелили в одном из танцевальных залов Гарлема. Убийцы принадлежали к “боевому отряду” “Исламской нации”. Они были осуждены. Фараккан избежал наказания и получил от Элиа Мухаммеда достойную награду — “приход” в Нью-Йорке. Вскоре его приход стал одним из немногих мест в городе, где всегда и беспрепятственно можно было купить экземпляр “Протоколов сионских мудрецов”. Отсюда расходились по стране едва завуалированные — для приличия — призывы к расправе с “врагами Ислама”, нашедшие живой отклик у членов распространившихся тогда мусульмано-негритянских “сект смерти” — они отрубали своим жертвам головы и выставляли их лицом к западу, затылком к священной Мекке, словно объясняя провинность казненных.

Когда в 1975 году Элиа Мухаммед умер, оплакиваемый своим гаремом, а его сын стал поворачивать движение на более умеренные рельсы, Фараккан отказался подчиниться новому лидеру и откололся от него с небольшой, в несколько сот человек, группой, сохранившей прежнее название и все аксессуары движения, вплоть до его “боевой группы” вооруженных телохранителей в синих мундирах. Группа влачила жалкое существование и была совершенно незаметна на общеамериканской сцене, пока в 1984 году Джесси Джексон, выдвинувший свою кандидатуру в президенты США, не пригласил Фараккана принять участие в своей предвыборной кампании. Фараккан использовал этот шанс. Вскоре разрази-

лось так называемое “дело Кольмана”. Негритянский журналист Мильтон Кольман обвинил Джексона в антисемитизме. Фараккан бросился на защиту лидера. В своих речах он шумно призывал “наказать” Кольмана за “измену великому черному делу”. Его призывы встретили сочувственный отклик в черных аудиториях Америки. Уловив настроения толпы, Фараккан сделал антисемитизм и антисионизм основной темой своих участвовавших выступлений. Он провозгласил, что Гитлер был “великий немец и великий человек”. Он назвал Кадаффи “великим соратником в борьбе за освобождение нашего народа”. Он заявил, что известный негритянский певец Майкл Джексон “лишился всей своей мужественности, потому что ее высосали из него еврейские заправилы Голливуда”. Вскоре он стал знаменем всех воинствующих черных националистов Америки — от бывших “Черных пантер” до бывших “мусульманских смертников”. В числе его приближенных появился знаменитый в 60-е годы лидер “Черных пантер” Стокли Кармайл, который утверждает, что Катастрофа — это еврейский вымысел, а государство Израиль — “коллективный преступник”. Еще один соратник Фараккана, Рассел Минз из “Американского индейского движения”, проповедует раздел будущей Америки, после “очистительной войны”, между неграми и индейцами — этими “подлинными” хозяевами богатств страны. Представитель “Палестинского конгресса” в Соединенных Штатах Саид Арафат выступает на митингах Фараккана с лозунгом: “Сионизм — это раковая зараза человечества”.

Лидеры американских еврейских общин возмущены выступлениями Фараккана — но, пожалуй, не очень встревожены. Рабби Зельдин из Лос-Анджелеса заявил после визита туда Фараккана: “Мы сожалеем, что негритянские лидеры не дали отпор этим нелепым наветам”. Но негритянские лидеры не только не встревожены, но, пожалуй, даже не возмущены. Эндрю Янг, бывший представитель США в ООН, а ныне мэр Атланты, заявил, что на 90% согласен с Фаракканом и не считает его экстремистом. На конференции черных мэров Америки во время предвыборной кампании 1984 года Фараккан удостоился овации, а один из присутствующих назвал его “совестью черной Америки”. Мэр Лос-Анджелеса Том Брэдли, который считается ведущей фигурой среди “умеренных” черных лидеров США, отмежевался от высказываний Фараккана на лос-анджелесском “Форуме”, но при этом заявил: “Я не думаю, что его угрозы следует воспринимать всерьез... Фараккан не отражает настроений черного большинства”.

Том Брэдли скорее всего ошибается. Демагог Луи Фараккан лучше чувствует настроения толпы. Что-то изменилось в королевстве датском, если Луи Фараккан с его антисемитскими проповедями стал любимцем негритянских аудиторий, потеснив даже Джесси Джексона. Взлет Луи Фараккана означает подъем нового черного антисемитизма.

В книге известного американского публициста Чарльза Зилбермана, опубликованной в минувшем году в США (см. рецензию на нее в этом номере журнала) недвусмысленно констатируется: хотя за последние десятилетия антисемитизм среди белых американцев заметно упал, он одновременно заметно возрос среди черного населения. Опросы показывают, что враждебность к евреям среди негров вдвое выше, чем среди белых, и больше половины опрошенных черных заражены антисемитскими предрассудками. При этом молодые негры резче настроены против евреев, чем старшее поколение; образованные фанатичнее, чем неграмотные. Опрос пятидесяти трех лидеров негритянской общины показал, что среди них антисемитов вдвое больше, чем среди черного населения в среднем. Наконец, опрос черных делегатов на предвыборной конвенции демократической партии в 1984 году выявил, что три четверти из них стояли за то, чтобы Джесси Джексон не отмежевывался от Луи Фараккана. (Джесси Джексон не отмежеввался: он назвал Фараккана "достойным членом" черной общины, который заслуживает, чтобы его очистили от обвинений.)

Было время, когда между лидерами черной и еврейской общин Америки сложился тактический союз. Обе общины боролись тогда против расовых предрассудков американского общества за полноту реальных прав. Еврейские активисты и интеллектуалы поддерживали Мартина Лютера Кинга и его соратников. Негры видели в евреях естественных союзников, которые помогут им преодолеть социальное и экономическое отставание, вызванное, как тогда считалось, расовой дискриминацией.

Но уже и в те годы "еврейско-негритянской идиллии" под спудом тактического союза таились глубокие разногласия. Существовал массовый черный антисемитизм. Частично он был порожден экономическими причинами, частично был отражением антисемитизма белого, религиозного, протестантского, частично был отражением общего враждебного отношения негров к белым. Но даже на фоне этого общего отношения враждебность негров к евреям была особенной. Известный негритянский писатель Ричард Райт

писал еще в 1945 году, что "все черные ненавидят своих соседей-евреев, это в них с детства, это часть их культуры". Другой известный негритянский писатель Джеймс Болдуин тогда же утверждал, что из всех белых негры больше всего ненавидят именно евреев. Несколько лет спустя Болдуин выступил с на шумевшей статьей "Мой еврейский вопрос", в которой от имени многих черных интеллектуалов откровенно признавался во враждебности к евреям, объясняя это тем, что евреи якобы оттесняют негров на социальной лестнице. Ему ответил тогда редактор крупнейшего еврейского журнала "Комментарии" Норман Подгорец, написавший статью "Мой негритянский вопрос", в которой от имени евреев предъявлял неграм счет за жестокие преследования и ничем не оправданную ненависть. Позднее, в книге "Выходя из рядов", Подгорец вспоминал, что именно в ходе этой дискуссии перед многими еврейскими интеллектуалами радикального лагеря встал их "негритянский вопрос" — они впервые усомнились тогда в абсолютной правоте негритянских претензий и в справедливости затверженных радикальных лозунгов о "вине белых", о "долге перед черными", о "преступной политике истеблишмента", которая одна якобы повинна в тяжелом положении американских негров.

Эти сомнения оказались пророческими. В последующие годы негры получили полноту гражданских прав. Произошла десегрегация школ. Были введены так называемые "положительные акции", облегчающие неграм поступление в университеты и на работу (даже впереди белых). Но ни одна из этих мер не изменила положения черных. Ни одна из открывшихся перспектив не была ими использована. Негры почти не поднялись по социальной лестнице. В 80-е годы они уступили в этом подъеме не только евреям, но даже новым иммигрантам — латиноамериканцам и азиатам. В номере, посвященном положению этнических общин в США, журнал "Тайм" в середине 1985 года приводил поразительную — и типичную — историю еврейских лавок в Гарлеме. Брошенные бывшими владельцами, ушедшими в более зажиточные районы, эти лавки простояли пустыми десятилетия, пока в них не появились новые хозяева — латиноамериканцы. Но за все эти десятилетия никому из негров Гарлема не пришло в голову самим заняться прибыльным делом: негритянская молодежь и сейчас, как десятилетия назад, занята тем, что демонстрирует против "кровососов" — только раньше это были "еврейские кровососы", сегодня — это "крово-сосы" латиноамериканские.

Не помогают никакие призывы черных лидеров к “негритянской экономической независимости”, никакие кампании “негритянской экономической взаимопомощи”. Возникает жуткое подозрение, что в положении негритянской общины повинны прежде всего — сами черные. Это порождает отчаяние, порой даже ненависть и презрение к себе. Жить с этим невозможно; такие чувства должны найти выход в обвинении “других” в своей беде. В ненависти к “виновнику”. Почти естественно, что таким “виновником” неудачи становятся евреи — бывшие союзники в борьбе за социально-экономический подъем. Те самые удачливые евреи, которые выбились наверх, тогда как негры остались внизу. История еврейско-негритянских отношений в Америке напоминает историю обманутой любви. Она повторяет известный в веках стереотип. Так некогда Магомет возненавидел евреев, которых считал естественными союзниками своей новой религии, во многом заимствованной у самих евреев, и которые отвергли его призыв о “совместных действиях”. Так Лютер, искавший союза с евреями Германии в начале им протестантском походе против католичества, стал яростным антисемитом, когда “народ Библии”, вдохновлявшей протестантство, отказался от такого союза. Все отвергнутые любви в чем-то сходны; каждая варьирует этот сюжет по-своему, обогащая стереотипный антисемитский сюжет. Новый черный антисемитизм в Америке начался на фоне экономической конкуренции и религиозных предрассудков; в ходе времени он обогатился психологическими обертонами; постепенно в нем начали звучать и преобладать политические ноты. Сегодня главные носители этого антисемитизма — “удачливые” черные, люди, выбившиеся наверх: студенты, профессора, писатели, интеллектуалы, политические и общественные лидеры. И одно это показывает, что новый черный антисемитизм уже не имеет чисто экономического характера. Он направлен не столько против конкретного еврея-соседа, владельца мелкой лавочки, может быть — действительно “кровососа”. Его главный объект — абстрактный мистический Еврей — Носитель Мирового Зла.

Как произошло это превращение? Разочаровавшись в союзе с еврейской общиной Америки, негритянские лидеры начали искать новых союзников и закономерно пришли к блоку с народами Третьего мира. Скрепляющим звеном этого блока оказалась “левая” идеология радикального марксистско-маоистского толка, провозглашавшая, что человечество делится на “имущих” и “не-

имущих". Идеологи Третьего мира добавили к этому "проблему цвета": они утверждали, что во всем мире "имущие" — это белые, а "неимущие" — цветные. Это создавало естественную базу для присоединения к этой идеологии и американских негров. Вступая в такой блок, они автоматически из меньшинства (внутри Америки) превращались в большинство (во всем мире), а их борьба — шедшая, фактически, под лозунгом "грабь награбленное" — приобретала престижный характер самой первой в истории фазы всемирного протеста "неимущих цветных народов". Уже в 1979 году Болдуин выступил с развернутой программой черного движения, в которой разделил человечество на "имущие и неимущие народы" и назвал Израиль "защитником интересов имущих, символом колониализма, расизма и империализма". Болдуина поддержал другой негритянский "теоретик", полукровка Джоэль Дрейфус, который заявил, что "отставка Эндрю Янга — это часть борьбы между имущими и неимущими, всемирной борьбы за власть, в ходе которой евреи и черные стоят по разные стороны баррикады".

Так на острие "всемирной борьбы" между имущими и неимущими оказались мистические Евреи. Это было вполне закономерно. Тут тоже — со своими вариациями — повторялась общеисторическая схема. В одной из своих статей Александр Воронель когда-то подчеркнул примечательное различие между украинско-польским и великорусским антисемитизмом. В то время, как поляки и украинцы имели давние реальные контакты (и реальные счета) с конкретными евреями, великороссы реальных евреев фактически не знали, и их антисемитизм имел иной, абстрактный, почти мистический характер страха и ненависти не к экономическому, а к "метафизическому конкуренту". Претендуя на звание "нового избранного народа", они как бы расчищали себе дорогу, символически "вытесняя" евреев с этого места путем изображения их "избранниками Сатаны", а не Бога. Недавно Станислав Лем вскрыл аналогичный механизм нацистского антисемитизма: здесь "избранная раса" даже прибегла в своем "вытеснении евреев" к инсценировке Страшного суда над ними — в виде массовых расстрелов и сожжения в печах. (См. Ст. Лем, "Провокация", "22", №№ 43—44.) Видимо, это общий механизм: новый черный антисемитизм тоже начинается с провозглашения "избранности" негров — этого "авангарда" нового "избранного класса неимущих" — и кончается ненавистью к "конкуренту" — мистическому Еврею вообще. На этом пути "еврейский вопрос" черных идеологов типа Болдуина неизбе-

жно смыкается с “еврейским вопросом” арафатовских и других “борцов за национальное освобождение”, с “еврейским вопросом” Кадаффи и Асада, а также с “еврейским вопросом” всемирной левой идеологии современности.

Появление нового черного антисемитизма с его акцентом на политической мистике “еврейского заговора” и его международными антиссионистскими связями обозначило некий рубеж в американской политической жизни. До сих пор идеология не играла в ней особой роли. Через Джесси Джексона, Луи Фараккана и других отчетливо заявила себя тенденция использования антисемитизма как политического, идеологического оружия в межпартийной и межэтнической борьбе.

Несмотря на это, 65% американских евреев на выборах 1984 года остались традиционно верны демократам; лишь 35% проголосовали за Рейгана. Некоторые обозреватели объясняли это принадлежностью евреев, в основном, к средним классам — в отличие от республиканцев, связанных с “крупным капиталом”; другие утверждали, что многие американские евреи никак не могут поверить в серьезность черного антисемитизма, особенно после того, как в недавние десятилетия отдали столько искренних усилий борьбе за негритянские права.

Но помнит ли еще об этом **новое поколение** американских негров — те, кто пришел слушать Луи Фараккана в Медисон сквер гарден? “Эта толпа, — писал американский журналист Розенблатт, — была **вперед** своего лидера, она с **готовностью** воспринимала его призывы,”

У входа на лекции Фараккана его телохранители обыскивают всех до единого: не спрятал ли кто оружие? Но никто, разумеется, не заглядывает в умы пришедших в зал людей. Что привело их сюда? Почему их становится все больше? Кому они понесут полученное “откровение ненависти”? Извечные вопросы, которые всегда возникают при виде демагога и толпы...

Этот очерк уместно, пожалуй, закончить цитатой из редакционной статьи журнала “Тайм”: “Будь Фараккан одиночкой, на него можно было бы не обращать внимания. Но он имеет сообщников в десятках тысяч людей. Они опаснее своего кумира, потому что они — **анонимны**. Вот сейчас они вышли из зала и медленно растекаются по окрестным улицам, бурно обсуждая услышанное. Они заражены ненавистью и ждут сигнала. Завтра с утра они растворятся в городской толпе”.

КУЛЬТУРА

В одной из своих книг мой друг Иосеф Шкворецкий описал подлинное происшествие: несколько лет назад один пражский инженер был приглашен на научный симпозиум в Лондон. Он отправился туда, участвовал в симпозиуме и вернулся в Прагу. В тот же день, сидя в своем кабинете в Праге, он открыл "Руде право", орган чехословацкой компартии, и вот что он там прочитал: "Чешский инженер, посланный на симпозиум в Лондон, сделал заявление, шельмующее нашу социалистическую родину, и попросил политическое убежище на Западе".

Побег на Запад в сочетании с "клеветническим заявлением" — обвинение тяжелое. Двадцать лет тюрьмы, как пить дать. Наш инженер не верил своим глазам. Но сомневаться не приходилось — речь шла о нем. Вошедшая в кабинет секретарша с ужасом воскликнула: "Боже мой, вы вернулись?! Вы читали, что о вас пишут?"

В ее глазах инженер увидел страх. Что делать? Он отправляется в редакцию "Руде право", находит редактора. Тот извиняется — действительно, неприятная история, но он тут ни при чем, статья получена прямоком из министерства внутренних дел.

Милан Кундера

ДВА ЭССЕ:

1. ГДЕ-ТО ТАМ, В ГЛУБИНЕ

Наш инженер отправляется в министерство. Там ему заявляют, что это, конечно, ошибка, но они тут ни при чем — сообщение получено прямиком из лондонского посольства. К сожалению, у нас не принято публиковать опровержения, говорят ему, но беспокоиться нечего, ему ничего не грозит.

Но инженер не зря беспокоился. Вскоре он обнаружил, что его телефон подслушивается, а за ним ходят сыщики. Ему начинают сниться кошмары, его настигает бессонница, и вот в один прекрасный день, не в силах более выносить это напряжение, он принимает поистине рискованное решение и нелегально бежит из страны. Так он становится действительным эмигрантом.

2.

Я бы назвал эту историю, банальную для сегодняшних пражан, кафкианской. Это понятие, заимствованное из литературы, созданное всего лишь воображением писателя, оказывается единственным общим знаменателем всех (литературных и жизненных) ситуаций, которые нельзя определить никаким иным образом и понимания которых не дают нам ни политология, ни социология, ни психология.

Что же такое кафкианская ситуация?

Попробуем описать некоторые составляющие этого понятия.

Во-первых:

Инженеру противостоит власть, которая напоминает непостижимый лабиринт. Ему никогда не удастся пройти до конца его бесконечные коридоры и узнать, кто вынес ему роковой приговор. Он находится в такой же ситуации, как Иосиф К. относительно своих судей или лесничий К. относительно Замка. Все трое живут в мире, который представляет собой запутанное, как лабиринт, Учреждение, и не могут ни выбраться из него, ни его понять.

И до Кафки многие писатели представляли "учреждения" как арену столкновения личных и общественных интересов. Но только у Кафки оно оказывается механизмом, имеющим собственные законы, установленные неведомо кем и когда и не имеющие ничего общего с интересами людей, а следовательно — непонятные.

Во-вторых:

В пятой главе "Замка" управляющий подробно объясняет К. запутанную историю его дела. Сокращенно: лет за десять до того посланец деревни потребовал, чтобы Замок вызвал лесничего. Затем было решено, что требование это безосновательно, и в Замок отпра-

вили новое послание, в отмену предыдущего. Но это второе послание где-то затерялось и было обнаружено лишь спустя много лет, как раз когда К. был наконец вызван. Следовательно, его приезд в деревню — результат недоразумения. Хуже того: поскольку Замок и деревня составляют — по логике романа — весь мир, само существование К. является не более, чем недоразумением.

В мире Кафки циркуляры похожи на платоновские идеи. Только они обладают подлинной реальностью, тогда как физическое существование человека есть всего лишь тень на экране иллюзий. Лесничий К. и пражский инженер являются тенью относящихся к ним циркуляров и даже менее того — тенью ошибок в этих циркулярах. Тенью, не имеющей даже права на свое теневое существование.

Но если человеческая жизнь всего лишь тень, а подлинная реальность принадлежит непостижимой, нечеловеческой и надчеловеческой сфере, то мы сразу оказываемся в кругу теологии. Вот почему первые критики Кафки трактовали его романы как религиозные притчи.

Такая трактовка кажется мне ошибочной, потому что она ищет аллгорию там, где Кафка описывал конкретные жизненные ситуации. Тем не менее эта трактовка содержательна: всюду, где власть приобретает характер данной от Бога, она автоматически создает собственную теологию; всюду, где она ведет себя, как Бог, она вызывает религиозное преклонение; мир можно описать на языке теологии.

Кафка не стремился к созданию религиозных аллегорий, но природа кафкианского мира (как в литературе, так и в действительности) имеет теологический (точнее, псевдотеологический) аспект.

В-третьих:

Раскольников не может вынести тяжести своего преступления; стремясь обрести душевное спокойствие, он добровольно соглашается принять наказание. Это знакомая ситуация, в которой **преступление требует наказания.**

У Кафки происходит обратное. Наказанный не знает, за что он наказан. Абсурдность наказания столь невыносима, что, стремясь к душевному спокойствию, человек пытается найти оправдание своему наказанию: **наказание требует преступления.**

Пражский инженер наказан суровым полицейским досмотром. Это наказание требует преступления, которое однако еще не совершено, и вот инженер, обвиненный в том, что эмигрировал, в

конце концов действительно эмигрирует. **Наказание наконец-то находит завершение в преступлении.**

Не зная, в чем состоит его вина, Иосиф К. в седьмой главе "Процесса" решает припомнить всю свою жизнь, все свое прошлое "в мельчайших деталях". Этим запускается в ход машины самообвинения. **Обвиненный ищет свою вину.**

Как-то раз Амалия получает из Замка гнусное письмо. В возмущении она рвет его на клочки. Замок даже не реагирует на ее смелый поступок. Начинает действовать механизм страха — того самого, который инженер увидел в глазах своей секретарши. Без всякого приказа из Замка люди начинают сторониться Амалии, как зачумленной.

Отец Амалии пытается защитить дочь и семью. Но тут возникает трудность: невозможно отыскать, кто вынес приговор. Более того — оказывается, что никакого приговора нет. Чтобы апеллировать, чтобы просить помилования, нужно сначала оказаться осужденным! Отец умоляет людей из Замка объяснить, какое он совершил преступление. Выходит, наказание не просто требует преступления. В этом псевдотеологическом мире **осужденный умоляет, чтобы его признали виновным.**

Сегодня часто случается, что пражанин, попавший в немилость властей, не может нигде найти работу. Тщетно он просит тогда, чтобы ему выдали справку, что он совершил преступление и потому не может быть принят на работу. Такую справку ему не дают. Но поскольку в Праге работа является обязанностью, его в конце концов обвиняют в тунеядстве, иными словами, в уклонении от работы. **Наказание находит преступление.**

В-четвертых:

История пражского инженера смешит; она похожа на анекдот; она заставляет улыбнуться.

Два совершенно бесцветных господина являются в один прекрасный день к Иосифу К., который еще лежит в постели, извещают его, что он арестован, и съедают его завтрак. Будучи дисциплинированным чиновником, К. не вышвыривает их за дверь, а страстно оправдывается, стоя перед ними в ночной пижаме. Когда Кафка читал друзьям первую главу "Процесса", все смеялись — включая автора.

Филипп Рот мечтало постановке фильма по "Замку"; в роли лесничего ему виделся знаменитый комик Гручо Маркс, а в роли помощников — два его брата. Он был совершенно прав: комизм —

это органическая, фундаментальная составляющая кафкианского мира.

Но инженер не утешает комизм приключившегося с ним; анекдот, в который превратилась его жизнь, для него — что аквариум для рыбы; ему совсем не смешно. Ибо анекдот смешон лишь для тех, кто находится снаружи аквариума, тогда как кафкианский мир ведет внутрь анекдота, к **ужасу комизма**.

В кафкианском мире комизм не является контрапунктом трагизма (трагикомизма), как у Шекспира; он не призван своей легкостью помочь пережить трагедию; он не **сопровождает** трагедию, а **убивает в зародыше**, лишая жертву единственного утешения, на которое она еще могла рассчитывать, — подлинного или кажущегося величия ее трагедии. Инженер потерял родину, а аудитория покатывается со смеху.

3.

Современная история знает времена, когда жизнь напоминает романы Кафки.

Когда философа Карела Кошика обвинили в контрреволюционной деятельности и вышвырнули из Карлова университета, двери его скромной холостяцкой квартиры на Замковой Площади тотчас начали штурмовать толпы молодых поклонниц. Кошик, которого друзья называли "профессор К.К.", никогда не был салонным львом и не гонялся за юбками, поэтому радикальная перемена, наступившая в его эротической жизни после советского вторжения, вынудила меня задать пару вопросов влюбленной в него очаровательной парикмахерше. Она ответила мне полушутливо, полусерьезно: "Все осужденные прекрасны".

Это был очевидный намек на Лени из "Процесса", которая теми же словами объясняет свой эротический интерес к клиентам своего хозяина, адвоката Хульда. Макс Брод считает этот эпизод подтверждением религиозной интерпретации романов Кафки: К. становится прекрасным, потому что начинает понимать, в чем состоит его вина. Страдание украшает. Молодая парикмахерша посмеялась бы над этой теорией: профессор К.К. был красив и без всякого страдания.

Я припомнил своего ближайшего друга только для того, чтобы показать, до какой степени образы, ситуации и даже отдельные фразы романов Кафки срослись с жизнью Праги.

Отсюда так и напрашивается вывод, что пророчества Кафки по-

тому столь реальны в Праге, что предвосхищают тоталитарное общество.

Однако этот вывод нуждается в поправке: понятие “кафкианский” не является ни социологическим, ни политологическим. Было немало попыток трактовать романы Кафки как критику индустриального общества, эксплуатации, буржуазной морали, отчуждения, короче говоря — капитализма. Но в мире Кафки нет почти ничего, что относилось бы к капитализму: ни власти денег, ни торговли, ни наемного труда, ни собственности и собственников, ни классовый борьбы.

Понятие “кафкианский” не совпадает также с определением тоталитаризма. В романах Кафки нет ни партии, ни идеологии и ее словаря, ни политики, ни полиции и армии.

То, что мы называем “кафкианским”, скорее описывает фундаментальную потенцию человека и его мира, возможность, не predetermined историей, но сопутствующую человеку практически изначально.

Но это утверждение не объясняет, почему в Праге романы Кафки сливаются с жизнью и молодые парикмахерши пользуются его словами для объяснения своих чувств. И почему в Париже те же романы воспринимаются как герметичное выражение чисто субъективного авторского мира. Означает ли это, что возможность, содержащаяся в человеке и его мире, возможность, которую мы называем “кафкианской”, легче реализуется в Праге, чем в Париже?

Для наших времен характерны тенденции, которые многим обществам придали кафкианские черты: постепенная концентрация власти, присваивающей себе божественные права; бюрократизация общественной жизни, превращающая все учреждения в нескончаемые лабиринты; возникающие вследствие этого деперсонализация человека.

Тоталитарные государства, в которых эти тенденции доведены до крайности, показали, что между романами Кафки и реальной жизнью существует тесная связь. На Западе люди не видят этой связи не только потому, что так называемое демократическое общество менее похоже на кафкианское, чем современная Прага. Там не видят этого еще и потому, как мне кажется, что там постепенно утрачивают ощущение реальности.

Так называемое демократическое общество тоже подвержено процессам деперсонализации и бюрократизации; вся планета стала ареной этих процессов. Романы Кафки — поэтическая и вообра-

жаемая гиперболизация этих процессов. Тоталитарное государство — прозаическая и вещественная их гиперболизация.

Но почему именно Кафка оказался первым, кто ощутил эти тенденции — ведь на исторической сцене они обнаружались во всей своей силе и жестокости только после его смерти?

4.

Если только не поддаваться мистификации Густава Януха, то у Кафки не найдешь и следа политических увлечений; в этом плане он отличался от всех своих пражских приятелей, включая Макса Брода, Франца Верфеля, Эгона Эрвина Киша, равно как и от тех авангардистов, которые охотно изображали будущее, утверждая, что постигли ход истории.

Чем же объяснить, что не их произведения, а романы их одинокого друга, интроверта, поглощенного только собственной жизнью и собственным творчеством, сегодня читаются как социально-политические пророчества и по этой причине запрещены во многих странах?

Я стал размышлять над этой загадкой, когда стал однажды свидетелем ничтожной сценки в доме старой приятельницы. Эта женщина была арестована и осуждена во время сталинских процессов 1951 года в Праге за преступление, которого не совершала. В той же ситуации оказались тогда сотни коммунистов. Всю жизнь они безоговорочно отождествляли себя с партией. Когда партия превратилась в обвинителя, они согласились, как Иосиф К., "обдумать в мельчайших деталях свою прежнюю жизнь", чтобы найти скрытую в ней вину и в конце концов признаться в воображаемом преступлении. Моей приятельнице удалось уцелеть благодаря необыкновенному мужеству — она единственная отказалась признать свою вину. Отказавшись сотрудничать с палачами, она стала ненужной в том спектакле, которым был процесс. Поэтому вместо повешения ее приговорили к пожизненному заключению. Спустя пятнадцать лет ее полностью реабилитировали и освободили.

Когда эту женщину арестовали, ее сыну был год. Когда она вышла из тюрьмы, ему было шестнадцать, и с тех пор она счастливо делила с ним свое одиночество вдвоем. Понятно, что она была к нему невероятно привязана.

Ее сыну было уже двадцать шесть, когда я однажды пришел их навестить. Я застал мать в слезах. Повод был ничтожный: сын

поздно встал или что-то в этом роде. Я сказал ей: “Стоит ли огорчаться и плакать, подумай? Ты преувеличиваешь”.

Вместо матери мне ответил сын: “Нет, мама не преувеличивает. Мама необыкновенная, мужественная женщина. Ей удалось выстоять там, где другие сломались. Теперь она хочет, чтобы я вырос порядочным человеком. Да, я залежался в постели, но мама видит в этом нечто более серьезное — мое отношение к жизни вообще. Мое эгоистическое отношение. Я хочу быть таким, каким она хочет меня видеть. Клянусь ей в этом в твоём присутствии”.

То, что партии не удалось сделать с матерью, матери удалось сделать со своим сыном. Она принудила его признать абсурдное обвинение, искать свою вину и публично в ней покаяться. Я в остолбенении взирал на этот сталинский мини-процесс и вдруг понял, что психологические механизмы, которые выявляются в ходе грандиозных, нечеловеческих и невероятных исторических событий, ничем не отличаются от механизмов, управляющих личными, столь банальными и чисто человеческими ситуациями.

5.

Знаменитое письмо, которое Кафка написал отцу и которое так и не отправил, доказывает, что механизм вколачивания чувства вины, которому посвящены романы Кафки, был ему знаком из семейной жизни, из отношений между ребенком и обладающим почти божественной властью родителями. В рассказе “Приговор”, тесно связанном с детскими воспоминаниями автора, отец обвиняет сына и приказывает ему утопиться. Сын признает свою фиктивную вину и бросается в реку столь же покорно, как идет на казнь его последователь Иосиф К., обвиненный таинственным Учреждением. Сходство обоих обвинений, нарастающего в обоих случаях ощущения вины и самой экзекуции указывает на сродство между семейным “тоталитаризмом” и великими пророчествами Кафки.

Тоталитарное общество, особенно в его крайних формах, стремится стереть грань между личной и общественной жизнью; власть, становясь все более скрытой, требует, чтобы жизнь граждан была все более “прозрачной”. Этот идеал жизни без заслонов соответствует идеалу образцовой семьи: гражданин не имеет права ничего укрывать перед партией или государством, как ребенок не имеет права что-то таить от матери или отца. Тоталитарное общество натягивает на свое официальное лицо идиллическую маску: оно хочет выглядеть “одной большой семьей”.

Часто говорят, будто романы Кафки отражают страстное стремление к коллективизму и контакту с людьми; дело выглядит так, будто Иосиф К., этот человек без корней, только и мечтает о том, чтобы преодолеть проклятие одиночества. Эта трактовка не просто банальна и плоска; она искажает смысл.

Лесничий К. вовсе не ищет общества людей и их тепла и не мечтает стать "человеком среди людей", как сартровский Орест. Он хочет быть признанным не людьми, а Учреждением. Чтобы добиться этого, ему приходится заплатить немалую цену: отказаться от одиночества. Его ад состоит в том, что он никогда не может остаться один: двое помощников из замка ходят за ним по пятам. Они присутствуют при его первой любовной близости с Фридой и с той поры не отходят от их постели.

Кафка был одержим не проклятием одиночества, а **насилием над одиночеством.**

Карлу Роземанну непрерывно мешают: продают его одежду; забирают у него единственный портрет его родителей; в спальне мальчишки боксируют возле его кровати и время от времени сваливаются на нее; двое подонков, Робинзон и Делярюш, вынуждают его жить с ними, так что постанывания толстой Брунелды преследуют его даже во сне.

История Иосифа К. тоже начинается с насилия над его личной жизнью: двое неизвестных являются его арестовать, когда он еще лежит в постели. С этого дня он уже никогда не останется наедине с собой; суд будет сопровождать его, наблюдать за ним и обращаться к нему; его личная жизнь понемногу исчезнет, поглощенная загадочностью преследующего его Учреждения.

Лирические души, которые призывают нас отказаться от личных тайн и жить "открытой жизнью", не понимают, какой механизм они запускают в ход. Исходная точка тоталитаризма напоминает исходную точку "Процесса": вас берут в постели. К вам приходят, как приходили в детстве отец и мать.

Много спорили, являются романы Кафки отражением его интимных проблем или описанием объективных "общественных механизмов".

Мир Кафки не сводится ни к личной, ни к общественной сфере: он захватывает обе. Общественная жизнь является зеркалом личной и наоборот.

6.

Говоря о микрообщественных процессах, которые образуют кафкианский мир, я имел в виду не только семью, но еще и ту институцию, в которой Кафка провел всю свою взрослую жизнь: Учреждение.

В героях Кафки часто усматривают современных интеллектуалов; но Грегор Замза не имеет ничего общего с интеллектуалами. Когда он обнаруживает, что превратился в таракана, его волнует только одно: как вовремя поспеть на службу в этом новом виде? Весь его багаж — это покорность и дисциплина, которым его научила служба: он чиновник, как являются чиновниками все герои Кафки, если конечно понимать чиновника не только как социальный тип (который описывал, например, Золя), а еще и как скрытую в человеке потенцию, позицию, тип восприятия мира.

В бюрократическом мире не существует инициатива, фантазия, свобода действий; существуют только приказы и циркуляры; **это мир подчинения.**

Чиновник выполняет лишь ничтожную часть громадной административной работы, смысл и масштабы которой не знает и не понимает; **это мир механических движений**, в котором люди не понимают того, что делают.

Наконец, чиновник имеет дело только с безымянными папками и делами; **это мир абстракций.**

Привязывание романа к миру, где правят подчиненные, рутина и абстракция и где единственным приключением является переход из одного кабинета в другой, представляется противоречащим самому духу эпической поэтики. Как же Кафке удалось превратить эту серую, антипоэтическую реальность в увлекательный роман?

Ответ можно найти в одном из его писем к Милене: "Учреждение вовсе не глупая институция; уж, скорее, фантастическая". В этой фразе кроется один из величайших секретов Кафки. Он сумел увидеть то, чего не видели другие: не только фундаментальное значение, которое имеет для человека, его жизни и будущего явление бюрократии, но также (что куда удивительнее) поэтические потенции, скрытые в призрачной природе учреждений.

Но как понять, что Учреждение фантастично?

Пражский инженер мог бы это понять: ошибка в его деле привела к тому, что его объявили беглецом; вследствие этого он бродил по Праге как **призрак** в поисках утраченного тела, а учрежде-

ния, в которые он входил, казались ему непонятным лабиринтом, творением неведомой мифологии.

Подметив в бюрократическом мире его фантастичность, Кафка сумел в результате совершить то, что до него казалось невозможным: преобразовать глубоко антипоэтический мир крайней бюрократизации в поэзию романа; преобразовать предельно банальную историю человека, которому не удается получить желаемую должность (ибо к этому сводится сюжет "Замка") в миф, в эпопею, в произведение небывалой красоты.

Расширив Учреждение до масштабов вселенной, Кафка, не стремясь к тому, создал образ, который потрясает нас своим сходством с обществом, которого он не знал, — обществом сегодняшней Праги.

Ибо тоталитарное государство является одним большим Учреждением: поскольку труд обобществлен, все стали служащими. Рабочий уже не рабочий, судья не судья, торговец не торговец и священник не священник: все они — государственные служащие. "Я из суда", — говорит Иосифу К. священник в церкви. И адвокаты у Кафки тоже служат суду. Сегодняшнего пражанина это не удивляет. Его защищали бы не лучше, чем Иосифа К. Сегодня и адвокаты обслуживают суд, а не подсудимого.

7.

В цикле ста четверостиший, с детской непосредственностью трактующих самые сложные и запутанные проблемы, великий чешский поэт пишет:

Поэты стихов не пишут
Стихи где-то там, в глубине,
Существуют давным-давно
Поэты их только находят.

Поэтическое творчество есть прорыв барьера, за которым скрывается что-то извечное (поэзия). Потому-то (благодаря этому внезапному прорыву) поэзия предстает прежде всего как откровение.

Я впервые прочитал "Замок" в пятнадцать лет. Эта книга никогда уже не очарует меня, как тогда, хотя ее содержание (истинный размах кафковского мира) я в ту пору не понимал. И все же — был потрясен.

Позже я свылся с поэтическим блеском и начал различать в опыте Кафки свой собственный опыт; но блеск не померк.

Извечное "стихотворение" ждет нас, по словам Яна Шкацела, "давным-давно"; но не является ли "давность" чистой иллюзией в мире, где все принципиально изменчиво?

Нет. Каждая ситуация создается человеком и содержит лишь то, что в нем есть; поэтому можно представить, что она (вместе со всем ее метафизическим смыслом) предсуществует "давным-давно" — как возможность, содержащаяся в человеке.

Но чем же тогда является для поэта история (то, что не извечно и неизменно)?

Для поэта история находится в ситуации, удивительно напоминающей его собственную: она не **создает**, а **открывает**. Во все новых и новых ситуациях она выявляет, что есть человек, что в нем таится "издавна", на что он способен.

Если поэзия существует сама по себе, то нелогично приписывать поэту пророческие способности; нет, он всего лишь открывает возможности человека (ту поэзию, которая существует издавна) — и история тоже когда-нибудь их откроет.

Кафка не был пророком. Он видел только то, что таилось "в глубине". Он не знал, что его знание есть предсказание. Разоблачение общественных устройств не входило в его намерения. Он воспроизводил механизмы, которые знал из повседневного опыта, не догадываясь, что со временем история запустит эти механизмы в широком масштабе.

Гипнотизирующий взгляд власти; отчаянный поиск своей вины; отлучение и страх перед отлучением; застывший конформизм; призрачная реальность и магический характер циркуляров; непрерывное насилие над личной жизнью — все эти эксперименты, которые история проводила на людях в своих огромных пробирках, Кафка (на несколько лет раньше) описал в своих романах.

Совпадение между реальным миром тоталитарных государств и поэтическим воображением Кафки всегда будет казаться загадочным, напоминая, что поэтический творческий акт по своей природе непредсказуем и парадоксален: огромная общественная и политическая значимость, "пророческий" характер романов Кафки обусловлен как раз их "незаангажированностью", то есть полной независимостью от любых политических программ, идеологических концепций и футурологических прогнозов.

Если бы поэт отказался от поисков "укрытого в глубине" ради служения предвзятой истине, он отказался бы от своей миссии поэта. Не имеет значения, как называется эта истина — революция или

диссидентство, вера или атеизм; не имеет значения, истинна она или нет; поэт, который служит готовой истине, а не той, которую еще предстоит открыть (которая будет откровением) — это мнимый поэт.

Если я так упорно цепляюсь за наследие Кафки, если защищаю его, как собственное, то вовсе не потому, будто считаю полезным имитировать нечто, чего имитировать нельзя; но потому, что Кафка дает исключительный пример радикальной автономии романа (поэзии, каковой является роман). Благодаря этой независимости именно Кафка сказал об условиях человеческого существования в наше время что-то такое, чего не скажет нам никакой социологический или политологический анализ.

2. А ЕСЛИ РОМАН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСЧЕЗНЕТ?

В 1935 году, за два года до смерти, Эдмунд Гуссерль прочел в Вене и Праге цикл знаменитых лекций, посвященных кризису европейского гуманизма. Прилагательное "европейский" означало для Гуссерля духовное единство, которое было шире географических границ собственно Европы и родилось вместе с древней греческой философией. Эта философия, по его мнению, впервые в истории стала рассматривать мир (мир как целое) как некую проблему. Она обратилась к этой проблеме не ради тех или иных практических целей, а потому, что "человеком овладела жажда познания".

Кризис, о котором говорил Гуссерль, казался ему столь глубоким, что он сомневался даже, сумеет ли Европа из него выйти. Корни этого кризиса, по Гуссерлю, уходили в начало современной эпохи, к Галилею и Декарту, и он видел их в одностороннем характере европейских наук, которые свели мир до уровня объекта математических исследований или технических совершенствований, исключив из рассмотрения мир обычной жизни, "Lebenswelt".

Развитие науки толкает человека в узкое русло специализированных научных дисциплин. Чем более углубляется его знание, тем более он утрачивает целостный образ мира и самого себя, погружаясь в состояние, которое ученик Гуссерля Хейдеггер определил прекрасным, почти магическим выражением: забвение о бытии.

Человек, некогда превознесенный Декартом, как "хозяин и властелин природы", становится просто объектом деятельности

различных сил — технических, политических, исторических, которые переросли и превзошли его и им овладели. Его обычная жизнь, его “мир жизни” не представляет для них никакой ценности и совершенно не интересен: этот мир отодвигается на все более далекий план, он забывается вообще.

2.

Этот критический взгляд на современность напоминает взгляды Солженицына, для которого кризис Европы начинается с Возрождения, а вся последующая история является лишь историей прогрессирующей деградации.

Я не думаю, однако, что эти великие феноменологи осуждают современность; скорее, они вскрывают неоднозначный характер эпохи, которая, как все человеческое, уже от рождения таит в себе свою обреченность. Эта неоднозначность ни в коей мере не уменьшает достижений четырех последних веков европейской истории, к которым я ощущаю себя тем более привязанным, что являюсь не философом, а писателем.

Если согласиться, что философия и наука забыли о жизни простого человека, то тем более очевидным становится, что вместе с Сервантесом родилось великое европейское искусство, которое является как раз постоянным исследованием этой жизни.

Достаточно открыть “Бытие и время”, чтобы убедиться, что все поднятые Хейдеггером экзистенциальные проблемы уже были поставлены, показаны и разработаны европейским романом за четыре века его существования. Роман последовательно открывал для себя различные аспекты существования. Роман Сервантеса и его современников рассказал о приключении; во времена Ричардсона он начал анализировать, “что происходит в человеческой душе”, и открыл таинственный мир чувств; с Бальзаком он прослеживает связь человека с историей; с Флобером открывает *terra incognita* — доселе *incognita* — повседневности; с Толстым проникает в роль иррационального начала в решениях и поступках человека. Роман погружает свой зонд в поток времени: в неуловимое прошлое у Марселя Пруста, в неуловимое настоящее у Джеймса Джойса. У Томаса Манна он демонстрирует роль мифов, которые, возникнув в глубинах истории, издавна руководят нашим выбором. И так далее, и так далее.

С начала современной эпохи роман верно и постоянно сопровож-

дает человека. Его охватила “жажда познания” (то, что Гуссерль считал сутью европейского духа), которая толкнула его исследовать обычную жизнь обычного человека, чтобы защитить ее от “забвения о бытии”. В этом смысле я понимаю и разделяю настойчивость, с которой Герман Брох повторял: открытие того, что только роман может открыть, есть единственное оправдание существования романа. Роман, который не открывает доселе неведомого фрагмента существования, аморален. Познание — вот единственная нравственность романа.

Добавлю еще одно: роман — это детище Европы; его открытия, пусть и на разных языках, принадлежат всей Европе. Его последовательные открытия (а не сумма написанного) — вот история европейского романа. Лишь в контексте произведения можно правильно понять его ценность (то есть важность того, что оно открывает).

3.

В тот час, когда Бог покидал место, откуда правил миром и его иерархией ценностей, отделял добро от зла и придавал смысл всему, Дон-Кихот вышел из дома и не узнал окружающий мир. В отсутствие высшего судьи этот мир обнаружил ужасающую неоднозначность: единая божественная Правда распалась на сотни относительных правд, которые люди поделили меж собой. Так родилась современная эпоха, а вместе с ней, по ее образу и подобию, родился роман.

Признать, вслед за Декартом, что в основе всего находится мыслящее “Эго”, и остаться в одиночестве перед лицом вселенной — вот позиция, которую Гегель — и справедливо — назвал героической.

Признать, вслед за Сервантесом, мир как относительность, сражаться не с одной абсолютной истиной, но со множеством истин, противоречащих друг другу (и воплощенных в воображаемом “Эго”, то есть в героях романа), иными словами — вооружиться неуверенностью, как единственной надежной мудростью, — такая позиция тоже требует силы и мужества.

Кто прав и кто ошибается? Дон-Кихот — или другие? Об этом написаны тома. Одни считают роман Сервантеса рационалистической критикой идеализма Дон-Кихота. Другие видят в нем экзальтированное выражение этого идеализма. Обе трактовки ошибочны, ибо ищут в романе некую моральную позицию вместо того, чтобы видеть в нем вопрос.

Человек жаждет мира, в котором было бы легко отличить добро от зла. В нем таится необоримое стремление судить происходящее, даже еще не поняв его. Из этого стремления вырастают религии и идеологии. Они могут гармонически сосуществовать с романом только в случае, если переводят его релятивистский и многозначный текст на свой догматический и аподиктический язык. Они требуют, чтобы правота была на одной определенной стороне: либо Анна Каренина жертва тупого деспота, либо Каренин жертва аморальной женщины; либо невинный К. казнен несправедливым судом, либо за этим судом кроется Божья справедливость, и тогда К. виновен.

В этом "или-или" кроется неспособность принять принципиальную относительность человеческих проблем; неспособность смириться с отсутствием высшего суда. Роман — это трудная мудрость: именно по причине этой неспособности.

4.

Дон-Кихот двинулся в настезь открытый мир. Он мог бы вернуться, когда б захотел. Все первые романы — романы о путешествии по миру, который казался тогда безграничным. "Жак-Фаталист" начинается с того, что его герои куда-то идут; неведомо, откуда, неведомо, куда. Они существуют во времени, которое не имеет ни начала, ни конца, в пространстве, которое не имеет границ, в центре Европы, будущему которой нет предела.

Спустя полвека, в романе Бальзака, отдаленный горизонт исчез, как исчезает он за теми современными громадами, каким представляются нынешние институты: полиция, суд, мир денег и преступлений, армия, Государство. Эпоха Бальзака утратила беззаботность Сервантеса и Дидро. Она стала пассажиром поезда, именуемого Историей. Стать ее пассажиром легко, выйти — трудно. Но мы еще не испытываем ужаса, в поездке есть даже определенное очарование — она обещает нам много приключений, а также маршальский жезл.

Еще позже, для мадам Бовари, горизонт сужается настолько, что начинает напоминать ограду. Приключения происходят где-то за этой оградой, и ностальгия становится нестерпимой. На фоне скучной повседневности главным становятся сны и мечты. Бесконечность, утраченную вовне, заменяет беспредельность души. Наступает расцвет великой иллюзии о неповторимой единственности личности, одной из величайших иллюзий европейской культуры.

Но эта мечта о беспределности души теряет свое волшебное очарование, как только История, или то, что от нее осталось — надличная сила всемогущего общества, — начинает править человеком. Она уже не обещает маршальского жезла, разве что должность лесничего в Замке. Что такое К. в сравнении с Судом, К. в сравнении с Замком? Немного. Но, быть может, ему дозволено хотя бы мечтать, как некогда мадам Бовари? О нет, ловушка, приготовленная для него внешними силами, слишком жестока и всасывает, как пылесос, все его мысли, все чувства: он может думать только о своем процессе, о своей должности лесничего. Бесконечность души, даже если она существует, стала бесполезной ношей человека.

5.

Дорога романа проходит параллельно истории современной эпохи. Оглядываясь, я вижу, как она удивительно коротка и конечна. Кто это возвращается к замку в мундире лесничего после четырехвекового странствия — разве не Дон-Кихот?! Некогда он двинулся отсюда в путь, пылая жаждой приключений, а сегодня, здесь, в этой деревушке у подножья Замка, у него уже нет выбора, его “приключение” ему навязано: жалкий спор с чиновниками из Замка по поводу ошибки в циркулярах. Что же произошло за эти четыре века с приключением, этим первым великим сюжетом романа? Не стало ли оно пародией на само себя? Что это все означает? Не кончается ли путь романа парадоксом?

Кажется, что именно так. И парадокс не один, их много. “Бравый солдат Швейк” — быть может, последний подлинно народный роман. Не странно ли, что этот комический роман одновременно повествует о войне и действие его разворачивается в армии и на фронте? Что же такое произошло с войной и ее ужасами, что они стали предметом шуток?

У Гомера, у Толстого война имела вполне понятный смысл: сражались за прекрасную Елену или за Россию. Швейк и его друзья идут на фронт, не зная, зачем идут, и более того — даже не интересуясь этим.

Но что же тогда движет войной, если не Елена, не родина? Жажда власти? Но ведь она всегда была причиной всех войн. Это так, верно. Но на сей раз, у Гашека, с этой жажды власти совлечены покровы всякой осмысленной аргументации. Никто уже не верит в пустую пропагандистскую болтовню, даже ее авторы. Жажда власти обнажена, как в романах Кафки, где она пытается укрыться

за непонятными махинациями Суда и Замка. Суд не имеет ни малейшей причины судить К., и Замок ничего не выгадывает, преследуя лесничего. Почему Германия вчера, а Россия сегодня хочет править миром? Чтобы приобрести больше богатств, счастья, любви? Нет. Жажда власти абсолютно бескорыстна, ничем не мотивирована, она стремится только к самоудовлетворению, она начисто иррациональна.

Кафка и Гашек ставят нас перед огромным парадоксом: на протяжении всей современной эпохи декартов разум последовательно низвергал все ценности, унаследованные от средневековья. Но в тот самый момент, когда он готовится торжествовать свою полную победу, миром вдруг завладевает чистый иррационализм, ибо не остается вообще никакой общепринятой системы ценностей, способной встать на его пути.

Этот парадокс, мастерски показанный в одном из величайших европейских романов — “Сомнамбулички” Германа Броха, — является одним из тех парадоксов, которые я бы назвал последними. Есть и другие. К примеру: современная эпоха культивировала идею, будто человечество, хоть и разделенное на разные культуры, когда-то все же обретет единство, а с ним и вечный мир. Сегодня история планеты стала нераздельным единством, но это единство обеспечено и осуществлено непрерывной, переползающей с места на место войной. Единство мира означает: никто никуда не может убежать.

6.

Лекции Гуссерля, в которых он говорил о кризисе Европы и европейского гуманизма, были его философским завещанием. Он прочитал их в двух столицах Центральной Европы. Это совпадение обстоятельств имеет глубокий смысл: именно здесь, в Центральной Европе, впервые в нашу эпоху, Запад стал свидетелем гибели Запада, или точнее — ампутации одной своей части, — когда Варшава, Будапешт и Прага были поглощены российской империей. Предвосхищением этой катастрофы была первая мировая война, безрассудно начатая габсбургской монархией и приведшая к ее краху, который навсегда подорвал европейское равновесие.

Последние спокойные времена, когда человек боролся только с демонами в собственной душе, времена Джойса и Пруста, миновали безвозвратно. В романах Кафки, Гашека, Музиля, Броха демоны приходят снаружи и называются Историей; она уже не тот поезд, где сидят ждущие приключений пассажиры — она безлика, не-

победима, непредсказуема, непонятна. И от нее нельзя убежать. Именно в этот момент, сразу после 1914 года, плеяда великих центральноевропейских романистов заметила, уловила и воплотила **последние парадоксы современности**.

Не следует, однако, видеть в их романах общественные и политические предсказания, эдакого раннего Орвелла. То, что рассказывает Орвелл, можно было бы равным образом (и даже намного лучше) рассказать в эссе или памфлете. Эти же писатели открыли миру то, что, снова говоря словами Броча, "только роман может открыть"; показали, как во времена "окончательных парадоксов" все экзистенциальные категории внезапно меняют свой смысл: что такое **приключение**, если свобода воли такого К. совершенно иллюзорна? Что такое **будущее**, если интеллектуалы из "Человека без свойств" даже не подозревают, что завтра вспыхнет война, которая сметет их с лица земли? Что такое **преступление**, если герой романа Броча не только не думает о совершенном убийстве, но вообще о нем забывает? И если единственный комический роман этого времени, роман Гашека, разыгрывается на фоне войны, то что произошло с комизмом? Где граница между **личным и публичным**, если два посланника Замка не покидают К. даже во время любовного акта? И что такое, в этом случае, **одиночество**? Бремя, ужас, проклятие, как нас убеждали, или, напротив, величайшая ценность, уничтожаемая вездесущей толпой?

Эпохи в истории романа тянутся долго (они не имеют ничего общего с крикливыми изменениями моды) и характеризуют тот или иной аспект бытия, которому роман в данный момент отдает предпочтение. Так, возможности, содержащиеся во флюберовском открытии повседневности, полностью развернулись лишь семьдесят лет спустя, в гигантском творении Джойса. Эпоха, начатая пятьдесят лет назад центральноевропейскими писателями ("эпоха последних парадоксов"), еще продолжается и ей далеко до конца.

7.

О конце романа говорили давно и много: особенно футуристы, сюрреалисты, короче говоря — авангард. Они считали, что роман исчезнет по мере прогресса, что он уступит место радикально новому будущему искусству, не напоминающему ничего, что было прежде. Роман должен был умереть во имя исторической справедливости, вместе с бедностью, классовой борьбой, старыми моделями автомашин и фраком.

Но если Сервантес стоял у истоков современности, то смерть его наследия должна означать нечто большее, чем просто конец определенного этапа в истории литературных форм; он должен означать конец современности. Поэтому снисходительная усмешка, с которой объявляют о смерти романа, кажется мне несерьезной. Несерьезной, ибо я уже однажды видел и пережил смерть романа, насильственную его смерть (от руки цензуры, запрета, идеологического нажима) в том мире, в котором я провел значительную часть жизни и который обычно называется тоталитарным. Тогда обнаружилось с чрезвычайной ясностью, что роман хрупок; столь же хрупок, как современный Запад. Роман, как модель этого мира, роман, основанный на релятивности и многозначности человеческих проблем, несовместим с тоталитаризмом. Эта несовместимость глубже, чем различия между диссидентом и аппаратчиком, борцом за права человека и его преследователем, ибо это несовместимость не только политическая или нравственная, но и **онтологическая**. Это значит: мир, в котором есть только одна истина, и релятивный мир романа созданы из разной материи. Тоталитарная истина исключает относительность, сомнение, колебания; поэтому она никогда не примирится с тем, что я назвал бы "духом романа".

Но разве в коммунистической России не появляются огромными тиражами сотни и тысячи романов, пользующихся громадным успехом. Конечно, но эти романы перестали быть завоеванием мира. Они не открывают никакого нового фрагмента бытия; они лишь подтверждают то, что уже было сказано; более того, в таком подтверждении того, что сказано (что положено говорить), и состоит все оправдание их существования, вся их слава, вся их польза в их обществе. Не открывая ничего, не участвуя в **цепи открытий**, которую я называю историей романа, они остаются вне этой истории, становятся **романами вне истории романа**.

История русского романа остановилась более века назад. Это событие огромного значения, если принять во внимание, что русский роман в течение целого столетия вызывал восторг всей Европы. Поэтому слова о смерти романа не высосаны из пальца. Эта смерть уже наступила. И сегодня мы знаем, как умирает роман: он не исчезает постепенно, — но оказывается вне своей истории. Его смерть наступает тихо и незаметно, она никого не огорчает.

8.

Но нет ли в этом конце романа своей внутренней логики? Не

исчерпал ли роман всех своих возможностей, всего своего знания, всех своих форм? Кто-то сравнивал его историю с давно отработанными шахтами. Не напоминает ли она, скорее, кладбище неиспользованных шансов, неподхваченных вызовов? Четыре таких вызова особенно волнуют меня.

Вызов игры. “Тристам Шенди” Лоуренса Стерна и “Жак-Фаталист” Дени Дидро кажутся мне двумя величайшими романами XVIII века, двумя романами, задуманными, как гигантская игра. Никогда, ни до, ни после них роман не достигал таких вершин легкости. В более поздние времена роман поддался требованиям правдоподобия, реалистических декораций, хронологии. Он отбросил возможности, содержащиеся в этих двух шедеврах, которые могли привести к совершенно иному развитию романной формы, чем то, которое мы знаем (да, можно представить себе также и другое развитие европейского романа...)

Вызов сна. Заснувшее воображение романа XIX века было внезапно разбужено Францем Кафкой, которому удалось то, к чему стремились сюрреалисты, так и не достигнув этого, — совместить сновидение и реальность. Это, в сущности, давнее стремление романа, которое предчувствовал уже Новалис и которое требует своего рода алхимии, открытой только Кафкой. Его великое открытие составляет не столько конец определенной линии, сколько неожиданное начало, демонстрирующее, что роман — это пункт, где воображение может развернуться, как в кошмарном сне, превращая произведение в “нечто иное”.

Вызов мысли. С Музилом и Брохом в роман вошла суверенная и блистательная интеллигентность. Не для того, чтобы превратить его в философию, но чтобы объединить с его помощью все средства, позволяющие обрисовать человеческое существование; чтобы сделать из романа высший интеллектуальный синтез. Но их достижения были тоже лишь началом долгого путешествия.

Вызов времени. Эпоха “последних парадоксов” побуждает писателя не ограничивать свой подход к проблеме времени прустовской проблемой личного времени, но расширить его на загадку времени коллективного, времени всей Европы. Европы, которая оглядывается на свое прошлое, подбивает счет, обдумывает свою историю, как старик, оглядывающийся на всю свою жизнь. Отсюда желание (Фуэнтес и Грасс с ним знакомы) преодолеть хронологические рамки индивидуальной жизни, которые доселе ограничивали роман, и ввести в его пространство множество исторических

эпох — что, конечно, предполагает громадное преобразование формы.

Но я не хочу предсказывать будущие судьбы романа, о которых ничего не знаю; я хочу лишь подвести итог: если роман действительно исчезнет, это произойдет не потому, что он исчерпал свои возможности, но потому, что оказался в мире, который не является его миром.

9.

Унификацию истории планеты — эту давнюю мечту гуманистов, которую Господь насмешливо разрешил осуществить, — сопровождает процесс головокружительной редукции. Верно, термиты редукции подгрызают человеческую жизнь изначально; даже величайшая любовь в конце концов редуцируется до скелета жалких воспоминаний. Но характер современного общества чудовищно усиливает это проклятие: человеческая жизнь редуцируется до общественной функции; история народа сводится к нескольким событиям, а те, в свою очередь, редуцируются до тенденциозной трактовки; общественная жизнь редуцируется до политической борьбы, а та — до противостояния всего лишь двух сверхдержав. Человек оказывается в настоящем **водовороте редукции**, и “мир жизни”, о котором говорил Гуссерль, погружается в темноту, а бытие — в забвение.

Но если задача романа состоит в рассказе о “мире жизни” и защите от “забвения”, то не нуждаемся ли мы сегодня в романе больше, чем когда-либо?

Мне кажется именно так. Но, увы, роман тоже стал жертвой термитов редукции, которые редуцирует не только смысл мира, но и смысл произведений. Роман (как и вся культура) все больше оказывается в руках средств массовой информации, и эти орудия унификации истории усиливают и направляют процесс редукции, разнося по всей планете одни и те же упрощения и клише, рассчитанные на доступность как можно большего числа потребителей, всего человечества. И не имеет значения различие политических интересов. За внешним разнообразием фасадов кроется общий дух. Достаточно перелистать американские или европейские журналы, что левые, что правые, от “Тайма” до “Шпигеля”: все они предлагают одно и то же представление о мире. Это дух нашего времени. Он кажется мне несовместимым с духом романа.

Дух романа — это дух сложности. Каждый роман говорит чита-

телю: “Мир сложнее, чем тебе кажется”. Это извечная правда романа, к сожалению, все реже различимая в шуме примитивных и топпливых ответов, которые опережают вопросы и часто их исключают. В духе нашего времени права либо Анна, либо Каренин, а старая мудрость Сервантеса, говорящего нам о трудности познания и неуловимости правды, кажется ненужной и неудобной.

Дух романа — это дух преемственности: каждое произведение есть ответ на предыдущие, каждое содержит в себе весь предшествующий опыт романа. Но дух нашего времени судорожно цепляется за актуальность, столь безграничную, столь всемогущую, что она вытесняет из нашего сознания прошлое, а время редуцирует только до данной секунды. Роман в этой системе уже не произведение (предназначенное **пребывать**, связывая прошлое с будущим), а сиюминутное происшествие, подобное всякому иному, — жест, лишенный значения.

10.

Означает ли это, что в мире, “который уже не мир”, роман исчезнет? Что Европа “забудет о бытии”? Что ей останется лишь нескончаемая болтовня графоманов, создателей **построманных романов**? Понятия не имею. Мне кажется лишь, что я прав, утверждая, что роман не может сосуществовать с духом нашего времени; если он хочет и далее открывать еще не открытое, “развиваться” как вид, то он должен противопоставить себя “развитию” мира.

Авангард видел все иначе: он стремился жить в гармонии с будущим. Художники авангарда создали мужественные, трудные, высмеянные произведения, но они создавали их в уверенности, что “дух времени” с ними, что будущее признает их правоту.

Я тоже когда-то считал, что только будущее вправе рассудить наше время. И только позднее я понял, что флирт с будущим — это худший вид конформизма, трусливое поддакивание сильному. Ибо будущее всегда сильнее настоящего. Оно рассудит нас наверняка и без всякого права.

Но если будущее не представляет для меня никакой ценности, к чему же я привязан: к Богу? к родине? к народу? к личности?

Мой ответ столь же смешон, сколь искренен: я не привязан ни к чему, кроме легкомысленного наследия Сервантеса.

**ДОРОГОЙ ВОЛОДЯ, ДОРОГОЙ БАННИ,
ИЛИ БЛИЗОСТЬ И РАСХОЖДЕНИЕ**

(Предисловие к "Переписке Набокова и Вильсона")

Резко критический отзыв Эдмунда Вильсона на четырехтомное издание набоковского комментированного перевода "Евгения Онегина" породил памятную литературную сенсацию. Статья Вильсона появилась в "Нью-Йорк ревью оф букс" в июле 1965 года; ответ Набокова — в августе. Этот обмен репликами вызвал обычное в таких случаях возбуждение в литературных кругах, и множество людей бросилось в схватку, поддерживая ту или другую сторону, подзуживая обоих оппонентов и попутно вставляя парочку-другую шпилек друг другу. В пылу боя мало кто заметил, что в первых же строках своей рецензии Вильсон назвал себя "близким другом господина Набокова, к которому (он) питает глубокую симпатию", и что ответ Набокова начинался с подтверждения "давней дружбы и взаимной приязни" обоих писателей. "В сороковые годы, — писал Набоков, — в это первое десятилетие моей жизни в Америке, он был исключительно добр ко мне... Мы вели много веселых споров и обменялись множеством откровенных писем".

Как свидетельствуют письма, собранные в этой книге, ожесточенной полемике вокруг "Онегина" предшествовали 25 лет тесных личных и интеллектуальных контактов. Оживленные и стимулирующие отношения между обоими писателями нашли знаменательное отражение в их литературных биографиях. Именно в этот период близости с Набоковым достигла апогея глубокая заинтересованность Вильсона в русской литературе и культуре. А вторичное рождение Набокова как американского автора, пишущего на английском языке, вряд ли состоялось бы без помощи, советов и литературных связей Вильсона. Свое письмо к вдове Вильсона, Елене, в мае 1974 года Набоков заключил словами: "Не

стоит и говорить, какую грусть я ощутил, перечитывая эти письма, относящиеся к ранней, лучезарной заре нашей переписки”.

Близости и взаимной симпатии Набокова и Вильсона способствовали несколько факторов. Оба они происходили из образованных и зажиточных семей. Каждый испытывал интерес к литературе и культуре, в которой воспитывался другой. Оба чувствовали себя свободно во французской культуре. Оба скептически, хотя и по-разному, относились к религии и мистицизму. Оба были сыновьями юристов, вовлеченных в политику. Отец Вильсона едва не стал членом Верховного суда, а отец Набокова едва не стал министром Временного правительства. Вильсона помнят как выдающегося литературного критика, а Набокова — как беллетриста, но оба они работали и в смежных жанрах — драматургии, поэзии, — и для каждого литература была главной страстью всей жизни. К тому же Вильсон был одним из тех немногих литературных друзей Набокова, кто испытывал хотя бы минимальный интерес к другому важнейшему набоковскому увлечению — бабочкам.

В русской, равно как и в американской культуре литературные произведения зачастую оценивались по их “идейному содержанию” и воспринимались с подозрением, если демонстрировали чересчур блестящую технику. Но Вильсон и Набоков знали, что ничто не может заменить литературное качество — хотя и расходились в вопросе о том, что именно его составляет. Существует любопытный параллелизм во влиянии, оказанном двумя их известнейшими книгами, хотя сами они, возможно, этого не осознавали. Книга Вильсона “К Финляндскому вокзалу” содержала лучший в английской литературе анализ западных источников ленинизма — точно так же, как набоковский “Дар” был художественным исследованием его отечественных, российских корней, так что прочитанные вместе эти книги воспринимаются как две стороны одного уравнения. Преследования и запрет вильсоновского романа “Воспоминания о графстве Гекайт” подготовили крах викторианской моральной цензуры, господствовавшей на Западе до конца 50-х годов; публикация набоковской “Лолиты” знаменовала завершение этого краха.

При всех этих элементах душевного сродства и близости интересов было несомненной удачей, что встреча Набокова с Вильсоном состоялась именно в 1940 году. Пройзойди она на пять лет раньше — и превратности современной истории вкупе с интеллектуальными настроениями Америки 30-х годов, несомненно, разобщили

бы их настолько, что им нечего было бы сказать друг другу. Два с лишним десятилетия их близости (как и последующее болезненное охлаждение) имели источником взгляды и позиции, которые сформировались у каждого задолго до их первой встречи. Быть может, их отношения легче будет понять, если кратко рассмотреть интеллектуальные траектории, по которым каждый из них следовал до встречи с другим.

Эдмунд Вильсон неоднократно описывал свое детство в Нью-Джерси и то надолго запомнившееся впечатление, которое на него произвело грубое обращение богатого приятеля с домашними слугами. Биограф Вильсона Шерман Поль приписывает этому впечатлению — и на мой взгляд, справедливо — решающую роль в пожизненном отвращении Вильсона “к миру богатства, которое подавляет всякое стремление к совершенству”. Оно же объясняет его раннее пристрастие к таким писателям, как Шоу и Менкен, в которых он видел возмутителей буржуазного спокойствия.

В пору знаменитой “эпохи джаза” американских 20-х годов, в которой Вильсон участвовал как друг и коллега почти всех выдающихся литераторов того времени (многих из них он знал еще по университету), он не обнаруживал особого интереса к русской культуре или русской революции. Он был слишком поглощен открытием увлекательных изменений в литературных вкусах, которые позднее исследовал в своей сделавшей эпоху книге “Замок Акселя”. Эта книга увенчала 20-е годы, упрочила репутацию Вильсона как ведущего критика своего времени и раз и навсегда утвердила значение символизма в развитии литературы двадцатого столетия. После “Замка Акселя” уже нельзя было отмахиваться от Пруста как от “невыносимой скучищи”, рассматривать “Улисса” как порнографию и высмеивать Гертруду Стайн как “заумь”. Более чем кто-либо другой, Вильсон способствовал их признанию как современных классиков и показал их связь с французским символизмом.

С наступлением депрессии Вильсон, как и большинство американских писателей тех лет, был захвачен волной сомнений относительно эффективности традиционных структур и институций своего общества. Дело Сакко и Ванцетти, история шахтеров Харлана, безработица и очереди за хлебом убедили многих в необходимости новой и более справедливой социальной модели. Книга Д. Арона “Читатели поворачивают налево” свидетельствуют о возникшей тогда среди американских интеллектуалов симпатии к со-

ветской России, зародившейся — как ни странно — именно в ту пору, когда Сталин консолидировал свою власть и вел свою страну к самому мрачному кошмару в ее истории. Человека, мало-мальски знакомого с советской реальностью, не может не удивить поистине непостижимая наивность американских интеллектуалов 30-х годов, отсутствие у них каких бы то ни было разумных критериев для сравнения ситуаций в обеих странах. Чем была юридическая несправедливость по отношению к двум итальянским анархистам, возбудившая столько эмоций, в сравнении с арестами и казнями сотен русских анархистов, эсеров и неортодоксальных марксистов в первые годы власти Ленина? И разве очереди за хлебом в Америке идут в какое-либо сравнение с миллионами умерших от голода в результате принудительной коллективизации украинских крестьян?

Но именно в то десятилетие, которое в СССР было отмечено голодом, репрессиями и ГУЛАГом, престиж Октябрьской революции как надежды человечества на более справедливую и гуманную жизнь достиг на Западе своего апогея. Эдмунд Вильсон изучал теорию марксизма-ленинизма, участвовал в различных акциях протеста, проводимых в то время американскими коммунистами, но, в отличие от многих своих коллег, сохранил независимость мысли и суждения даже в пик своего увлечения марксизмом. Весной 1935 года он совершил путешествие в СССР на стипендию фонда Гуггенхайма, надеясь завершить исследование русской революции в институте Маркса—Энгельса, — паломничество вполне в духе и стиле той эпохи.

Вильсон не обладал поэтической интуицией Каммингса, совершившего аналогичную поездку за три года до того и сумевшего уловить самую суть советской реальности в своей книге “Эйми”.* Вильсоновский отчет о путешествии в Россию — эмоциональная смесь его собственных наивных ожиданий и суровых фактов, которые он столь же наивно пытается “объяснить”. Три инженера из СССР, встреченные им на Западе, оказываются вежливыми и доброжелательными, и это немедленно записывается на счет “новой культуры”; но люди в очередях в Ленинграде выглядят бедно и угрюмо — и это приписывается “прежней бесчеловечной крепостной жизни”, которую они еще якобы помнят (кто в 1935 году мог помнить крепостное право, ликвидированное в 1861 году?).

* “Эйми” интереснейшим образом переключается с письмами Бориса Пастернака того времени и воспоминаниями Н. Я. Мандельштам.

Тем не менее в отличие от таких западных писателей, как Шоу, который посетил Россию в разгар голода 30-х годов и по возвращении заявил, что советские люди — самые сытые в мире, Вильсон все же понял в советской жизни достаточно, чтобы убедиться, что это не та утопия, управляемая рабочими и крестьянами, которую он надеялся увидеть. Одна из его советских встреч оказалась особенно важной; критик Мирский стимулировал интерес гостя к Пушкину — интерес, которому предстояло сохраниться на всю жизнь и сыграть такую роль в сближении Вильсона с Набоковым. Для того чтобы читать Пушкина в подлиннике, Вильсон под конец поездки начал изучать русский язык. Разочарованный Сталиным (но все еще сохраняя иллюзии в отношении Ленина и либерального характера Октябрьской революции), Вильсон углубился в исследования, результатом которых была книга "К Финляндскому вокзалу", быстро ставшая настольным руководством западных интеллектуалов. Вскоре после ее опубликования Вильсон встретился с Набоковым.

Если путь Вильсона понятен для любого западного человека, то мир, в котором родился и провел первые два десятилетия своей жизни Владимир Набоков: Россия между освобождением крестьян и Октябрьской революцией, — был так мифологизирован в западном воображении, так искажен пропагандой, так упрощен до примитивных стереотипов, что большинство людей на Западе представляли его куда хуже, чем, скажем, Египет времен фараонов. Реальность этого переходного периода (отраженная, например, в письмах Толстого, Чехова или Горького) настолько расходилась с распространенным представлением, что самая простая констатация исторических фактов (какую мы встречаем в некоторых письмах Набокова Вильсону) отвергалась с порога как злостная попытка переписать историю или как ностальгическая идеализация.

В западном представлении Россия оставалась жестокой автократией, ни на йоту не изменившейся со времен Ивана Грозного, страной горстки купающихся в роскоши аристократов и массы подгоняемых кнутом, умирающих с голоду крестьян, на фоне которых время от времени возникал тот или иной великий писатель или пламенный революционер. Именно эту Россию изобразил Оскар Уайльд в своей мелодраме "Вера или нигилисты", и именно такое представление побудило Вильсона писать о "свинской гоголевской провинции с ее разжиревшими помещиками и гниющими

вишневыми садами, несчастными крепостными и их злобными хозяевами, с угасающими тургеневскими дворянскими гнездами, запутавшимися в своих семейных интригах и держащимися на рабском труде, — всем тем, чему Ленин провозгласил войну и что коммунизм попытался расчистить”.

Чего Запад систематически не замечал все эти шесть десятилетий — это тех глубочайших социальных изменений, которые предшествовали революции и к моменту рождения Набокова отодвинули в прошлое Россию “Мертвых душ” и “Дворянского гнезда”. Одной из самых примечательных черт этого периода было чрезвычайно распространившееся и весьма влиятельное “общественное движение”, движение социального протеста, о котором Набоков то и дело вспоминает в письмах к Вильсону. Быстро разрастаясь, оно охватывало весь политический спектр, от умеренных до ультралибералов, и постепенно вело к реальной и вполне ощутимой либерализации социальной и политической жизни страны вопреки настойчивым и порой жестоким попыткам двух последних царей ограничить или подавить это движение. С уменьшением цензуры, легализацией всех политических партий и созданием парламентской системы после революции 1905 года движение гражданского протеста получило возможность открытой пропаганды. Листовки и бомбы террористов конца века отошли на второй план, сменившись другими формами социального протеста — такими, как рабочее и женское движение, оппозиционная печать (газета большевиков “Правда” открыто продавалась в киосках в 1912 году), множество соперничающих партий, в том числе монархических, либеральных (отец Набокова был одним из основателей партии конституционалистов-демократов, или “кадетов”) и социалистических (среди которых партия социалистов-революционеров насчитывала накануне революции около миллиона активных членов). Свержение самодержавия коалицией реформистских и социалистических партий было всего лишь делом времени, и оно действительно произошло в феврале 1917 года, — но годом позже завоеванные этой революцией права и свободы были уничтожены с приходом Ленина к власти.

Отец Набокова был влиятельной политической фигурой этого периода. Он занимал ряд постов в канцеляриях Временного правительства. Его воспоминания, объективность которых высоко оценили как Керенский, так и Троцкий, ясно показывают, что Временное правительство было обречено изначально — в силу своей при-

верженности к “правилам честной игры”, стремления удовлетворить требования всех без исключения избирателей и решимости сохранить гражданские права и свободу высказывания за всеми, включая тех, кто хотел его свергнуть. Эсеры и кадеты, воспитанные на дореволюционном принципе сотрудничества антицаристских партий, были попросту не подготовлены к ленинскому фанатизму, жестокости и беспринципности.

А ведь им следовало бы знать лучше. Уже в русском дореволюционном движении протеста существовала определенная догматическая, авторитарная струя. Ее легко можно обнаружить в радикально-утилитаристской литературной критике школы Белинского—Чернышевского, которая господствовала на русской литературной сцене на протяжении почти всего XIX века. Чехов отчетливо сознавал это, когда создавал образы таких деспотических радикалов, как доктор Львов из “Иванова”, Лида из “Дома с мезонином” и Павел Иванович из “Гусева”, которые считали себя (и считались окружающими) глашатаями свободы и гражданских прав. Толстой проник в суть этого явления, показав в “Воскресении” “известного марксиста” Новодворова, пользующегося уважением и поддержкой революционеров-идеалистов, которых он намеревается дискредитировать и уничтожить, едва лишь придет к власти. Андрей Белый в “Петербурге” (романе, без которого невозможно понять литературную биографию Набокова) показал взаимозаменяемость революционной дисциплины и реакционного насилия и их неизбежное конечное слияние.

Набоков столкнулся с явлением идеологического насилия и конформизма уже в школьные годы, в Тенишевском училище, где его всячески понуждали к участию в различных кружках и, позднее, политических группах. Он описал это в своей автобиографии и в романе “Под знаком незаконнорожденных”, написанный уже в конце жизни. Такая устойчивость воспоминания свидетельствует о том, что оно играло, возможно, не менее важную формирующую роль, чем детская встреча Вильсона с миром богатства. Отсюда и выросла, быть может, та яростная непримиримость, с которой Набоков впоследствии отвергал фрейдистский, марксистский и всякий прочий анализ, распределяющий людей по удобным, чаще всего воображаемым, полочкам и классифицирующий их в соответствии с произвольными принципами, справедливость которых классифицируемый зачастую даже не признает. Это отрицание объединяет Набокова с Чеховым (“мой предшественник”, как он назвал

его в одном из писем Вильсону), ненависть которого ко всевозможным "ярлыкам" и "этикеткам", разделяющим людей на вообразимые группы, категории и классы, Набоков разделял. Более позднее отвращение Набокова к любым формам организованной политической жизни и его недоверие к массовым движениям могло быть порождено юношеским воспоминанием о том, как горстка большевиков во главе с Лениным победила социалистические и демократические партии с их миллионами сторонников, и подкреплено убийством отца Набокова фанатиком-монархистом в Берлине через несколько лет после революции.

Мир русской эмиграции, в котором Набоков провел следующие два десятилетия своей жизни, был не менее сложен и многообразен, чем мир дореволюционной России. Здесь подвизалась прежняя крупная и мелкая аристократия, пользовавшаяся — после бессмысленного убийства большевиками царской семьи — симпатией и поддержкой Запада. Здесь были и правые националистические элементы с их самоварами и цыганскими хорами, антисемитизмом и милитаризмом — люди, которые в 30-х годах поддерживали Гитлера, а в 40-е стали зачастую поддерживать Советы из преклонения перед их военной мощью и сталинскими ультранационалистическими лозунгами. Набоков описал эту породу людей в своих рассказах "Тема разговоров в 1945 г." и "Помощник режиссера", герой последнего оказывается одновременно советским и нацистским агентом. Среди эмигрантов было также большое число людей, которые покинули Россию в страхе перед ленинскими репрессиями. Насыщенная интеллектуальная и культурная жизнь этой эмиграции была результатом деятельности тысяч бежавших из России либералов, социалистов и демократов-марксистов. Именно они руководили эмигрантскими издательствами, выпускали замечательные литературные журналы (два ведущих — пражская "Воля России" и парижские "Современные записки" — редактировались эсерами) и пополняли ряды читателей серьезных произведений эмигрантских авторов. Письма Набокова к Вильсону воскрешают фамилии людей, принадлежавших к этой группе: Фондаминского, Гессена, Николаевского, Церетели. На Западе они почти не известны. Запад мог оплакивать Николая и Александра и романтизировать русских аристократов, утративших свою страну, либо же он мог провозглашать сталинский СССР страной "первой воистину гуманистической культуры" и торжеством

подлинно марксистского социализма, но в западных представлениях попросту не было места для русских либералов, которые выступали и против царского режима до революции, и против теократического полицейского государства Ленина — после нее. А без понимания этого аспекта русской политической и духовной истории невозможно было понять Владимира Набокова.

Свою литературную карьеру он начал как русский писатель-эмигрант, вскоре после завершения учебы в Кембридже. Публикуясь под псевдонимом "Сирин", он быстро вошел в число "подающих надежды" молодых, которые дебютировали в то же время и в тех же обстоятельствах. Вскоре стало очевидно, что он самый талантливый и серьезный из них. Одновременно, однако, в эмигрантской критике ощущалась определенная враждебность к нему, вызванная тем, что его нельзя было зачислить ни по "реалистическому", ни по "символическому" ведомству, а также тем, что он упорно отказывался примкнуть к какой-либо из литературных группировок.

Главными его достижениями того периода были романы "Приглашение на казнь" — сюрреалистическая антиутопия, изображающая доведенное до логического конца полицейское государство, в котором человек может быть осужден на смерть за один лишь факт его интеллектуальной независимости, и "Дар" (1937—38 гг.) — безусловно один из трех-четырёх величайших русских романов этого века, рассказывающий о молодом писателе, который открывает свой художественный дар, во время работы над биографией Чернышевского — критика и романиста, у которого большевики заимствовали свой политический стиль и свою эстетику. В "Даре" Набоков впервые продемонстрировал свой метод совмещения художественного повествования с литературно-критическими жанрами (биографией, комментариями и историей литературы), который он впоследствии развил в "Бледном огне", "Аде", "Посмотри на Арлекинов" и комментариях к "Онегину".

Отплывая в 1940 году в Америку со своей женой и сыном, Набоков был уже признанным в русской эмиграции писателем; некоторые из его произведений были переведены также на европейские языки (отрицательная рецензия Сартра на "Отчаяние" — типичный образчик отношения Запада к эмигрантской литературе того периода). В Америке, однако, вряд ли нашлось бы более ста человек, которые знали о его существовании. Вильсон, к его чести,

сумел преодолеть бытовавшие в те годы антиэмигрантские предрассудки (выразившиеся, например, в попытке бойкота в 1943 году романа Алданова на том основании, что антисталинец-эмигрант должен быть непременно врагом свободы и демократии) и протянуть руку помощи писателю, который был совершенно неизвестен в Соединенных Штатах.

Сразу же по прибытии Набокова в Америку Вильсон начал организовывать для него заработок рецензиями в журнале "Нью рипаблик" (литературным редактором которого Вильсон тогда являлся). В последующие месяцы и годы он стал чем-то вроде бесплатного литературного агента и советника Набокова. Он познакомил его с издателями всех ведущих журналов и помогал ему в любом его литературном начинании. Заметим, что это началось до того, как Вильсон сумел понять подлинное литературное значение Набокова, и продолжалось все годы их знакомства — независимо от того, как относился Вильсон к очередным произведениям своего друга. Вильсона привлекало к Набокову не столько сознание литературного значения последнего (это он принимал за данность), сколько чувство личной симпатии и общность литературных интересов.

Уже в первых письмах Набокова и Вильсона друг другу появляются два противоположных полюса их дальнейших интеллектуальных отношений: положительный полюс — Пушкин и отрицательный — Ленин. Вернувшись из России, Вильсон опубликовал три эссе о Пушкине и прозаический перевод "Медного всадника", открыв этим Пушкина американскому читателю, прежде начинавшему русскую литературу с Тургенева. Переписка с Набоковым стимулировала интерес Вильсона к Пушкину. Прямым следствием их переписки и обмена мнениями по этому вопросу был набоковский перевод "Моцарта и Сальери", появившийся в "Нью рипаблик" (единственный случай, когда Набоков согласился на сотрудничество с кем-нибудь — в данном случае с Вильсоном), и книга Вильсона "Окно в Россию" — с ее пушкинскими главами. С течением лет, однако, отношение каждого из них к Пушкину становится все более "собственническим", и первоначальные разногласия по поводу пушкинской метрики или его знания языков постепенно приобретают оттенок раздражения, подготавливая позднейший взрыв из-за набоковского перевода "Онегина".

Когда Набоков прочел "К Финляндскому вокзалу", он был лучше подготовлен к восприятию этой книги, чем думал Вильсон.

Биография Чернышевского, составляющая значительную часть "Дара", была следствием большой исследовательской работы. Если согласиться с П. Струве, что большевизм был "смесью импортированных зарубежных напитков с русской отечественной сивухой", то две первые части книги Вильсона рассказывают о "зарубежных напитках", тогда как набоковская биография Чернышевского (который не упомянут у Вильсона) посвящена важному аспекту "отечественной сивухи". Работая над ней, Набоков имел возможность глубоко изучить некоторых предшественников Чернышевского: Гегеля, Фейербаха, Фурье, Сен-Симона и Маркса. Поэтому он смог вполне оценить надежно обоснованный, объективный и занимательный рассказ Вильсона о взглядах Маркса и Энгельса и их утопических предшественников, о происхождении и последствиях марксизма.

Точно так же можно было заранее предсказать, что Набоков, в силу своего происхождения лучше знавший и понимавший русскую революцию, не сможет принять третью часть книги Вильсона, в которой толкование русской истории базируется целиком на суждениях Ленина и Троцкого, на признании Ленина единственным выразителем русского социализма и марксизма и на характеристике либеральных и социалистических оппонентов Ленина как "представителей буржуазии", вся цель которых якобы состояла в сохранении частной собственности. Суровой же всего Набоков отнесся к изображению самого Ленина как гуманного демократа, свободолюбца и тонкого ценителя искусства и литературы.

Американская тенденция идеализировать основателя советского государства обнаружилась уже вскоре после революции... Л. Стеффенс, имевший в 1919 г. беседу с Лениным, описывал его как инстинктивного "либерала" и "защитника свободы слова, печати и собраний", ненавидящего террор. Уже тут виден стереотип, подменяющий подлинного Ленина (каким мы его знаем из его переписки или воспоминаний таких его бывших политических попутчиков, как П. Струве или Н. Валентинов) — жестокого фанатика, влюбленного в идею насилия, политика, главным движущим побуждением которого была жажда безграничной власти и смертельная ненависть ко всем, кто интерпретировал марксизм или социализм иначе, чем он.

Человек, столь хорошо знакомый с историческими фактами, как Набоков, не мог примириться с изображением в виде гуманиста того самого Ленина, который начал свою политическую карьеру

еру с попыток саботировать организацию помощи голодающим крестьянам в 1891 году (он считал, что чем хуже голод, тем ближе революция) и продолжил ее, придя к власти, беспрецедентным в мировой истории террором. Набоков не мог согласиться с изображением Ленина, как защитника либеральных свобод, потому что знал о введенной им цензуре (гораздо более жесткой, чем царская) и о его разрешении Крупской изъять из библиотек “антихудожественных и контрреволюционных авторов”, включая Платона, Канта, Шопенгауэра, Ницше и Толстого (что вызвало угрозу Горького отказаться от советского гражданства).

Отвечая на эту критику, Вильсон писал Набокову, что в своем изображении Ленина он избегал официальных биографий и следовал “воспоминаниям, трудам Троцкого и самого Ленина, рассказам Горького и Клары Цеткин”, которые в свою очередь “пытались рассказать всю правду”. С таким же успехом историк христианства мог бы писать о ересях, руководствуясь одними только документами Ватикана. К тому же Вильсону не были известны и такие статьи Ленина, как (опубликованная только в 60-х годах) “О задачах Наркомюста в условиях НЭПа”, в которой излагался план показательных процессов над меньшевиками и эсерами — с заранее predeterminedными приговорами и наперед распланированным числом осужденных. Изучение таких документов полностью подтверждает постоянно возвращающуюся в письмах мысль Набокова о том, что сталинизм был не извращением ленинизма, а его прямым продолжением.

В конце концов Вильсон все же понял, что источники, которыми он пользовался, были “сознательной фальсификацией”. В “Предисловии 1971 года”, которое он добавил к новому изданию своей книги, был перечислен широкий список новых документов, включая показания Струве и Валентинова, засвидетельствовавших беспощадную и жестокую натуру и политический стиль Ленина, а также анализ горьковских мемуаров, проведенный Бертрамом Вольфом и показавший наличие в них исторических искажений. При всем уважении, которое вызывает это мужество Вильсона, не побоявшегося признать свои ошибки, приходится сожалеть, что это произошло слишком поздно, чтобы повлиять на его отношения с Набоковым.

Если разногласия по вопросу о Ленине были порождены различной интерпретацией одних и тех же исторических фактов, то еще более яростные споры Набокова и Вильсона о русском

стихосложении представляют собой образец такого недоразумения, когда спорящие говорят о двух разных вещах и не слышат друг друга. Этот спор начался письмом, в котором Вильсон сравнивал Пушкина с Шекспиром, утверждая, что русский поэт был “педантически регулярен” в метрике и рифмах своих стихов. Вильсон здесь очевиднейшим образом прилагал к Пушкину принципы **английского** стихосложения. Ответное письмо Набокова представляло собой пространное, подробное и обильно уснащенное примерами исследование — увы, не основ **русского** стихосложения или системы русских ударений (ибо Набокову и в голову не приходило, что Вильсон может не знать таких азов), а той игры между метрикой и ритмом в русском ямбе, которой пользуется Пушкин.

В этом исследовании (позднее вошедшем в комментарий к переводу “Онегина” и выпущенном отдельной брошюрой) Набоков описывал открытый Андреем Белым “переменный ритмический ток, который пульсирует в постоянной структуре русского ямба”. Пытаясь объяснить Вильсону эту “основу русского стихосложения”, Набоков не сознавал, что читает лекцию по контрапункту человеку, который понятия не имеет о нотах вообще — или, если угодно, лекцию по высшей алгебре человеку, который не знает четырех правил арифметики.

Лишь через семь лет Вильсон узнал от П. Струве, что в русских словах есть только одно ударение (в отличие от английских слов с их вторичным ударением), — а ведь без этой важнейшей информации он не мог понять “лекцию” Набокова. Но Вильсон не знал также, что русская метрика и стихосложение изучались поколениями поэтов и теоретиков куда основательней, чем это когда-либо имело место в английской поэзии. Набоков излагал ему не собственные домыслы или школьную премудрость, как считал Вильсон, а итоги чрезвычайно глубоких исследований, проведенных в символистский период, в основном — Анненским и Белым (и превзойденных лишь в самые последние годы семиотическими и компьютеризованными исследованиями метрики, развитыми в СССР). Широкое использование Набоковым греческой терминологии с ее пэонами, амфибрахиями, пиррихиями (которые в русской поэзии означают нечто иное, нежели в классической греческой) заставило Вильсона заподозрить Набокова в педантичном школярстве и ответить, что “английская поэзия уже давно отошла от подчинения классическим образцам”.

Набоков еще более запутал дело, пытаясь — для удобства Вильсона — изобретать примеры английских стихов, основанных на метрике русского типа. Его стихи совершенно не учитывали английского второго ударения — ошибка, которую делают все русские, независимо от того, как хорошо они знают английский язык (меж тем как все англичане инстинктивно учитывают эту особенность в своих стихах). Вильсон, в свою очередь, продолжал путать обе системы, отвечая: “Русские стихи кажутся мне, в принципе, ничем не отличающимися по метрике от английских”. Недоразумение углублялось, и вся дальнейшая переписка показывает, что Вильсон, говоря об английских или русских стихах, всегда имел в виду английское стихосложение, тогда как Набоков подразумевал прямо противоположное. До конца своей жизни Вильсон так и не овладел русской системой ударений и стихосложения. Набоков же, не раскрыв ему ее (поскольку не догадывался о столь существенных пробелах в образовании своего друга), лишь усугублял ситуацию, как сделал это и позже, в случае их спора о Чехове, когда предлагал весьма запутанные примеры, надеясь помочь Вильсону преодолеть некоторые грамматические трудности чтения чеховских текстов.

Тем не менее их переписка свидетельствует о растущей близости и глубокой вовлеченности в интересы друг друга. В ноябре 1943 года Вильсон даже предложил Набокову написать вместе книгу о русской литературе; этот проект энергично обсуждался в следующем году и — с несколько меньшим энтузиазмом — еще и год спустя. Не стоит и говорить, что он так и остался нереализованным.

Одной из самых привлекательных черт Вильсона была открытость ко всему новому в литературе и готовность поделиться удовольствием от встречи с новым титаном. Набоков, который, как и герой его “Дара”, признавал только два вида книг: “настойный” и “подстойный”, — постоянно огорчал Вильсона — первооткрывателя новых имен. Широта вкусов Вильсона натыкалась на отношение Набокова, выраженное тем же героем: “Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком”. Вкусы Набокова были столь непредсказуемы, что многие до сих пор считают, будто он всегда предпочитал стиль содержанию. Это мнение легко опровергнуть глубокой привязанностью Набокова к Толстому и Чехову, ни один из которых не может считаться образцовым стилистом по русским меркам, и столь же глубоким

неприятием Расина и Стендаля. Набоков, как правило, отвергал прежде всего тех авторов, которые подчинялись господствующим нормативам своего времени (отсюда его неприятие неоклассицизма восемнадцатого века за исключением Попа и Стерна в Англии, Фонвизина и Державина в России); затем писателей, которые чересчур полагались на готовые приемы и формулы (как, на его взгляд, Стендаль и Конрад); или же, наконец, тех, кто приносил художественность в жертву мелодраматическим эффектам (вроде, по его мнению, Достоевского и Фолкнера).

Поскольку Набоков чувствовал себя, как дома, в русской литературе, он склонен был выискивать русские эквиваленты для тех западных авторов, которых ему рекомендовал Вильсон. Так, Генри Джеймса он характеризовал как "разжиженного" Тургенева (которого в свою очередь недолюбливал), Фолкнера — как аналога незначительных русских писателей 1860-х годов, специализировавшихся на социальной тематике, а Андре Мальро — как бедного родственника тех советских писателей 1920-х годов, которые имитировали Достоевского и Леонида Андреева. На протяжении всей их переписки литературная педагогика Вильсона снова и снова наталкивалась на упорный отказ Набокова принять его литературные дары.

Затем, весной 1950 года, когда из-за болезни обоим переписка их стала оживленней, Вильсон "забил" подряд "три гола" в ворота Набокова, заставив его признать странное литературное трио, состоящее из Чарльза Диккенса, Джейн Остин и Жана Жене. Диккенс был любимым писателем отца Набокова и часто читался в семье; позднее, однако, Набоков к нему охладел. Теперь, перечитав, по настоянию Вильсона, "Холодный дом", Набоков сделал эту книгу одной из главных в своем курсе по сравнительному литературоведению в Корнелльском университете.

Случай с Джейн Остин был особенным достижением Вильсона, поскольку здесь ему пришлось преодолеть типично русское предвзятое отношение Набокова к романистам-женщинам. Сложилось так, что в русской литературе есть блестящие женщины-поэты, но нет женщин-романистов, творчество которых подымалось бы выше уровня, сатирически изображенного Набоковым в рассказе "Адмиралтейская игла". К тому же Остин была совершенно неизвестна в русской культуре — в отличие от Анн Радклифф и сестер Бронте. Прочитав под давлением Вильсона "Мэнсфилд-парк", Набоков не только включил этот роман в свой курс лекций,

но и взял из него ряд параллелей для комментария к "Онегину".*

Дружба Набокова и Вильсона покоилась, во многом, на их взаимном уважении друг к другу как к писателям. Набоков высоко ценил "К Финляндскому вокзалу" и эссе Вильсона за их литературные достоинства; тем не менее он постоянно критиковал тягу Вильсона к модным социологическим объяснениям вместо раскрытия внутренней логики текста. Удивленный этим настойчивым стремлением Набокова игнорировать социологический аспект литературы и преуменьшать ее идеологическое содержание, Вильсон в одном из писем предположил, что Набоков, видимо, увлекся в юности теорией "искусства для искусства" и с тех пор механически следует ей.

Вряд ли можно найти более яркий пример хронологического несовпадения между русской и западной интеллектуальной традицией, чем это предположение Вильсона. Спор об искусстве для искусства в противопоставлении социально ангажированному творчеству, шел в России не в начале века, как на Западе, а в 1860-х годах. Свободу искусства защищали тогда Тургенев, Достоевский и Фет; им противостояли радикальные утилитаристы, возглавляемые Чернышевским, которые требовали от писателей отклика на текущие социальные и политические запросы и были достаточно сильны, чтобы дискредитировать в умах многих читателей тех, кто с ними не соглашался (как того же Фета, например). В течение трех десятилетий с шестидесятых до девяностых годов русской литературе приходилось считаться с фактическим засилием радикальной утилитарной критики. Когда Чехов бросил вызов ее гегемонии, эта критика в ответ сделала все возможное, чтобы опорочить и подорвать его репутацию. Решающий прорыв был сделан только дягилевским журналом "Мир искусства", за которым последовало все поколение символистов.

Для Набокова проблема состояла не в том, чтобы затушевывать социальные или экономические факторы, а в том, как органически включить их в литературу, не превращая ее при этом в социологическую проповедь. Западные интеллектуалы, читая многочисленные высказывания Набокова о его "абсолютном безразличии" к социальным проблемам, моральным урокам или метафизическим идеям, не всегда понимают, что эти его слова — лишь реакция на давнюю русскую традицию, которая дважды на протя-

* Позже он ввел ряд реминесценций и цитат "Мэнсфильд-парка" в свой роман "Ада".

жении столетия поработала литература и искусство во имя этих самых “проблем, уроков и идей”. Первый раз это произошло в XIX веке, когда Толстой и Чехов подвергались систематическим нападкам, а писатели рангом поменьше и вообще отлучались от литературы за “недостаточное внимание к социальным проблемам”; потом это повторилось в советский период, когда многие ценимые Набоковым писатели (Зощенко, Олеша, Заболоцкий и Мандельштам) подверглись преследованиям со стороны власти, которая стала вводить эстетику Белинского—Чернышевского с помощью лагерей и смертных приговоров. Сама яркость высказываний Набокова была следствием того факта, что он был единственным крупным русским писателем, который получил трибуну для разоблачения этой традиции.

Непонимание этого мешает многим на Западе полностью оценить творчество Набокова; мешало это и Вильсону. Вдобавок Вильсон последовательно игнорировал русскую литературу первых двух десятилетий XX века, в которой формировались личность и художественное мировоззрение Набокова. Вильсон знал русскую литературу глубже, чем любой западный критик, не являвшийся специалистом по ней. Он одним из первых показал западному читателю величие Пушкина и Гоголя. Его эссе о Тургеневе и Толстом базировались на изучении источников, доступных только по-русски. В эссе о Тютчеве он проник в область, доселе практически закрытую для большинства американских критиков. А его работы о Грибоедове и Сухово-Кобылине касались авторов, которые вообще были неизвестны западным литературоведам.

И все же даже этот самый глубокий знаток русской литературы практически не заметил русского “серебряного века”. Он прошел мимо него точно так же, как в своем изучении Октябрьской революции прошел мимо меньшевиков и эсеров. В анализе русских литературных явлений XX века Вильсон послушно следовал за книгой Троцкого “Литература и революция”, в которой многие лучшие писатели начала столетия были умышленно ошельмованы и оклеветаны ради возвеличения так называемой “пролетарской литературы” (призванной, по схеме Троцкого, прийти им на смену, но так на самом деле и не возникшей). Всякому, кто знаком с пышным расцветом русской литературы после 1905 года, странно читать утверждения Вильсона о том, что это был период упадка и что единственными значительными явлениями, порожденными революцией, были статьи Ленина и Троцкого и поэма Блока “Двенадцать”.

Между тем творчество Набокова зародилось именно в блестящем литературном цветении того времени — в экспериментальной прозе Ремизова и Белого, в более традиционной, но стилистически изысканной прозе Бунина и, что еще важнее, — новаторской поэзии Анненского, Блока, Белого, а позднее — Мандельштама и Пастернака. (Вильсон начал интересоваться Пастернаком, Мандельштамом и Ахматовой много позже, когда это уже не могло повлиять на его понимание творчества Набокова.)

Когда Вильсон журил Набокова за пристрастие к игре словами и каламбурам, он не сознавал, что это не личная особенность Набокова, а распространенная тенденция русского модернизма. Чуткое внимание к скрытым связям между семантическим и поэтическим аспектами слова, вскрываемым не ради словесной игры, а ради извлечения новых смыслов и значений, было ведущим мотивом прозы Белого, Ремизова и других русских символистов. Еще более существенным было оно для поэзии Маяковского, Пастернака и Цветаевой — трех поэтов, творчество которых питалось от тех же корней, что и проза Набокова, и сначала озадачивало, а позже покорило западных читателей.

Тем более удивительно, что Вильсон все же сумел уловить суть набоковской прозы, когда писал, что роман “Подлинная жизнь Себастиана Найта” “выдержан на высоко поэтическом уровне...”. Однако другие книги Набокова, написанные до приезда в Америку, “Камера обскура” и “Отчаяние”, он оценил менее высоко, а “Под знаком незаконнорожденных” отверг нацело.

Вместе с “Приглашением на казнь” и “Даром” “Под знаком незаконнорожденных” образует нечто вроде трилогии, посвященной тоталитарным революциям. “Дар” прослеживает корни тоталитаризма в замаскированной под освободительную, а в действительности догматической и фанатичной идеологии прежних поколений; “Приглашение на казнь” показывает мрачные отдаленные последствия такой системы; а “Под знаком незаконнорожденных” описывает приход к власти деспотического диктатора. Основываясь на личных впечатлениях от переворотов Ленина в России и Гитлера в Германии, Набоков прослоил свою книгу, как сам позднее признавался, “отрывками из речей Ленина, ошметками Сталинской конституции и харкотней нацизма”. Поскольку пример Гитлера был в его памяти свежее, карикатура на нацизм выступила ярче, но и большевистские аспекты в книге были весьма существенны: так, отношения между диктатором Падуком и его вдохновителем

Скотомой представляли собой пародию на связь между Лениным и Чернышевским, затронутую еще в "Даре".

Вильсон не читал ни "Дара", ни "Приглашения на казнь" (тогда еще не переведенных на английский) и потому не мог понять всей важности политических мотивов в творчестве Набокова. Его утверждение в одном из писем, что Набокову "не удаются подобные вещи, потому что (он) абсолютно не заинтересован в них и не дает себе труда их понять", поистине поразительно, если учесть, что оно адресовано автору "Дара". Не менее поразительно, что Вильсон остался при этом убеждении до конца своей жизни: даже в 1971 году он писал, что Набоков "презирает коммунистический режим и, на мой взгляд, даже не понимает, как этот режим возник и функционирует. Вообще, его понимание России чрезвычайно специфично и, в сущности, ограничено".

Затем все покатило под гору. Разногласия из-за стихосложения и революции повторялись уже столько раз, что стали почти предсказуемыми. Набоков был оскорблен главой о России в вильсоновских "Откровенных размышлениях", где утверждалось, что Россия — исключая период демократического правления Ленина — осталась неизменной со средних веков. Это показывало, как мало Вильсон извлек из переписки и бесед с Набоковым. Огорчило Набокова и вильсоновское издание переводов Чехова, изобиловавшее многочисленными ошибками и снабженное числом социологическим предисловием, в котором Вильсон высказывал странную мысль, будто чеховские типы — это те самые люди, которые пришли к власти в сталинские времена.

Тем не менее переписка и встречи продолжались еще два года. Появление и шум вокруг романа Пастернака (поэзией которого Набоков тщетно пытался заинтересовать Вильсона в 40-е годы) внесли новую ноту разногласий. Вильсон посвятил "Доктору Живаго" восторженную рецензию в "Нью-Йоркере", для Набокова же роман был "чтивом", книгой (как он писал в предисловии к русскому переводу "Лолиты") о "лирическом докторе с его лубочно-мистическими поэмами... и чаровницей из Чарской". После столь глубокого расхождения оставался всего один шаг до баталии по поводу "Онегина".

60-е годы были периодом их отчуждения. С появлением "Лолиты" и "Пнина" Набоков приобрел международную известность, и его растущее влияние было одной из причин, способствующих появлению новых писателей и тенденций, с которыми Набокову

было легче найти общий язык, чем с теми, кем Вильсон пытался заинтересовать его в течение их двадцатилетней переписки. Появились Джон Чивер, Джон Барт и Джон Апдайк в Америке, Алэн Роб-Грийе во Франции, появилась проза Сэмюэля Беккетта (которую Набоков, в отличие от его пьес, высоко ценил). Для Вильсона, который в те годы стал менее чуток к новому, все эти имена не значили ничего. Последний их общий отклик был вызван появлением Александра Солженицына, литературный талант которого оба, на редкость единодушно, недооценили.

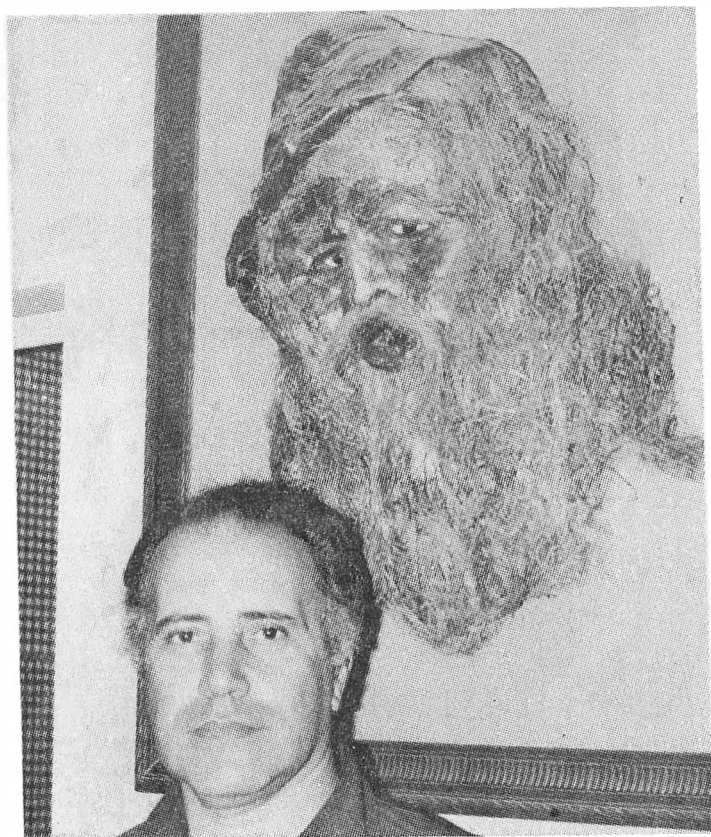
Стычка из-за "Онегина" глубоко потрясла обоих. Они предприняли безуспешные попытки примирения. Два последних письма показывают, как они тосковали по давним временам близости и доверия. Однако спор еще не был окончен. Вильсон позволил себе крайне нелестным образом описать Набокова в одной из своих последних книг. Набоков ответил гневным письмом в литературное приложение к "Нью-Йорк таймс". За этим последовала близоруко-несправедливая оценка Вильсоном литературной ценности творчества Набокова в книге "Окно в Россию".

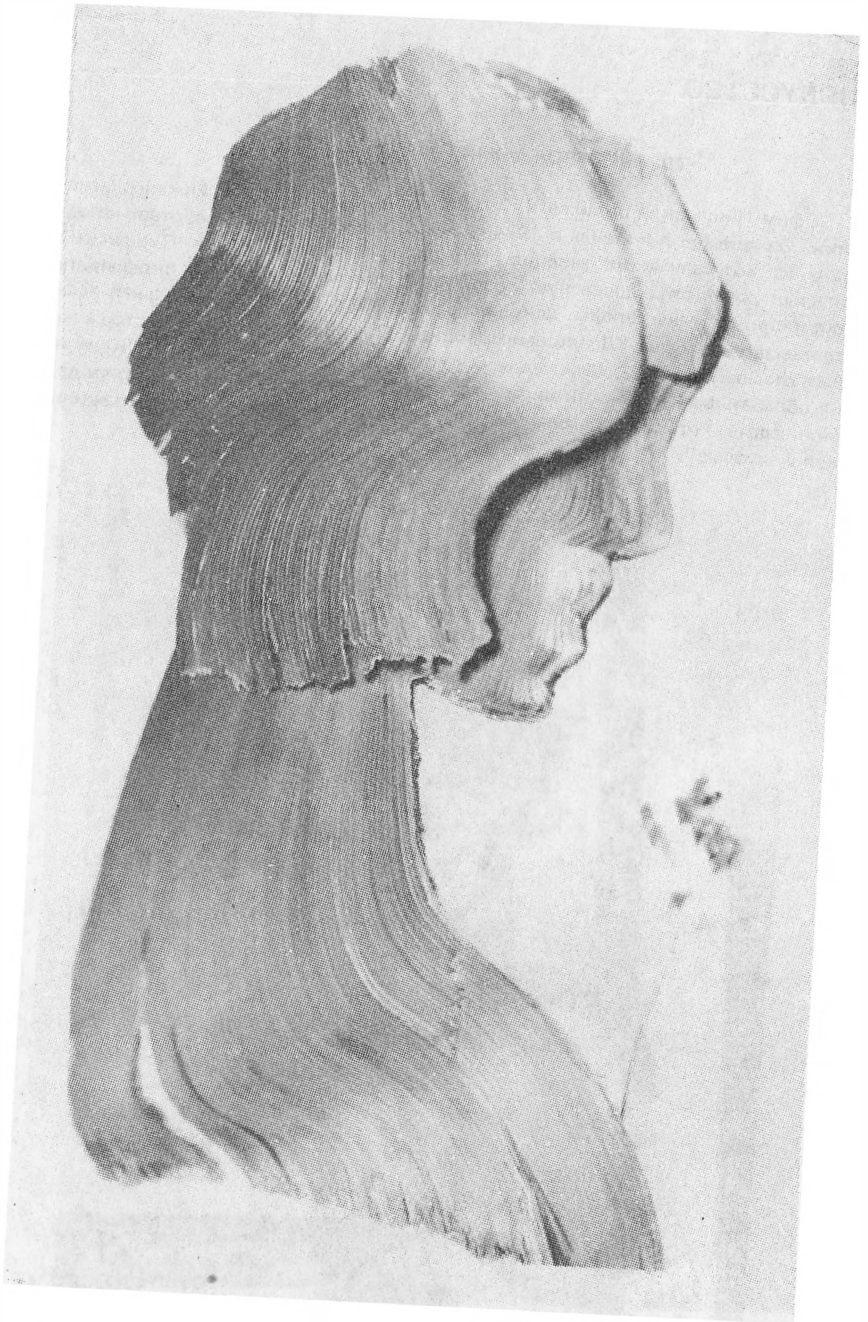
При всем широком диапазоне Вильсона как литературного критика он парадоксальным образом недооценил одного из крупнейших современных писателей, который к тому же был его ближайшим другом — Владимира Набокова. Вильсону понравились воспоминания Набокова и "Пнин", но он высказал это в частных письмах, а не в печати. Он не нашел ни одного похвального слова для "Бледного огня", который вызвал хор похвал со стороны критики. "Аду" с ее богатейшими вариациями на темы русской литературы он не смог дочитать. И он так и не прочитал "Дар" — именно ту книгу Набокова, которая, пойми он ее, могла бы дать ему недостающий ключ к творчеству Набокова и пониманию многого в русской истории.

Но если другие сумели лучше оценить литературный гений Набокова, то за Вильсоном все равно останется заслуга человека, который первым в США открыл и оценил оригинальность Набокова как личности и тем самым помог ему начать вторую литературную жизнь как американского писателя. Это тоже немалое литературоведческое достижение, и оно составляет доселе еще недостаточно понятый вклад Эдмунда Вильсона в обогащение американской литературы нашего века.

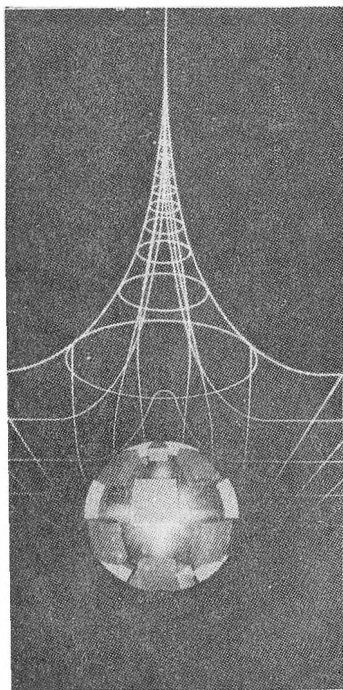
ТВОРЧЕСТВО ЕФИМА ПИЩАНСКОГО

Ефим Пищанский родился в Киеве в 1933 г., по профессии инженер-механик. Он приехал в Израиль в 1974 г., живет в Иерусалиме и работает на одном из иерусалимских заводов. Несколько лет назад Ефим Пищанский открыл для себя... древесную кору. Из ее обломков он начал складывать портреты, картины, этюды. Вскоре состоялась его первая персональная выставка, затем вторая. "Древесная живопись" Пищанского вызвала восторженные отзывы зрителей. Сам художник говорит о своем методе так: "Кору я не обрабатываю никакими инструментами. Ее до меня обработала природа. Моя задача — отыскать готовые формы и соединить их так, чтобы они зажили новой жизнью".









В. Барашенков

**МИР БЕЗ КОНЦА
И БЕЗ КРАЯ**

Галилео Галилей, едва не попавший на костер инквизиции за приверженность идеям Коперника, в молодости был и их ярким противником. Воспитанный по канонам церкви, он впервые услышал об идеях Коперника на лекциях в университете и искренне считал их очевидной глупостью.

Мысль Коперника о том, что надо "поменять местами" Солнце и Землю, казалась просто издевательством над здравым смыслом. Но именно эта мысль сняла путы с человеческого мышления и открыла дорогу для построения более точной научной картины мира.

Уровень XX века трудно сравнивать с полунаучными-полурелигиозными воззрениями Коперника и его последователей. Тем не менее все эти столетия представления об устройстве мира как целого оставались, по существу, неизменными. Бесконечное пространство, заполненное сгустками кипящей материи — звездами, шарики планет вокруг них, разреженный межзвездный газ и пыль. Такая модель бесконечной и вечной вселенной господствовала в науке вплоть до середины нашего века.

Перелом произошел, в общем-то, совсем недавно. В 1922 году петроградский ученый Александр Фридман опублико-

вал свою теорию рождения пространства и времени "из точки". Анализируя уравнения только что созданной общей теории относительности, он пришел к выводу, что, образовавшись в какой-то момент времени (откуда и как — этого его теория не могла сказать), вселенная стала "разбухать", равномерно расширяясь во все стороны.

Большинству ученых эта идея показалась фантастической. На нее смотрели как на некоторую математическую модель, описывающую нереализующийся в природе случай. Согласитесь, трудно принять теорию, если в ней речь идет о "начале мира" и вместе с тем без ответа остается вопрос о том, что же было раньше, "когда еще не было ни пространства, ни времени". Не ясно даже, какой смысл имеет здесь само понятие "раньше". Казалось, теория полна противоречий и парадоксов.

Однако наблюдения приносили все новые и новые подтверждения. Американский астроном Хаббл обнаружил разбегание, удаление друг от друга, звезд и галактик — как будто окружающее их пространство действительно "разбухает", подобно тесту в квашне. Физик Гамов выдвинул гипотезу о том, что рождение вселенной, о котором идет речь в теории Фридмана, представляет собой гигантский взрыв, где в условиях огромных температур и давлений "сварилось" атомное вещество нашего мира. Американские физики-экспериментаторы Пензиас и Вильсон вскоре обнаружили предсказанное Гамовым рассеянное по всему пространству остаточное тепловое излучение этого взрыва. И постепенно, несмотря на ее, казалось бы, "очевидную невозможность", поражающая воображение картина рождающейся из "ничего" и эволюционирующей вселенной завоевала признание.

Как и любая научная концепция, теория Фридмана приближенна и имеет границы своей применимости. В частности, ее заведомо нельзя использовать в области очень малых пространственно-временных масштабов, где важны не учитываемые ею квантовые эффекты. Ультрамалые масштабы в окрестностях "начала мира" — предмет квантовой космологии, которая еще только создается.

А пока можно лишь утверждать, что 15—20 миллиардов лет назад (эту оценку дают астрономические наблюдения) вселенная имела микроскопические размеры. Если ее масса недостаточно велика, то, непрерывно расширяясь, вселенная будет увеличивать свои размеры беспределно. В противном случае ("тяжелая вселенная") наступит время, когда силы гравитационного притяжения

остановят расширение и начнется обратный цикл сжатия мира "почти в точку".

Какой из этих двух сценариев реализуется в действительности, пока не ясно. Правда, с житейской точки зрения они почти не различаются, так как если сжатие и начнется, то это случится, по-видимому, не ранее чем через 10^{40} – 10^{50} лет, когда вселенная станет похожа на темный зал, заполненный газом легких элементарных частиц, с редкими островами "черных дыр", которые медленно испаряются, тоже превращаясь в газ частиц. Расчеты показывают, что это наиболее продолжительная по времени, можно сказать, основная фаза нашего мира.

Что последует за сжатием: повторное рождение и расширение вселенной или какая-либо иная ее фаза — это пока за пределами наших знаний.

В случае, если гравитационные силы не остановят расширения, то через 10^{100} лет, когда размеры вселенной достигнут чудовищной величины — грубо говоря, в 10^{110} километров, она полностью превратится в чрезвычайно разреженный газ легких элементарных частиц, которым распасться уже не на что. Почти пустое мертвое пространство.

Впрочем, не исключено, что какие-то неизвестные нам процессы воспрепятствуют осуществлению безрадостной картины полностью омертвевшего мира. Возможно, это будет связано с учетом сложной многоярусной картины вселенной, где развитие принимает непривычный для нас многоплановый характер с разными пространственными масштабами и ритмами времени.

Мы привыкли к тому, что в мире одно время, а пространственная бесконечность всегда — увеличение размеров. На самом деле природа, по-видимому, устроена хитрее. В экстремальных условиях первичного взрыва концентрация массы в отдельных участках могла стать настолько большой, что под действием сильного гравитационного притяжения расширение пространства сменилось его сжатием, в результате чего возникали почти самозамкнувшиеся, "схлопнувшиеся" области пространства-времени. Теория говорит, что внутренние и внешние масштабы в этом случае оказываются различными. С внешней стороны такие полужамкнувшиеся области выглядят как микроскопические объекты, а изнутри они могут быть огромными космическими мирами. Внутри них, в свою очередь, могут образоваться полужамкнувшиеся районы — "частицы-вселенные" и так далее. Мир становится многоэтажным.

Конечно, едва ли однообразная цепочка взаимовложенных миров тянется без конца. Если локальная концентрация массы очень велика, то пространство может полностью самозамкнуться и от вселенной отпочкуется новая вселенная, не имеющая с прежней абсолютно никаких общих точек. Получается, что из одного изолированного мира никак нельзя попасть в другой. Самозамкнувшийся мир стягивается в безразмерную точку, исчезает в "материнской" вселенной... Но если принять во внимание квантовые эффекты, то "материнский" и исчезнувший "дочерний" миры все же остаются связанными между собой спонтанными квантовыми флуктуациями, туннельными переходами, благодаря которым частицы и информация из одного мира могут "просочиться" в другой. Вселенная остается единой, связанной всеми своими частями.

Если для наглядности представить себе вселенную двумерной, вроде поверхности глобуса, то вместе с отпочковавшимися дочерними мирами она будет чем-то вроде суммарной поверхности ягод в виноградной грозди, где каждая ягодка-глобус приросла к соседним. В классической теории Фридмана эти сращения можно перерезать, в квантовой теории этого сделать нельзя. Получается очень сложная переплетающаяся фигура с множеством прорех и дыр. При этом некоторые ягодки-вселенные растут на внутренней поверхности других. Не знаю, насколько читатель способен представить себе столь необычную геометрическую структуру...

Но пока это только теория, следствие формул общей теории относительности Эйнштейна. Первым такие структуры исследовал советский ученый Марков. По его мнению, если картина многоэтажной вселенной почему-то не реализуется природой, это само по себе будет удивительной загадкой — уж очень естественно, без всяких дополнительных гипотез, возникает эта картина в рамках современной теории.

Однако в этой грандиозной картине есть темные пятна, а часть удерживающих ее "теоретических гвоздей" готова вот-вот сломаться.

Прежде всего удивляет однородность вселенной. На небольших (в космических масштабах, конечно) участках она явно неоднородна: безвоздушные пространства, плотные планеты, звезды с огромной плотностью вещества в их центрах. Но на больших расстояниях, сравнимых с размерами скоплений галактик, распределение вещества напоминает орнамент волокон со случайными, но близкими по величине размерам деталями. Какие-то процессы сделали вселенную равновесной.

Этот экспериментальный факт трудно согласовать с теорией первичного взрыва. Инфраструктура взрыва определяется игрой случайных факторов и весьма неоднородна. Поэтому если вселенная действительно родилась в катаклизме первичной огненной вспышки, ее отдельные "области-осколки" должны были бы значительно отличаться по массе.

Еще более удивляет необычайно высокая однородность реликтового теплового излучения — остаточного жара первичной вспышки. Температура излучения, приходящего к нам с разных направлений, различается менее чем на 0,01 процента.

Наблюдаемая однородность вселенной выглядит особенно загадочной, если учесть, что к нам приходят сигналы из областей, которые на протяжении всей своей истории были удалены друг от друга на такие большие расстояния, что они не успели провзаимодействовать даже с помощью самых быстрых, световых сигналов. Каким же образом они могли прийти в равновесие друг с другом? В теории Фридмана это невозможно.

Еще один удивительный факт связан с величиной средней плотности вещества вселенной. Из теории Фридмана следует, что если в первые мгновения после первичного взрыва, во времена порядка 10^{-43} секунды, эта плотность всего лишь на 10^{-53} процента превосходила "критическую" (при которой мир становится полностью замкнутым), то расширение вселенной давным-давно сменилось бы ее сжатием, и мы теперь наблюдали бы не разбегание галактик, а их сближение. С другой стороны, если бы плотность взорвавшейся материи на 10^{-53} процента была меньше критической, расширение пространства происходило бы значительно быстрее и современная средняя плотность материи в нашем мире была бы во много-много раз меньше наблюдаемой. Другими словами, наша вселенная родилась с плотностью, которая почему-то фантастически близка к критической. Почему так произошло? В теории Фридмана нет объяснения этой загадке.

Загадку начальной плотности иногда называют также "проблемой абсолютно плоского мира". Дело в том, что в теории относительности плотность массы связана с кривизной пространства-времени. Если плотность больше критической, мир, образно говоря, вогнутый, если меньше — он выпуклый. В промежуточном случае мир плоский. Наша вселенная почему-то предпочла родиться плоской (с точностью до 10^{-53} процента!), хотя это только одна из бесчисленных возможностей. Трудно думать, что это случайность.

Теория Фридмана нуждается в дальнейшем усовершенствовании. А поскольку трудности этой теории, как правило, связаны с начальным периодом жизни вселенной, можно думать, что прежде всего следует уточнить описание свойств мира в окрестностях "особой точки" — в первые доли секунды после его рождения.

Первый существенный шаг на этом пути сделал американский физик Гут. Он обратил внимание на то, что если вселенная будет расширяться таким образом, что плотность ее массы все время остается постоянной, то формулы теории относительности приводят к выводу: скорость расширения будет расти пропорционально размеру вселенной. Чем больше вселенная, тем быстрее она "распухает". Такой процесс происходит настолько быстро, что вселенная почти мгновенно, всего лишь за 10^{-32} секунды, раздувается от микроскопического зернышка до чудовищного "пузыря" с радиусом на много-много порядков больше видимой нами вселенной.

Представьте себе арбуз, который мгновенно надувается до размеров Галактики!

Можно предположить, что подобно тому, как это происходит с расширяющимся газом, температура надувающейся вселенной резко упадет и из первичной материи начнут выделяться частицы "обычного" вещества с известными нам свойствами. Расширение вселенной замедлится, и дальнейшая эволюция каждого ее участка будет совершаться уже по "стандартному" сценарию Фридмана. Вселенная Гута оказывается практически бесконечной, а видимая нами часть пространства (то, что до сих пор считалось почти всей вселенной) — лишь ничтожно малая ее доля.

Предложенный Гуттом сценарий развития вселенной, хотя и выглядел весьма "сумасшедшим" (разве может быть вещество, которое, расширяясь, не уменьшает своей плотности?) позволял, однако, устранить практически все трудности теории Фридмана. В начале эры "быстрого надувания" — этот термин сегодня используют все астрономы и физики — вселенная могла быть такой маленькой, что во всем ее объеме успело установиться равновесие — однородное распределение плотности, температуры и других свойств. Такого предположения нельзя было сделать в теории Фридмана. Другое дело в модели Гута. Здесь видимая нами часть вселенной образуется путем фридмановского надувания крошечного участка уже надувшейся вселенной, и о ее начальных размерах можно делать различные предположения, в том числе — считать их очень маленькими.

Понятным становится и то, почему наш мир плоский. Он — лишь исчезающе малая точка в масштабах вселенной, а на малых расстояниях кривизна незаметна. Это подобно тому, как мы не ощущаем кривизну земного шара в нашей повседневной жизни.

Космологическая картина мира заметно прояснилась. Если бы вот только не гипотеза о расширяющемся веществе с постоянной плотностью. Как совместить ее с законами физики? Пожалуй, только пустое пространство — вакуум — обладает необходимым свойством.

Помощь космологам пришла с противоположного полюса физической науки — из области элементарных частиц. В середине семидесятых годов группой американских и западноевропейских теоретиков была разработана теория, объединившая три типа сил — сильные (ядерные), электромагнитные и слабые (ответственные за распады частиц и ядер). Теория предсказала существование нового

класса частиц — так называемых хиггсонов (по имени английского физика Хиггса, который первым стал изучать их свойства). Как говорит теория, эти частицы обладают двумя замечательными особенностями. Во-первых, они достаточно устойчивы только тогда, когда “сильная компонента” единого взаимодействия становится отличной от остальных; если же все три типа сил равноправны (это имеет место при очень высоких энергиях), хиггсонов практически нет — они распадаются, едва успев образоваться. Во-вторых, именно эти частицы — иначе говоря, поле, квантами которого они являются, — в значительной степени определяют структуру, “консистенцию” и энергию вакуума. При этом увеличение хиггсонова поля приводит к такой перестройке вакуума, что его энергия (“нулевой уровень” мира) понижается, а разность конечной и начальной энергий выделяется в виде массы и тепловой энергии элементарных частиц. Пустой мир заполняется веществом. Похоже на выпадение тумана или инея из прозрачного воздуха.

Это весьма грубая картина того, что происходит в действительности, но она позволяет наглядно представить себе суть дела. Обоснованием этих соображений занималась большая группа советских и зарубежных физиков, но основной вклад внесли теоретики Физического института им. Лебедева АН СССР Киржниц и Линде.

Так вот, расширение юной вселенной сразу после ее рождения привело к тому, что плотность массы в ней быстро упала почти до нуля. По оценкам Гута и Линде это произошло где-то на уровне 10^{-35} секунды. Пустая вселенная, как уже упоминалось выше, мгновенно начала раздуваться, увеличив свои размеры на десятки порядков. Температура ее быстро уменьшалась, и где-то ближе к середине эры раздувания она стала такой, что нарушилась симметрия взаимодействий и создались условия для интенсивного рождения хиггсонов. Это сопровождалось снижением энергии вакуума и соответственно выпадением (“кристаллизацией”) огромного числа частиц. Средняя плотность свободной (“плавающей” в вакууме) массы подскочила на сотню порядков — увеличилась в 10^{100} раз! Из вещества, которое возникло буквально из пустоты, в дальнейшем образовались все галактики, звезды, планеты окружающего нас мира. При этом в различных частях вселенной мог образовываться различный вакуум. Соответственно, различными там будут и основные физические законы.

Каких только чудес не открывает физика!

Продолжительность эры быстрого раздувания составляла всего

около 10^{-32} секунды – трудно вообразимый миг, но он в тысячу раз дольше всей предшествующей жизни вселенной.

Подобно тому, как это происходит при выделении из расплава более упорядоченной фазы, рождение частиц сопровождалось выделением тепла. (Вспомним, как мы радуемся повышению температуры, когда на улице идет снег!) К концу эры быстрого раздувания вселенная раскалилась настолько, что родившиеся частицы переплавливались в кварк-глюонную плазму (кварки и глюоны – основные, фундаментальные частицы обычного вещества). Образовался громадный шар раскаленного вещества, точнее, “гроздь” огромного числа областей вселенной с различным вакуумом. Каждая из них как раз и есть тот горячий “праисторический мир” Гамова, в котором при дальнейшем уже сравнительно медленном расширении вселенной по стандартному фридмановскому сценарию “сварилось” окружающее нас вещество.

Теоретики обсуждают еще более совершенные космологические сценарии, в которых “гроздь” вселенных образуется раздуванием сверхмалых, порядка 10^{-33} сантиметра, пространственных “зернышек”, возникающих в результате квантовых флуктуаций энергии и пространственно-временной метрики. Это предмет только еще рождающейся квантовой космологии. Но во всех случаях новый космологический сценарий не перечеркивает и не отбрасывает теорию Фридмана, он включает ее как необходимый фрагмент, описывающий более позднюю стадию развития вселенной.

На временной оси вселенной разумная жизнь в окрестностях нашего Солнца занимает крошечный, едва различимый интервал. Наши знания простираются значительно дальше. Мы можем делать достаточно уверенные прогнозы на 10^{25} – 10^{30} лет в будущее и вплоть до 10^{25} – 10^{30} секунды от “начала мира” в прошлое. С помощью единой теории сильных, электромагнитных и слабых взаимодействий можно рассматривать еще более широкий интервал – приблизительно от 10^{40} секунды до 10^{100} лет. Полторы сотни порядков! Правда, надежность предсказаний на краях интервала значительно снижается.

Если в единое взаимодействие включить еще и гравитационные силы, то тогда удается дотянуться до времен порядка 10^{43} секунды, когда вселенная была квантовым объектом. К сожалению, теория “суперполя”, которая реализовала бы давнюю мечту Эйнштейна о построении единой теории всех известных нам сил природы, находится пока еще в младенческом возрасте.

Что было еще раньше, как произошло рождение вселенной – об этом можно только гадать. Была надежда получить сведения об “окрестностях” “начала мира”, заглянув за края фридмановской вселенной, на расстояния порядка 10^{23} километра, где находятся разлетающиеся осколки ее горячей фазы. Однако модель раздувающейся вселенной убеждает в том, что там мы заметим лишь следы повторного разогрева вселенной. О том, что было раньше, может сказать пока только теория.

А она подсказывает нам удивительные вещи! Например, единая теория “суперполя” становится замечательно последовательной и изящной, если допустить, что на расстояниях порядка 10^{-33} сантиметра, а именно такой

была вселенная в возрасте 10^{-43} секунды, пространство-время становится десяти- и одиннадцатимерным. "Лишние" шесть-семь измерений имеют очень большую кривизну, и размеры вселенной по этим направлениям чрезвычайно малы. Эти направления замыкаются в микромире, и мы их не замечаем. Образно говоря, наш мир представляет собой поверхность длинного и тонкого десяти- или одиннадцатимерного стержня, точнее проволоки, растянутой по четырем известным нам пространственно-временным измерениям и очень тонкой по остальным.

Более того, вследствие квантовых флуктуаций размерность мира может изменяться. В принципе (страшно сказать!) стать дробной, иррациональной и даже комплексной.

Вселенная необычайно сложна по структуре: многоэтажная, возможно, с переменной размерностью, взрывающаяся и плавно эволюционирующая из одной своей формы в другую. Здесь нас ждет еще немало непознанного и диковинного.

Автор статьи — известный советский физик, доктор наук. Статья заимствована нами из журнала "Знание-сила", откуда и перепечатывается с некоторыми сокращениями и без ведома автора.

УЧЕНЫЕ ШУТЯТ, ИЛИ – ЕЩЕ О ЗАКОНЕ МЭРФИ

. Исходный закон Мэрфи: все, что может пойти не так, пойдет не так.

. Следствие Дуда: из двух возможных событий произойдет только нежелательное.

. Закон Перрасела: нет такой простой работы, которую нельзя было бы сделать плохо.

. Закон энтропии Шопенгауэра: если влить ложку вина в бочку дерьма, получится дерьмо; если влить ложку дерьма в бочку вина, получится дерьмо.

. Закон Смита: ни одна подлинная проблема не имеет решения.

. Закон Севарейда: главным источником проблем являются решения.

. Закон Митчелла: любая простая проблема может быть сделана неразрешимой, если обсуждать ее достаточно долго.

- . Закон Рукерта: нет ничего столь малого, чтобы его нельзя было раздуть до чудовищной величины.
- . Римское правило: те, кто говорят, что этого нельзя сделать, не должны мешать тем, кто это делает.
- . Закон конференций Морриса: самый интересный доклад будет назначен на то же время, что второй самый интересный доклад.
- . Основной закон экономики Бухвальда: чем лучше экономическое положение, тем хуже все остальное.
- . Закон механической репродукции Рапса: собирая и разбирая что-нибудь достаточно долго, вы обязательно кончите двумя экземплярами.
- . Закон Фрейвальда: только дурак способен воспроизвести работу другого дурака.
- . Руководство Ханди: если оно зеленое и пищит, то это относится к биологии; если оно воняет — это химия; если оно не работает — это физика.
- . Первый закон научного прогресса: количество исключений всегда превышает количество правил.
- . Закон Пинто: сделай кому-нибудь одолжение, и это станет твоей обязанностью.
- . Теорема Белла: когда тело погружено в воду, звонит телефон.
- . Дорожный закон Билля: твоя машина всегда потребляет больше бензина, чем любая другая.
- . Второй закон биомеханики: больше всего чешется там, где труднее всего почесаться.
- . Первое правило путеведения: большинство проторенных троп не ведет никуда.
- . Закон Оливера: опыт — это то, что приобретаешь, когда в нем уже не нуждаешься.

ЛЮДИ И КНИГИ

О. Кустарев

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ФОЛЬКЛОР СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: ОЧЕРК ВТОРОЙ

*Не надо плакать, не надо смеяться,
надо понимать.*

Книга Зубова "16-я республика СССР" — весьма колоритна, и поэтому лучше всего начать с ее физиономического описания.

Как сделана книга. Самая яркая особенность книги — ее слог. Страстный, невнятный, высокопарный, многозначительно язвительный, полный иронического словотворчества, тяжелых каламбуров, громоздкой риторики — сплошная стилистическая буря явно невротического свойства.

Вторая особенность книги — обилие цитат. Зубов в основном цитирует поэтов и эссеистов, затем философов эссеистского толка, еще реже психологов. Все цитаты на разные лады оркеструют настроения самого Зубова. Учитывая полу-научный, якобы, характер книги самого Зубова, уместно спросить: в чем функция этих цитат? Они ничего не добавляют к мыслям самого Зубова. Автор не развивает суждения других авторов. Он не вступает в спор ни с кем из тех, кого цитирует.

Это характерный пример чисто светских ссылок; демонстрация единомышленников в расчете на их авторитет. Этот метод цитирования сродни упоминанию важных знакомых в светской беседе.

Зубов доводит до абсурда технически благие идеи цитаты и эпиграфа. Он пишет по пять эпиграфов к каждой главе и насыщает текст цитатами такой длины, что текст окончательно теряет все признаки структуры.

Кроме того, все цитаты приведены в книге Зубова в буквальном смысле дважды — по-английски и по-русски. Избыточность этого удвоения производит трагикомическое впечатление на читателя. Бессмысленность этого удвоения подчеркивает его крайнюю суетность.

Третья особенность книги Зубова — необычайное постоянство капризно-обличительной интонации. Монотонная обличительность книги очень быстро наводит на подозрение: а прав ли товарищ прокурор вообще? Я думаю, что в суде такие прокурорские речи привели бы к полному оправданию обвиняемого.

Я сделал это физиономическое описание, чтобы дать читателю общее представление о тексте и потому, что отмеченные мною особенности вполне органичны идее и содержанию книги, в чем, мы, я надеюсь, и убедимся.

Основные идеи. Я перечислю основные идеи Зубова в несколько менее метафорической форме, чем он это делает сам.

Во-первых, Зубов утверждает, что в природе существует особый человек, существо с особым психическим складом — Гомо Советикус.

Во-вторых, он утверждает, что все или почти все эмигранты из СССР принадлежат к этому типу. Тот факт, что они эмигрировали, вовсе не свидетельствует о том, что они принадлежат к какому-то другому типу.

В-третьих, советские люди как тип имеют “тоталитарную психологию” и “тоталитарно-мировоззренческие стереотипы”.

В-четвертых, эта тоталитарность проявляется в ненависти к инакомыслию, и “ненависть к инакомыслящему ощущается как благая, праведная, благородная, в конечном ощущении — святая”.

В-пятых, Зубов настаивает, что “переживание ненависти, вовлеченности в эмоцию отрицания того, что тебе чуждо, вполне может быть названо “субъективно-психологическим убийством”.

В-шестых, Зубов полагает, что все это должно быть интерпретировано в “психо-онтологическом” плане.

Другие идеи. На этот стержень Зубов насаживает описание эмигрантской интеллектуальной общины, выделяя в ней несколько идеологических то ли групп, то ли типов. Он называет их кликами. И предлагает их классификацию.

Невозможно принять эту классификацию всерьез. Она полна ошибок, бессистемна и не прорисована. Я воспроизвожу ее здесь в слегка более четкой прорисовке (но в том же хаосе) для собственного и читателя удобства.

Во-первых, клика традиционалистов. Вероятно, Зубов имеет в виду стилистических сторонников культурного статус кво. То есть людей, которые полностью конформны устоявшимся авторитетам и не понимают, зачем нужны новые авторитеты, то есть для них — новые.

Во-вторых, православная клика. Так горячий Зубов, вероятно, именует сторонников теологического и морального превосходства православия над другими религиями и наукой.

В-третьих, сторонники политизации искусства. Судя по всему, это те, кто пишет стихи и прозу, политически заостренные или хотя бы с политическим подтекстом. Иными словами, не сторонники чистого искусства. Сам Зубов, по-видимому, чистый лирик.

В-четвертых, “панстилисты”. Этим странным термином Зубов, кажется, обозначает тех, кто верит в существование “объективно правильного”, “хорошего” стиля и соответственно считает, что те, кто этого “объективно правильного” стиля выдержать не могут, писать не умеют.

В-пятых, оккультисты. Вероятно, это те, чье хобби — парапсихология, астрология, летающие тарелки, вертящиеся столы и пр.

В-шестых, “позитивистско-профессионалистская” клика. Это профессиональные снобы, враждебно относящиеся ко всякому любительству, требующие логики, проверки опытом, отрицающие (по их словам) баллетристическую эссеистику и всякую поэтическую мифологию.

В-седьмых, диссиденты. Своего рода партийно-революционная аристократия, использующая свои заслуги в борьбе для того, чтобы поставить на место тех, кто, так сказать, в лагере не сидел, баланды не хлебал.

В-восьмых, обыватели. Это те, кто ставит материальные блага выше духовных, думает о карьере, хорошей зарплате, собственном доме, и не думает о Боге, морали и поэзии — негодники.

Наконец, в-девятых, люмпенпролетарии. Похожи на богему. Нечто претендующее на то, чтобы быть противоположностью обывателям, но, как полагает Зубов, безо всяких оснований.

Уф. Кого тут только нет. Легко заметить, что все эти клички взяты наугад, все вместе никакой систематической классификации не представляют. С таким же успехом можно было бы разделить человечество на черных, лысых, толстых и богатых, например.

Первый план содержания: спор добра и зла. Первый — потому что книга Зубова имеет несколько планов содержания. Только один из них автор контролирует. Рассмотрим сперва то, что является сознательным продуктом

автора. В соответствии со своими идеями Zubov рисует нам крайнюю агрессивную нетерпимость советских людей. Как мы видели, по Zubovu, советский человек, услышав мнение, с которым он не согласен, тут же опровергает его, то есть как настаивает Zubov, совершает "субъективно-психологическое убийство".

На протяжении всей книги Zubov воспроизводит одну и ту же картину: он, Zubov, что-то такое говорит, а собеседник тут же его опровергает, как Zubovu кажется, в грубой и унижительной форме. Даже когда он делает это в вежливой форме, он на самом деле делает это в грубой форме. Zubov напоминает тут известную из старого рассказа гувернантку, которая боялась выйти на улицу, потому что там ходят голые мужчины. Когда ей говорили, что мужчины на улице одеты, она возражала, что это не имеет значения, потому что под одеждой они все равно голые.

Вот образец картины, рисуемой Zubovым. Zubov препирается с позитивистом-профессионалом: "Возможно слышать, напр., подобные суждения: Маркузе? Ну, мыслитель, конечно, очень слабый. Фромм? Да если бы я занимался его темами полгода, я бы придумал гораздо интереснее. Гуссерль? Это же никчемное интеллектуальное излишество... Норман Браун? Так, претенциозная болтовня. Экзистенциалисты? Это все очень слабо и не интересно, так полулитературный треп. Талкотт Парсонс? Просто наукообразная пустышка. Юнг? Это же жидкая беллетристика, так можно все, что угодно, придумывать. Сартр? Ну, чего там говорить о Же Пе Сартре. Даниель Белл? Что ж, уровень провинциального журнализма..."

Вот этой ситуации Zubov и придает огромное значение. Спор об авторитетах и демонстрация вкусов в интерпретации Zubova выглядит как, по меньшей мере, битва русских с кабардинцами, но на самом деле намного внушительнее — как борьба не на жизнь, а на смерть самого света с самой тьмой. При этом Zubov ведет справедливую войну, отстаивая свою индивидуальность, тогда как его собеседник ведет несправедливую войну, цель которой уничтожить Zubova. К счастью для Zubova и для всех зрителей, собеседник делает это "субъективно-психологически", не как Сталин, например.

Насколько отвечает действительности эта картина? Наш ответ, увы, будет очень банальным: она вопиюще неправдива и поразительно правдива.

Ситуация, изображенная Zubovым, изображена им неправдиво, потому что он изобразил ее как асимметричную. Zubov настаивает, что здесь борются добро свободной индивидуальности со злом агрессивно-тоталитарного конформизма. Так ли это? Из чего это видно, кроме противной манеры выражать свои мысли собеседника Zubova и ангельского простодушия самого Zubova?

Это абсолютно ни из чего не видно. Различие между двумя спорящими существуют лишь в воображении Zubova и соответственно внушается нам с помощью нехитрой стилистики.

Между тем, кто совершает убийство? И кого убивают? Кто тут индивидуалист и кто, так сказать, "тотализатор"? И есть ли они вообще?

Вполне можно предположить, что собеседник Zubova, будучи вполне конгенитален Zubovu, переходит в нападение попросту потому, что считает нападение лучшим способом защиты. Почуввав в Zubove своего "субъективно-психологического" убийцу, он бросает в бой все силы. Он отстаивает свою индивидуальность от того, кто демонстрирует ему свою.

Глядя со стороны, вопрос "кто убийца" кажется неуместным. Уместен совсем другой вопрос: "кто кого воспринимает как убийцу?" На этот счет существует полная неясность. Обратимся к книге самого Zubova. Как мы уже видели, Zubov рассматривает выставление противоположной точки зре-

ния или опровержение собственной как "субъективно-психологическое убийство". Но в другом месте он пишет следующее: "...для панстилиста существование другого стилиста равносильно онтологическому непризнанию, психологическому убийству". Это Zubov говорит в осуждение "панстилисту".

Так что же? Кто воспринимает несогласие соседа как убийство, как "онтологическое" отрицание? Zubov или анти-Zubov? И как нам следует относиться к такому восприятию: как к "благому" или как к "греховному"? Если слушать Zubova, то его представление о собеседнике – благое, а такое же представление собеседника о нем – греховное.

Ну, а если не слушать Zubova? Что, если все это никакая не борьба добра со злом, свободомыслия и тоталитаризма, Гомо Не-советикус и Гомо-Советикус?.. И борьба ли это вообще?

Второй план книги: Борьба. Мы обнаруживаем второй план книги, взяв всю книгу в кавычки и перечитав ее как монолог персонажа какой-то другой, воображаемой книги. Текст теперь ничего не описывает, а воплощает.

"Чем выше температура огненной печи ярости и скрежета зубного в отношении инакомыслящих в душе, чем более увесисто эти гады и гниды, эти чудовища, изверги, упыри и нелюди определяются, тем более "кипучая и могучая" техника нейтрализации, система "идеалистического" оправдания подобного экстремизма требуется, чтобы сохранить психическое равновесие", – пишет Zubov.

Этот стиль приписан Zubovым оппоненту, но мы-то знаем, что это вышло из-под пера самого Zubova. Почти все особенности стилистики Zubova в этом пассаже есть. Не нужно даже особенно вдумываться в написанное, чтобы сообразить, что скрывается за этой неукротимой стилистикой. "Скрежет зубный".

Итак, Zubovu кажется, что он описывает "плохих" "тоталитарных" людей. На самом деле он фиксирует в слове (в своем вербальном поведении) крайнюю жесточенность своего собственного взаимодействия с этими людьми. Таким образом, перед нами документ, свидетельствующий о крайне жесточенном отношении к существованию несогласных. Если мы сомневались в том, что это отношение может быть таким жесточенным, то по вербальному поведению самого Zubova мы можем судить, что это возможно. Остается выяснить, насколько это типично для советских людей.

Я не стал бы торопиться с обобщениями. Вместо того чтобы поддаваться соблазну и приписывать советским людям крайнюю жесточенность друг против друга, спросим себя еще раз: а есть ли тут борьба? И если есть, то из-за чего, собственно, весь базар?

Третий план: статусное соперничество. Текст Zubova – след реальной стороны нашей жизни, нашего интеллектуально-языкового быта. Советские люди (во всяком случае часть советских людей) живут в условиях соперничества в сфере речи. Это соперничество, пожалуй, можно назвать жесточеным. Если провести стилистический анализ дискуссий в эмигрантской прессе, то вполне можно подтвердить это впечатление. Причем речь не только отражает страстное соперничество. Важнее, что она используется как арена и как инструмент борьбы.

Соперничество, реализуемое в языке, состоит не столько в перебранке, сколько во взаимной демонстрации речевых единиц и единиц информации (эрудитии), которым приписывается определенный статусный вес. Брань – элемент орнаментальный. В принципе каждую реплику в разговоре можно рассматривать как шахматный ход: реплика имеет силу. Эту силу собеседники чувствуют и оценивают. В этом смысле они "тягаются", стремятся во-зобладать и, хотя и делают это часто в вежливой форме, все равно это борьба.

Это и почувствовал Зубов, когда говорил, что, даже когда его “субъективно-психологический убийца” одет, все равно под одеждой он голый.

Но, в отличие от Зубова, я не считаю нужным интерпретировать происходящее в терминах метафизики, психо-онтологии, просто онтологии, а также криминалистики. В конце концов, мы имеем дело с бытовым явлением. Быт — достаточно разнородная материя, и мы можем дать бытовым явлениям бытовые же (то есть социологические) объяснения, не опасаясь впасть в слишком уж бессодержательную тавтологию.

Что, собственно, происходит? Пусть читатель вернется к эпизоду из книги Зубова, который я привел чуть раньше. Это чрезвычайно колоритная и эффектно сделанная зарисовка боя двух эрудиций, каждая из которых претендует на более высокий статус.

Встречаются два человека, по-видимому, не знавшие друг друга ранее. Они знакомятся и представляют себя друг другу. Они демонстрируют друг другу свою эрудицию и мнения, полагая, что интеллигентные люди встречают друг друга как по нательной, так и по духовной одежде.

Зубов выкладывает свои карты: Маркузе, Фромм и кто там еще. Его собеседник все эти карты бьет. Зубов полагал, что его карты очень сильны. Он рассчитывал на почтение. Но собеседник отказался его уважать. Он дезавуировал все зубовские козыри. Характеристики, которые он при этом дал зубовским картам, возможно, на самом деле имели основания. Но боевое достоинство этих характеристик не в том, что они основательны. Дело в том, что собеседник Зубова забежал сильно вперед. Ему известны не только Маркузе и кто там еще, но и критически-негативные ярлыки, закрепившиеся за ними в профессиональной среде с легкой руки равных им по классу и статусу авторитетов. Правильны ли эти ярлыки, не имеет ни малейшего значения. Имеет значение лишь то, что знакомство с этими клише имеет **большой** статусный вес. Так считает собеседник Зубова, и именно поэтому он и использует их в процедуре взаимной статусной оценки. Вероятно, в глубине души Зубов понимает, что его собеседник схватку выиграл.

В этом эпизоде есть одна важная деталь, которая делает его особенно красноречивой иллюстрацией к моей мысли о статусном соперничестве.

А именно: собеседник Зубова излагал ему не свое. Так же как и Зубов, желая рекомендовать собеседнику себя, называл ему чужие имена. Оба преподносили друг другу нечто **авторитетное**. Оба участника этой стычки выкладывали свои козырные карты, демонстрировали свою эрудицию и настаивали на том, что их эрудиция выше **классом**.

Все это напоминает мне такой бессмертный диалог:

— Я скажу моему старшему брату, и он отколотит тебя одним мизинцем. Я это сделаю, ей-ей, сделаю.

— Э, видал я твоего старшего брата. У меня есть старший брат побольше твоего. Вот так. И он может перебросить твоего старшего брата хоть вот через этот забор!

Читатель, конечно, догадался, что я процитировал разговор Тома Сойера с одним из его шустрых соперников. Не думаю, что между Томом и его недругом существовали проблемы на онтологическом уровне. Дело было проще. Вопрос заключался в том, кто главнее и кого надлежит слушаться. Простое житейское дело.

Структура этого разговора та же, что и структура разговора Зубова с его соперником на поприще эрудиции. Язык другой. Но тут ничего удивительного нет: герои Марка Твена ведут уличные разговоры, а герои Зубова — салонные. Не случайно, однако, что двое **взрослых** советских ведут себя как

американские дети. Американские дети, когда вырастают, меняют род оружия.

Особенности статусного соперничества в интеллигентской среде. Говорят, что в споре рождается истина. Это неправда. Истина рождается в размышлении, еще вернее — в совместном размышлении. В споре рождается статус.

Реализация статусных притязаний в сфере устного общения на межличностном уровне — весьма характерная черта советского интеллигентского быта. Уникально ли советское общество в этом смысле?

Этот вопрос следует разделить хотя бы на два. Во-первых, уникально ли советское общество в смысле статусного соперничества? Во-вторых, специфика ли для советского общества реализация статусного соперничества в сфере речи, речевыми средствами и ради превосходства в сфере речи?

На первый вопрос, я думаю, можно дать абсолютно недумосмысленный ответ: советское общество вовсе не уникально — статусное соперничество имеет место во всех обществах, кроме, может быть, общинного.

Второй вопрос куда интереснее и ответить на него не просто. Прежде всего потому, что тут нужны тонкие социо-лингвистические наблюдения, а мы не знаем других языков.

Тем не менее я рискую предположить, что статусная борьба в сфере речи более характерна для советского общества, чем для других.

Это объясняется рядом разнородных обстоятельств. Во-первых, возможности советских людей утвердить свой статус с помощью других средств и в других сферах крайне ограничены. Во-вторых, межличностная языковая коммуникация — единственная арена, где советские люди могут всерьез сопоставлять свои вкусы и мнения. Они не могут соревноваться заочно, апеллируя к третьему, так как нет дословной свободы печати. Борьба статусов и соответствующих языков перемещена почти полностью в сферу личного общения, в сферу соревновательного потребления культуры (языка).

Все это относится прежде всего к интеллигенции. Язык и разговор — главная арена и инструмент интеллигенции в попытках утвердить свой статус. Она чувствует себя самой ущемленной в статусном отношении и поэтому особенно агрессивно дезавуирует статусные знаки, облюбованные другими культурными группами: деньги, имущество, служебное положение, но также и вкусы и язык других групп. Статусная борьба в сфере вкусов придает статусную окраску всей интеллигентской речи, всему ее разговору.

То же происходит и внутри интеллигенции. Теми же средствами интеллигенты ведут борьбу друг с другом, пытаясь иерархизировать собственную однородную массу и поставить на место друг друга. Здесь борьба идет между разными салонами, взявшими на вооружение разные языковые клише, разные эрудиции, разные мировоззрения. В сущности, это конкурентная борьба, и победа в этой борьбе сулит не "онтологические", а социальные успехи, которые как социальные и воспринимаются. Если бы советское общество было столь же денежным, как западное, то статусная борьба шла бы за деньги. Но в среде советской интеллигенции деньги играют гораздо меньшую роль. Функцию денег выполняет натуральное уважение, словесные знаки признания (или непризнания).

Все это характерно для советского общества. Значит ли это, что ничего подобного в других обществах нет? Нет, не значит. Просто в советском обществе отчужденная интеллигенция больше бросается в глаза, потому что имеет, возможно, больший удельный вес в населении. И кроме того, культура отчужденной интеллигенции имеет большую, чем на Западе, тенденцию к экспансии и эта экспансия довольно успешна.

Культура отчужденной интеллигенции в советском обществе по ряду

причин более влиятельна и постепенно заимствуется другими культурными группами. Уже сложился обширный слой, ориентирующийся на культуру полулегальных интеллигентских салонов. Эта "вторичная", "производная", "идеологическая" интеллигенция перенимает у салонной интеллигенции прежде всего ее статусную озабоченность и многократно усиливает ее. Это объясняется разными обстоятельствами, но главным образом, тем, что личность, саморекультирующаяся в "интеллигенцию", должна еще отстаивать свое право на присвоение статусных знаков интеллигентности и ей приходится преодолевать сопротивление салона, который не может себе позволить расширяться до бесконечности, так как если это произойдет, его статусные знаки претерпят "инфляцию". Салон также смотрит на свои знаки интеллигентности как на собственность и, хотя и нуждается в неопитах, но психологически не предрасположен к делёжке этой собственности.

Именно на периферии салонов статусные страсти накаляются сильнее всего, а статусный подтекст речевого быта становится особенно насыщенным.

Статусная борьба в салонах и вокруг них имеет и еще одну интересную сторону. Один из рецензентов книги Зубова высказал предположение, что скандальная нетерпимость советской интеллигенции характерна для эмигрантского быта. По его мнению, советские люди у себя дома все же еще хотят мира друг с другом и лишь в эмиграции становятся сущими зверьми. Это совсем не так.

В эмиграции статусные языковые битвы легче видеть, потому что они из устного салонного быта переносятся в письменный быт. Дело в том, что на протяжении своей "домашней" биографии каждый сегодняшний эмигрант постепенно бежал от тех контактов, которые сулили ему изнурительные словесные баталии с неизвестным заранее исходом, и благополучно устраивался среди себе подобных, где общение строится на "взаимном уважении" (о нем — в другой раз).

В эмиграции же люди, принадлежавшие к разным культурным нишам, на какое-то время (иногда на неизбежно долгое) оказались брошены друг другу в объятия. Столкнулись лицом к лицу представители разных пещер, и люди, уже забывшие о существовании других пещер, были оскорблены и испуганы их существованием. Идолы, которым они поклонялись, оказались не единственными.

Но важнее всего то, что статус идолов, который они переносили на себя, оспаривался, и возникло подозрение, что они в свое время выбрали не тех идолов, которых было надо, то есть недостаточно статусных.

Людям предстояло ориентироваться в новой общине. Они не знали ни друг друга, ни статуса друг друга. И, сверх всего, обнаружилось, что они не знают толком своего собственного статуса. Пришлось пройти через процедуру новых знакомств, и в этой процедуре люди, ко всему прочему, столкнулись со статусными знаками, смысла которых они не понимали.

В эмиграции усилилась неопределенность статусной иерархии. Это породило статусную панику.

Но статусная неопределенность и паника характерна и для домашней обстановки. Объясняется она изолированностью салонов друг от друга. Борцы за статус инстинктивно чувствовали, что борются в потемках, и поэтому агрессивны — на всякий случай.

Психологический. Все, что я говорил до сих пор — это попытка выяснить социальный смысл тяжелых в кусовых баталий, которые мы, вслед за Зубовым, соглашаемся считать характерной чертой советского общества и устного общения в советском обществе.

Я дал этим баталиям весьма приблизительное социологическое объяснение, одно из дюжины возможных.

В то же время это никакое не объяснение. Это просто описание реальности. Я сделал то, чего не сделал Зубов. Зубов из мира собственных восприятий перепрыгивает в мир метафизических понятий, которые он, не имея интереса к метафизике, употребляет в "психо-онтологическом" варианте.

Почему Зубов изображает статусное соперничество как "онтологическое соперничество"? Почему он считает, что советским людям "онтологическое соперничество" более свойственно, чем нормальным людям? Чего ради он ищет в поведении советских людей "онтологический смысл", прежде чем поискать в нем социального смысла?

Зубов как будто не утверждает, что Гомо Советикусу свойствен особый психо-онтологический склад. Он как будто считает, что на психо-онтологическом уровне все люди одинаковы. На психо-онтологическом уровне, думает он, они все убийцы.

Разница между людьми, как будто думает он, лишь в том, что одни люди своей психо-онтологический уровень подавляют, а другие дают ему волю.

Западные люди подавляют свое стремление "уничтожить" чужую "личность". Советские люди не могут подавить. Почему же между ними такая разница?

Прежде чем объяснять эту разницу, нужно выяснить достоверно, **есть ли она**. Как я пытался показать раньше, Зубов это не выяснил. Он утверждает, что это так. Но факты, которыми он подкрепляет это утверждение, уже интерпретированы им самим в духе его же утверждений. Советские люди ведут себя как "субъективно-психологические убийцы", потому что Зубову кажется, что они так себя ведут.

Чрезмерно драматическое восприятие Зубовым разногласий со своими оппонентами помешало ему трезво взглянуть на ситуацию. Так бывает всегда, когда страсти овладевают разумом. Зубов не попытался выяснить социальный смысл ситуации, которую назовем "столкновение мнений". Он полностью сосредоточился на ее онтологическом смысле.

Между тем, можно думать, что если эта ситуация имеет онтологический смысл, то он один для всех людей, во всех культурах. Если же "столкновение" (в том числе и мнений) происходит по-разному в разных культурах, то по социальным причинам.

Но Зубову хотелось во что бы то ни стало удержаться на уровне онтологических объяснений и в то же время подчеркнуть разницу между Западными и Советскими людьми. В результате он вводит разницу между двумя этносами на психо-онтологическом уровне. Почему Зубов игнорировал социологический уровень описания? Я думаю, он это сделал потому, что на социологическом уровне описания ему пришлось бы заниматься не столько "личностью" сколько "межличностной коллизией". Тогда пришлось бы рассматривать параметры ситуации, а не параметры **личностей**, а Зубову непременно хотелось говорить о личностях. Особенности советской социальной среды, которые не так легко свести к типу личности (хотя бы иллюзорно), выпали из поля его зрения. Его, в частности, не заинтересовал вопрос, как и за что конкурируют в советском обществе статусные группы и искатели статуса.

Зубова **взволновало** поведение его собеседников в личном споре о вкусах и ценностях, и он решил, что раз споры ведутся **лично**, то и способ их ведения определяется характером **личности** спорящего. Наблюдая специфическую **форму** конкуренции, он решил, что видит **цели** спора. Не заметив **социальных** целей спора (победа в конкуренции за статус), он решил, что они онтологические. Так борьба между двумя конкурентами за обладание культур-ка-

питалом (символическое обладание) приобрела в глазах Зубова вид демонической борьбы за существование.

Но это не борьба за существование — ни в метафизическом, ни в физическом смысле. Это борьба за качество и статус социального существования.

Гомо Советикус. Цепь ложных наблюдений ведет Зубова к обобщенному образу личности, которую он считает воплощением тоталитарного зла. Это поэтическое обобщение собственного восприятия "других" он выдает за тип личности, что само по себе некорректно (вздорно). Но этого Зубову мало, и он делает второй, еще более некорректный шаг. Он объявляет этот тип этническим типом, пользуясь для его обозначения популярным ярлыком "Гомо Советикус".

Гомо Советикус, словно Голем или Баба Яга, излюбленная фигура советского интеллигентского фольклора. Какую же роль выполняет эта фигура в картине мира советского отчужденного интеллигента?

Гомо Советикус выполняет роль представителя и символа низшей статусной группы. Отчужденная интеллигенция, пытаясь удовлетворить свои статусные потребности, изобрела Гомо Советикус, чтобы было на кого смотреть сверху, чтобы было кого презирать.

Между тем порочный и уникальный Гомо Советикус — миф. Каждый, кто жил в советском обществе с открытыми глазами и ушами и прислушивался не только к голосу собственных страстей, знает, что советская нация чрезвычайно разнообразна, столь же разнообразна, как и любая другая нация.

Уже одного этого наблюдения было бы достаточно, чтобы направить нашу познавательную активность по иному пути, нежели тот путь, по которому пошел Зубов.

К этому надо добавить несколько, так сказать, "научных" соображений, достаточно очевидных, я надеюсь, любому здравомыслящему человеку. Во-первых, понятие "этнический характер" — идеально-типическое. То есть абстрактное. То есть не описательное, а аналитическое. Оно может быть инструментом познания, то есть "точной отсчета" при описании вариаций.

Во-вторых, тип поведения и тип личности совершенно разные вещи. Поведение определяется не только типом личности, не столько типом личности, сколько ситуацией с ее бесчисленными параметрами.

В-третьих, хотя длительная общественная практика и сообщает личности некоторые устойчивые свойства, эти свойства не есть свойства общества. Свойства общества не могут быть приписаны психике человека, который в этом обществе живет. Ни характер общества, ни характер поведения не сводимы к психической структуре личности.

Но нет дыма без огня. В основе фольклорных представлений о Гомо Советикус лежит увлекательная идея, что между характером общества и характером принадлежащих к нему людей должно быть какое-то соответствие.

Это — стихийная догадка. Она получает параллельное развитие и в науке, и в фольклоре. Научная литература, порожденная этой догадкой, необозрима. Один из ее результатов, в частности, скептическое отношение к понятию "этнический характер". И еще более скептическое отношение к попыткам соединить психологию и онтологию.

Между тем фольклорное сознание прямо переносит на Гомо Советикус все предполагаемые пороки советского общества. За этим переносом стоит хорошо известный прием народного творчества — персонификация явлений. Народное сознание чрезвычайно склонно к персонификации явлений, будь то гром и молния, мировой океан или общественная система.

Персонификация, кстати говоря, законный прием художественного творчества, дающий подчас сильные дидактические и познавательные эффекты. Но сам прием персонификации не обеспечивает творческому акту удачи. Ху-

дожественные произведения бывают хорошие и плохие. Как раз качество многих художественных произведений объясняется неуместной и неправдивой персонификацией явлений. Персонификация общественных явлений особенно трудна, так как прежде чем персонифицировать общественное явление, нужно его понять **именно как общественное явление**. Зубов же этого не сделал: он остался в заколдованном кругу собственных впечатлений и "психо-онтологии". Психо-онтологические представления определили интенсивность его впечатлений, и он не нашел ничего лучше, как дать своим впечатлениям психо-онтологическую интерпретацию.

Он пал жертвой импульса, тоже связанного с художественным подходом к действительности, а именно — тяги к драматизации. Эта тяга находит себе воплощение в склонности к высокопарным описательным формулам. Я думаю, Зубова в психо-онтологии прельстила именно ее высокопарность. У читателя книги Зубова должно возникнуть впечатление чудовищной трагичности того, что в ней описано. Однако трагедии здесь нет; есть, возможно, бытовая драма.

Личности, которые кажутся Зубову демонами тоталитаризма, на самом деле просто участники статусной конкуренции. Статусная конкуренция, как я уже говорил, вещь довольно обычная во всех известных нам обществах, хотя она идет в них по-разному. Так что необходимость жить среди советских людей тоже не такая уж трагическая неудача, как это кажется Зубову. Среди других людей жить не легче, хотя и не тяжелее.

Конечно, особо любознательные люди, старающиеся докопаться до "окончательных" причин всего сущего и происходящего, спросят: а почему люди вообще так хотят утвердить свой статус и статус своей культуры, точнее **культур-собственности**, своего **культтовара**, в ущерб статусу соседей? Эти любознательные люди вправе выдвигать любые гипотезы, включая спекулятивные, включая психо-онтологические. Они могут считать, что в природе человека — инстинкт господства, даже инстинкт убийства. Они могут предполагать, вслед за Зубовым, что у человека есть "потребность в чувстве богоизбранности", или думать, что, видите ли, "нетерпимость к человеку есть в конечном счете нетерпимость к Богу (точнее к друговости, его божественности)".

Допустим, что и так. В конце концов, окончательные причины всего сущего нам не известны и почему бы на эту тему не пофантазировать. Но все это относится к человеку вообще. Фантазии в этом стиле становятся опасными, когда на свет божий являются ангел с "демократической структурой психики" и дьявол с "тоталитарной структурой психики".

Если советский интеллигент чем-нибудь и примечателен, так это своей склонностью воспринимать "столкновения мнений" как онтологическую трагедию и глубоким убеждением, что "лично он" носитель любви к свободе, а все остальные, которые с ним не согласны, носители полицейской сущности злокозненного советского государства. Но и это не его психо-структурное свойство, а чисто культурное.

Вообще советские люди слишком много думают друг о друге и о самих себе в сравнении с кем-нибудь еще. Лучше бы попытались понять условия, в которые они попали. То что с ними происходит, зависит не столько от типа личности, сколько от условий их существования: изоляции, невежества, бедности — в частности, ограниченности рынка престижных знаков.

РАСШИРЯЮЩИЙСЯ РАЗРЫВ

(Ч. Зилберман. "Люди как люди: американские евреи и их жизнь сегодня", Н-Й, "Саммит букс", 1985)

Стоит поскрести среднего израильянина и тотчас обнаружится эксперт по диаспоре, в особенности американской. Он немедленно прочтет вам лекцию о том, как угрожающе растет скорость ассимиляции и поднимается антисемитизм, завершив ее уверенным предсказанием, что к середине следующего века в Америке не наберется евреев и на один миньян — да и те не будут, строго говоря, стопроцентными евреями.

Для таких экспертов (да, пожалуй, и для людей более серьезных) книга Зилбермана явится шоком, ибо она опровергает предположение, разделяемое многими в Израиле и не таким уж малым числом в американском еврействе, будто евреям Соединенных Штатов в ближайшие десятилетия угрожает неминуемый культурный и демографический спад.

Зилберман — уважаемый ученый, опубликовавший в последние годы книги по расовым отношениям в США, американской уголовной системе и системе образования — в течение шести лет подбирал материалы для своей последней работы: он собрал и проанализировал данные новейших исследований, копался в архивах и путешествовал по стране, интервьюируя множество евреев из самых разных социальных слоев.

Основной вывод книги суммирован уже в первой главе: после второй мировой войны Соединенные Штаты превратились в "подлинно мультиэтническое, мультирелигиозное и, в возрастающей степени, мультирасовое общество", в котором перед евреями открылись такие образовательные, социально-экономические и политические возможности, какие не снились довоенному поколению. Благодаря особенностям этого общества, его конституционной структуре и структуре ценностей, антисемитизм был вытеснен в область индивидуальных отношений и "не стал официальной политикой правительства или других общественных институтов". Эта беспрецедентная свобода не привела, однако, к размыванию и распаду еврейского национального сознания и еврейской общественной жизни. Напротив, американское еврейство находится сейчас "на первом этапе глубокого возрождения (его) религиозной, интеллектуальной и культурной жизни, которое может преобразовать и укрепить американский иудаизм".

Несколько лет назад, пишет Зилберман, он считал, что возрождение еврейской жизни в США будет продолжаться, но останется все меньше евреев, чтобы им наслаждаться. Сегодня, категорически утверждает он, "об исчезновении еврейства даже не приходится говорить, вопреки всем толкам о растущей ассимиляции и смешанных браках. Верно, открытое общество облегчает еврею уход от его еврейства, но оно одновременно уменьшает стимулы для этого, ибо еврейство больше не ощущается как бремя, как было в 30-е годы. Сегодня молодые евреи чаще возвращаются к еврейству, в особенности когда у них рождаются дети".

Книга Зилбермана сочетает особенности социального исследования и жур-

налистского очерка; ее выводы подкреплены множеством доказательств, почерпнутых из обзоров, анекдотов, интервью и статистических сводок. Она содержит интереснейшие разделы, посвященные беспрецедентным возможностям, открывшимся сегодня перед евреями в иерархической структуре крупных корпораций и университетов, роли Джойнта и Израиля в жизни американского еврейства. Но самой, пожалуй, интригующей — и провоцирующей на спор — является глава, посвященная смешанным бракам и их демографическим последствиям.

Всегда молчаливо принималось, что смешанный брак — это крайняя форма ассимиляции, граничащая с отступничеством и равносильная дезертирству из еврейских рядов. Зилберман шаг за шагом разрушает этот миф. Прежде всего, он показывает, что цифра 32% смешанных браков неверна, и приводит свидетельства, что она ближе к 24%. Далее, что более важно, он показывает, что за последние 25 лет социальные последствия смешанных браков изменились. Прежде такие браки затрудняли общение с еврейскими организациями; но по мере роста их количества, росла и способность семей и общины в целом приноровиться к новой ситуации. В результате, сегодня такой брак перестал быть препятствием для продолжения еврейской жизни; более того — по всей стране стали возникать “программы” и “группы поддержки” для смешанных пар, и их деятельность все чаще ведет к обращению нееврейского члена пары в еврейство. Наконец, интервьюируя молодых евреев, Зилберман обнаружил, что многие из них, именно вступая в смешанный брак, испытывают возрождение прежде спавшего чувства еврейской принадлежности, чего не случается, если оба супруга — ассимилированные евреи, равнодушные к своему еврейству.

Демографическим итогом усилий еврейской общины, направленных на привлечение смешанных пар, оказывается примерное равенство уходящих от еврейства и приходящих к нему. В сочетании с тенденцией откладывать рождение детей (вместо того, чтобы совсем отказываться от него) это дает основания для оптимистического демографического прогноза.

В сущности, Зилберман отрицает содержательность за понятием “скорость ассимиляции”, которым так охотно пользуются израильские журналисты, религиозные деятели и посланцы Сохнута. Обычно за этим понятием стоит представление о том, что смешанные браки неизбежно ведут к ассимиляции, — представление, которое, как показывает автор, не выдерживает социологического анализа. И напротив, никто не использовал для оценок скорости ассимиляции таких тенденций как падение религиозности и привязанности к еврейским организациям. Понятно, что книга Зилбермана может невольно послужить углублению разрыва между израильским и американским еврейством. В Израиле многие не поймут, как это из такого “отрицательного” явления, как смешанные браки, может произойти что-либо “положительное”, а в Америке многие евреи некритически ухватятся за оптимистические выводы Зилбермана, чтобы отвергнуть — вполне справедливо — сионистскую критику их нежелания переселиться в Израиль. Если израильские посланцы будут по-прежнему упорствовать в своем невежестве, пророча близкую катастрофу американского еврейства, этот разрыв может только увеличиться.

Как американский еврей третьего поколения, я могу засвидетельствовать справедливость многих наблюдений и выводов Зилбермана. Но у меня есть

также серьезные возражения против его склонности превращать социальные тенденции в журналистские обобщения. Верно, что с 60-х годов многие из американских евреев третьего поколения повернулись к еврейской культурной и религиозной жизни. Но было бы необоснованным провозглашать начало "еврейского возрождения" лишь потому, что сегодня больше молодых евреев зажигает ханукальные свечи и участвует в пасхальных седах. Следовало бы глубже присмотреться к содержанию еврейской религиозной жизни в Америке, а заодно и к содержанию еврейской общественной жизни, чтобы удостовериться — что там осталось подлинно еврейского.

Вторым упущением книги является отсутствие в ней анализа настроений той массы молодых евреев третьего и четвертого поколения, которая не относится к так называемым "проблематичным группам" (вроде смешанных пар, новообращенных или эмигрантов из СССР). Эти люди оказываются вне поля зрения общины; не сталкиваясь с антисемитизмом, они не испытывают тяги к солидарности с другими евреями; им смертельно надоела скука синагогальной жизни и рутинное красноречие еврейских организаций; они в значительной мере утратили тот "этнический стимул", который заставлял их родителей тянуться вверх вместе со своей группой. А между тем многие из них зажигают ханукальные свечи.

Что станет с этими людьми, которые составляют большинство американского еврейства завтрашнего дня? Удержит ли какая-то мистическая инерция это большинство от растворения в плюралистической, толерантной Америке, которую так восхваляет Зилберман? На этот вопрос его книга не дает ответа.

Геннадий Вальдберг

ЭПИТАФИЯ

(М. Бар-Зохар, "Бен-Гурион", кн. 1–2, "Библиотека Алия", 1985)

"Письмам школьных наставниц можно доверять не больше, чем надгробным эпитафиям", — сказал как-то Теккерей. За что уж он ополчился на дорогах покойников, — оставим на его совести. Но что сочиняя эти самые эпитафии, мы частенько кривим душой — факт, с которым трудно поспорить. Принимаясь за свой труд, М. Бар-Зохар о Теккерее, очевидно, не вспомнил. Да и зачем? Какое отношение может иметь какая-то "ярмарка", тем более "тщеславия", к документальному описанию жизни и деятельности одного из основоположников Государства Израиль Давида Бен-Гуриона? Но оказывается, может, потому что хотел того автор или нет, а его работа превратилась в одну огромную эпитафию — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Начинается книга предуведомлением "от издательства": "М. Бар-Зохар — единственный, кому Бен-Гурион... дал полное право доступа к личному архиву, согласился отвечать на поставленные вопросы. Книга — плод восьмилетнего труда автора — была с энтузиазмом встречена литературной критикой и стала бестселлером". То есть, с одной стороны — "восьмилетний труд",

с другой — “бестселлер”; сочетание, прямо скажем, не частое. Но чего не бывает...

Однако уже по прочтении первых глав начинают одолевать сомнения: а верно ли “издательство” понимает, что такое бестселлер? Не уподобилось ли оно одному незадачливому сочинителю, который жаловался: “Я пишу исключительно бестселлеры, но их почему-то никто не читает”? Он-то, наверно, полагал, что бестселлер — это особый жанр или метод. Но мы всегда считали иначе: бестселлером может быть что угодно, лишь бы это нравилось всем (или, по крайней мере, большинству). Поэтому открывая книгу Бар-Зохара, мы и настроились соответственно — на увлекательность. И с удивлением обнаружили, что книга не только не увлекает, но даже — вопреки “энтузиазму критики” — не претендует на это. Она претендует на другое: еще только взяв ее в руки, так сказать — априори, мы уже должны благоговеть перед личностью главного героя, самозабвенно любить его и, не требуя никаких доказательств, принимать на веру, что Бен-Гурион был величайшим политиком, практиком, мыслителем, теоретиком и т.д. И тогда мы, конечно, прочитаем книгу взахлеб и нас уже не будет смущать тот факт, что биография великого человека небрежно обходит такие “мелочи”, как уничтоженная в Израиле при Бен-Гурионе культура на идиш, или ориентация на советский пример в построении нового израильского общества, или преклонение перед “вождем мирового пролетариата” Владимиром Лениным. К чему это, действительно? Сложно. Несимпатично. Для эпитафии не годится.

Зато для нравоучительного (не дай Бог повредить нашей нравственности!) письма школьной наставницы — вполне приемлемо. Скажем, такой эпизод: идет борьба за создание Гистадрута; герой много разъезжает, выступает на конференциях; и вот мы читаем: “Две противоречивые черты вывелись и усилились тогда в характере Бен-Гуриона. С одной стороны, теплота и дружелюбие, с другой — суровость и резкость в выражениях. Тот же человек, который способен был расплакаться на собрании, посвященном памяти Герцля, мог обрушиться на товарищей и противников с жестокими, оскорбительными словами. Когда “буржуазные” круги выступили с нападками на работников Гистадрута, Бен-Гурион в ответных речах обзывал их “паразитами-частниками”, “духовными импотентами”, утверждал, что они “отравляют воздух своими мерзостями и заражают общественное мнение”, а членов компартии Палестины титуловал “подонками”.

Пусть меня не заподозрят в симпатиях к коммунистам, и не только Палестины, но не теми же ли перлами блистал величайший из “полемистов” Ульянов-Ленин? А уж строка о слезах на собрании, посвященном памяти Герцля, прямо напоминает анекдот о чекисте, разрыдавшимся над револьвером Феликса Эдмундовича Дзержинского (да простится мне невольная постанова Герцля в один ряд с “железным Феликсом”, но вина тут не моя — она на совести М. Бар-Зохара). И все это суконное, партийное, обтекаемое чтиво “Библиотека Алия” предлагает нам, в большинстве прошедшим советскую школу, не раз писавшим сочинения на тему о “самом человеческом”, который “к товарищам милел людскою лаской”, а “к врагам вставал железа тверже...”?!

Я вовсе не намерен развенчивать эту книгу. Может быть, она стала такой после перевода и обработки в “издательстве”. А может, напротив, “издатель-

ство" недоработало: подожми оно книгу, убери "партийность", оставь только факты (которых — и это достоинство — в книге много) — и получилась бы вполне любопытная и познавательная книга. Но видимо, кто-то в "издательстве" решил: симпатии, антипатии — так ли это, в конце концов, важно? Все равно проглотят... А что представляли собой все эти "отцы-основатели" на самом деле, чего хотели, как добивались — какое это имеет значение?

Но мы полагаем, что возможность создать собственное мнение всегда важнее любых сиюминутных восторгов, которые неизбежно вызовут горькие и, в горести своей, весьма неразборчивые разочарования. Мы живем в свободном обществе и сами решаем, что читать, что не читать. Книга М.Бар-Зохара не залеживается на русских прилавках лишь потому, что выбрав родину и свободу, люди хотят знать о них как можно больше. Но именно поэтому не все, что хорошо, когда речь идет о домах, машинах и прочих достижениях Израиля, хорошо также и для книг. Тем более, когда их выпускает "Библиотека Алия", менее других зависящая от кассового успеха. Розовый флер, порой забивающий все остальные цвета на страницах книг этой серии, не вернется ли к нам невзыскательным вкусом, неумением отличить зерна от плевел и, в конце концов, самым страшным — восторгом и негодованием по указке, когда то и другое "спущено сверху", в обход живого, своего, пускай и ошибочного, но выношенного и выстраданного мнения?

Моше Доман

С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН

(Джоан Петерс, "С незапамятных времен", Н-Й, Харперз бук, 1984)

Неопределенные результаты израильских выборов 1984 г. были отражением продолжающегося спора о характере и будущем еврейского государства. Этот спор идет на фоне почти общепринятого в мире убеждения в том, что "права палестинцев" должны быть как-то совмещены с правами израильтян. Многие израильтяне идут весьма далеко в поисках путей удовлетворения этих прав. В сущности, весь спор в Израиле фокусируется вокруг вопроса, должен ли и до какой степени Израиль рисковать своим существованием и характером, чтобы дать минимальное удовлетворение палестинскому национализму.

В своей книге Д. Петерс наносит сокрушительный удар по предположению, будто "права палестинцев" — это ядро арабо-израильского конфликта. Она утверждает, что распространенные представления о "правах палестинцев", разделяемые и многими израильтянами, не обоснованы ни исторически, ни юридически.

Петерс, журналистка и бывший (1977 г.) консультант Белого Дома по Ближнему Востоку, задумала эту книгу как исследование проблемы "араб-

ских беженцев". В ходе исследования она пришла к поразительным для нее самым выводам. Она установила, что в понятие "арабские беженцы" были включены и те, кто поселился в Палестине даже за 2 года до образования Израиля. Это прямо противоположно арабским утверждениям о "тысячелетних правах палестинского народа на землю Палестины". Дальнейшие исследования позволили автору установить два важнейших факта: существует распространенное непонимание основных причин арабо-израильского конфликта и это непонимание проистекает главным образом из политики правительств и международных организаций, намеренно искажающих факты в пользу арабов. Петерс подтверждает свои выводы впечатляющими доказательствами, почерпнутыми из архивов британских мандатных властей, статистических документов ООН, интервью с западными и арабскими деятелями.

Семь главных пунктов книги заслуживают краткого упоминания. 1) Арабы не были жителями Палестины с незапамятных времен. Они были лишь частью изменчивой, всегда малочисленной популяции в районе, туманно именуемом "Палестиной" и не имеющем определенных границ. 2) Палестина, куда евреи пришли в конце XIX века, была пустынной и безлюдной. Наибольшие права на исторически непрерывное пребывание в ней имеют те малые, но устойчивые еврейские общины, которые сохранились здесь веками несмотря на невероятные трудности. Мусульманское население (не тождественное "арабам") приходило и уходило волнами, в зависимости от экономических и политических условий. Факты показывают, что арабская иммиграция усилилась, когда еврейская часть Палестины, и шла, **главным образом**, в районы еврейских поселений. 3) Арабское население Палестины особенно заметно увеличилось только в XX веке и, в основном, не в силу высокой рождаемости и улучшения медицинского обслуживания, как это обычно считают, а за счет неконтролируемой и неучтенной миграции в развитые еврейские районы. 4) Преобладание арабов над евреями сложилось не только из-за этой миграции, но также из-за препятствий еврейской репатриации, чинимых турецкими и британскими властями, и преследований со стороны арабов. 5) Перемещение арабов из Палестины в конце Войны за Независимость было, примерно, равно перемещению евреев из арабских стран в Палестину в результате арабских репрессий. В 1948 г. в арабских странах жили 850 тысяч евреев, сегодня в них осталось лишь 29 тысяч. Это равно числу так называемых "арабских беженцев" даже по арабским — преувеличенным — оценкам. Как пишет Петерс, "арабские беженцы, включая их потомство, в 1982 г. составляли по всем лагерям 676 тыс. человек, что было меньше числа евреев, бежавших из арабских стран — даже без учета потомства этих евреев (с которым они к этому времени насчитывали бы уже 1,5 миллиона!)". Израиль ассимилировал все 820 тыс. еврейских беженцев из арабских стран, между тем как арабские страны не пожелали ассимилировать даже ничтожную часть своих беженцев. Таким образом, по мнению Петерс, проблема "беженцев" используется арабами как политическое орудие, в то время как в действительности произошел фактический обмен населением. 6) Палестинский национализм является искусственным порождением арабской политики; небольшое и смешанное мусульманское население Палестины не имело особого национального или исторического чувства, отличного от обще-

арабского; палестинский национализм развивался на фоне арабской реакции на сионизм и использовался как главное орудие борьбы с ним. Арабо-израильский конфликт — это логический продукт мусульманской ненависти к евреям, восходящей ко временам Магомета и Корана. 7) Арабы и другие мусульмане издавна трактовали евреев как низших из немусульман. Поэтому арабский миф, будто евреи могут мирно жить в арабской среде, если “откажутся от сионизма”, — это рассчитанная ложь и цинизм. Напротив, судьба нынешних евреев в арабских странах подчеркивает фундаментальный характер ненависти и презрения к евреям, глубоко укоренившихся в арабском сознании. Эти чувства находят периодические и несдержанные выражения в эндемической дискриминации и частых насилиях против евреев. Они полностью вырвались наружу во время войны 1948 года. Только израильская военная сила заставляет арабов искать иные пути выражения этого чувства. Если, таким образом, существует “суть” арабо-израильского конфликта, то она состоит в исторической, эндемической ненависти арабов к евреям.

Книга Джоан Петерс рассматривает и рассеивает два типа иллюзий. Один — это иллюзии, мифы и пропагандистская ложь о “палестинской нации” с ее якобы многовековой историей, правом на самоопределение и претензией быть “сутью” арабо-израильского конфликта. Второй тип иллюзий характерен для людей Запада, склонных искать решение конфликта в большем взаимопонимании, в компромиссе и даже, если необходимо, в “риске ради мира”.

Книга не претендует на исчерпывающий анализ мусульманской ненависти, презрения и насилия в отношении к евреям. Она затрагивает этот вопрос лишь для объяснения того, как возник миф об арабских беженцах. Но она демонстрирует, что “суть дела” состоит в арабском характере и отношении — не только к евреям и другим “неверным”, но и шире — к политике использования угроз и насилия. Достаточно пронаблюдать поведение арабских лидеров в отношении друг к другу, чтобы понять, что поиски компромисса, взаимопонимания, мира и справедливости ничего не говорят сердцу и уму арабских политических деятелей. Редкое исключение — Садат — лишь подтверждает правило: он, как и иорданский король Абдулла, был убит арабскими фанатиками. Даже лицемерные и туманные намеки Арафата на возможность компромисса с Израилем немедленно вызывают возмущенную критику, вооруженное восстание, раскол и угрозы физической расправы со стороны его жесторонников.

Книга Д. Петерс дает достаточную фактическую основу для прояснения природы конфликта, в котором Израиль поставлен в положение обвиняемого перед лицом мирового общественного мнения. Но она не решает и не может решить вопрос о том, как все же быть с этим конфликтом. Каковы бы ни были его исторические причины, фактом является необходимость определить будущее Иудеи и Самарии с их преобладающим арабским населением. Можно сказать, конечно, что этот демографический дисбаланс сложился в результате арабского насилия и действий турецко-британских властей, но это не меняет сегодняшнего положения вещей. Что делать с этим наследием, которое несправедливо и неправедно взвалили на израильские плечи? Книга Джоан Петерс позволяет прояснить спор вокруг фактической и морально-юридической стороны этого вопроса.

И. А. БОГОРАЗ

С большим опозданием мы узнали о смерти Иосифа Ароновича Богораза (1896—1985 гг.), нашего автора и нашего дорогого старого друга. Новости из СССР доходят до нас все медленней и приглушенней. Эта, хотя и шла три недели, прозвучала резко, как будто не стало кого-то из самых близких. Так получилось, что Иосифа Ароновича все любили. Конечно, он был добрый, умный. Однако, суть была не только в этом. Будучи мужчиной могучего телосложения и несокрушимого здоровья, он производил также неотразимое впечатление духовного здоровья, мудрости, которая ничего общего не имеет с рассудочностью.

Он был талантливым писателем. Его повести печатались в “Континенте” (№11), в “22” (№23) и отдельным изданием (“Отщепенец”, “Москва—Иерусалим”, 1975 г.). Но его любили не за писательство. Он участвовал в бурных идейных спорах 60-х, в его доме встречались А. Синявский и Ю. Даниель, генерал Григоренко и Павел Литвинов, но он больше молчал и слушал. Он умел слушать. Его любили просто за то, что он был хорошим человеком, но в его молчании угадывался человек другой эпохи. Он никого не осуждал, но жил по своим стандартам. В безалаберной атмосфере диссидентской Москвы он был эталоном устойчивости. Двадцать лет он провел в лагерях и ссылках. Но вспоминал о них без всякой горечи. Он не потерял это время. Он жил и там. Уже подходя к восьмидесяти, он вынужден был ездить в сибирскую ссылку к дочери и нянчить внука. Он и это делал без всякого надрыва, естественно, как бы признавая, что ведь всякий порядочный человек в СССР должен пройти через тюрьму или ссылку или, по крайней мере, освоиться с этой опасностью, так что и нечего паниковать, нечем гордиться... Он родился еще в XIX веке и знал нормальную меру вещей. Многие из нас обязаны ему. Мы его помним. Мы по-прежнему его любим. Так как мы не видели его мертвым, он остается для нас таким, каким был когда-то. Мы хотели бы передать свою любовь и сочувствие дорогим Алле Григорьевне и Ларисе. Мы понимаем, как одиноко им теперь...

Друзья и редколлегия “22”

Продолжается подписка на журнал "Двадцать два"

Стоимость годичной подписки: в Израиле, в связи с переходом на новое оформление обложки, — 44,8 новых шекеля (до выхода следующего номера; после этого — в соответствии с новым уровнем цен); за рубежом — 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль — или представителям журнала на местах.

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr., Pacific Grove, Ca. 93950

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettingerst. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BDR

L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы призываем всех, кто заинтересован в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера.

В ноябре-декабре журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: Лернер А., Холон — 10.000 шек., Карапетян Л., Кфар-Саба — 5.000 шек. Мозникер П., Иерусалим — 5.000 шек., Лабинова Сара, Иерусалим — 2000 шек., Шер Ш., Иерусалим — 5.000 шек., Шемкович, США — 10 долл., Маргарет Мигдал, США — в память Ильи Мигдала — 20 долл., Элиашберг В., США — 14 долл.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Отпечатано в типографии
"ЯКОВ ПРЕСС"
ул. Рош-Пина, 22
Тель-Авив

